

'92

# ТЯЖБА О РОССИИ

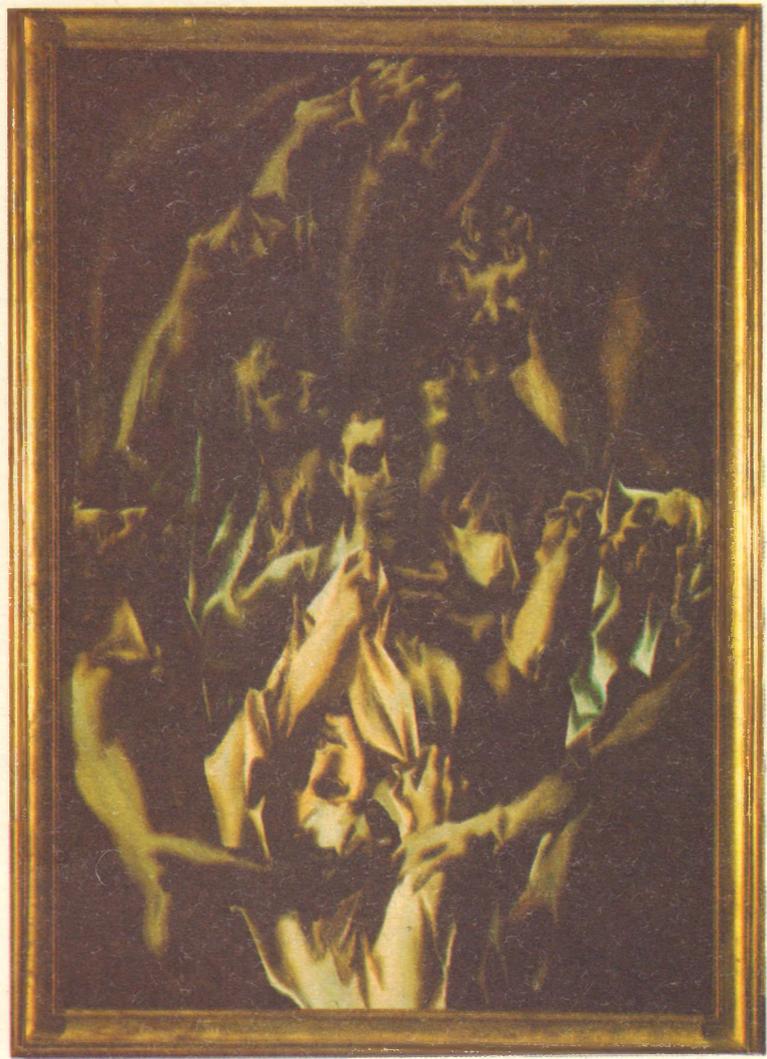
Дмитрий  
БОБЫШЕВ

## КОНГРЕСС ПИСАТЕЛЕЙ БАЛТИКИ

Людвик  
ВАЦУЛИК

## БЫЛИ О ПЕТРЕ ПЕРВОМ

Ханс Георг  
ГАДАМЕР



ВЯЧЕСЛАВ ЧЕБОТАРЬ

Жорж  
СИМЕНОН

Цветан  
ТОДОРОВ

Евгений  
ШВАРЦ

Ефим  
ЭТКИНД

## АТОМНАЯ ПОДЛОДКА: СВИДЕТЕЛЬСТВО С ГЛУБИНЫ

Даниил  
ГРАНИН

Гюнтер  
ГРАСС

Дьердь  
КОНРАД

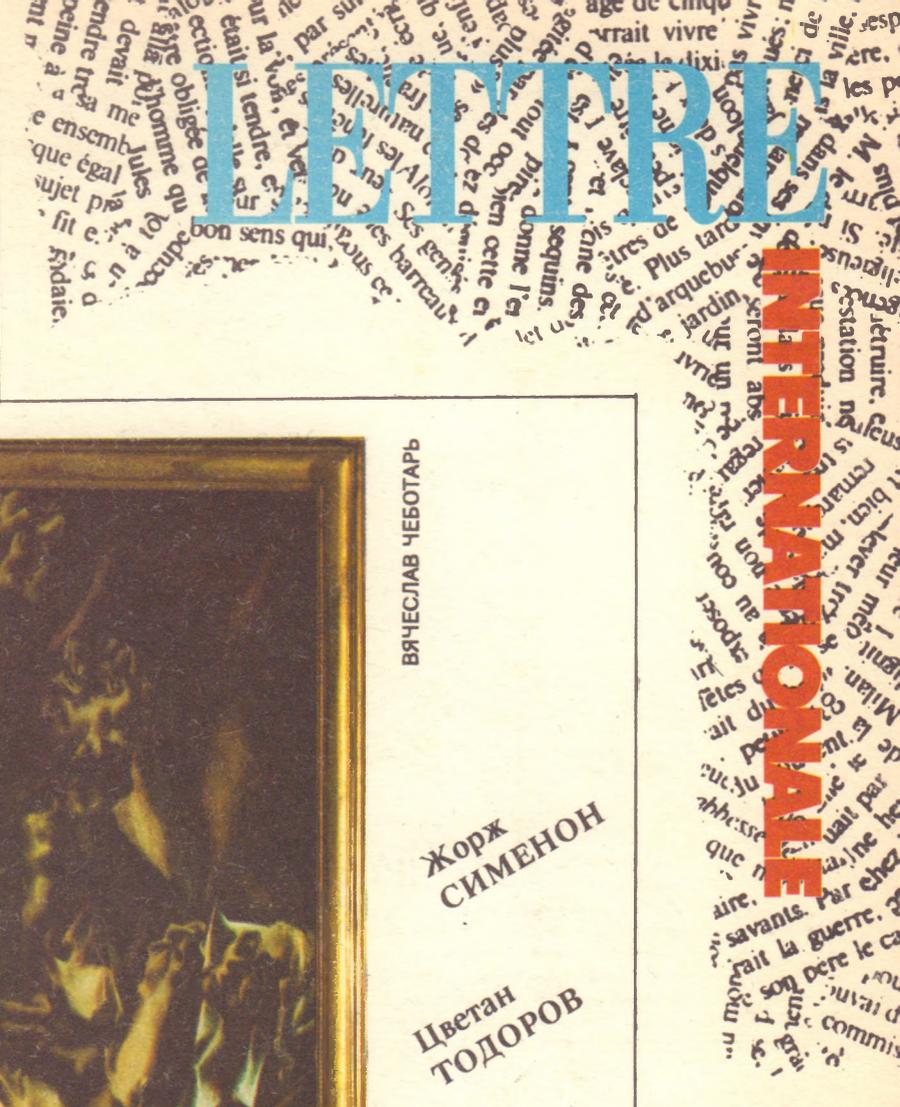
## ВДОЛЬ БЕРЛИНСКОЙ СТЕНЫ

## КТО ИЗМЕНИЛ РОДИНЕ?

### ВСЕМИРНОЕ

# СЛОВО

МЕЖДУНАРОДНЫЙ  
ЖУРНАЛ



Первый международный конгресс писателей стран Балтийского региона состоялся на борту теплохода "Константин Симонов" под российским трехцветным флагом. Корабль вышел из заботой льдом гавани Санкт-Петербурга в вечерние сумерки 24 февраля 1992 года и за пятнадцать суток прошел по заданному маршруту: Таллинн — Гдыня — Любек — Копенгаген — Висбю — Стокгольм — Хельсинки — Таллинн — Петербург, совершив полный замкнутый круг по главным портам Балтийского моря. Утром 10 марта при восходе солнца "Константин Симонов" снова прошел ледяную крошку Финского залива и вернулся в исходную точку своего двухнедельного плавания. В круизе "Балтийские волны" приняли участие более трехсот писателей, журналистов, книгоиздателей, телеоператоров, специалистов по компьютерам, деловых людей из десяти стран — России, Эстонии, Латвии, Литвы, Польши, Германии, Дании, Норвегии, Швеции и Финляндии.

Столь представительный международный конгресс писателей Балтики собрался впервые, и встреча эта, вопреки скептическим прогнозам, удалась вдвойне — и как увлекательное морское путешествие по красивейшим городам северных стран, входивших когда-то в свободный Ганзейский союз, и как внушительная гуманитарно-культурная акция представителей сопредельных балтийских государств, предпринятая в один из переломных и драматичных моментов преобразования и единения современной Европы.

Драматизм момента заключается в мучительной сложности исторического перехода прибалтийских республик бывшего СССР — Литвы, Латвии и Эстонии к полной политической и экономической независимости, в тяжком кризисе всех стран Восточной Европы, ставших на путь демонтажа и реформирования отсталых неэффективных структур государственного социализма. При этом сохраняются военные, экологические, демографические и иные угрозы, продолжающие тревожить людей по всему побережью Балтийского моря и в процветающих, и в переживающих депрессию странах. Предметом особых тревог для писателей остаются общие судьбы культуры, свободы творчества и информации, книгоиздания, развития языков и межнационального общения, гарантии прав человека, которые необходимо укреплять повсеместно при любых социальных, политических и экономических потрясениях.

В часы долгих морских переходов между балтийскими городами в просторных салонах семипалубного теплохода шла многосторонняя и заранее спланированная практическая работа в семинарах и секциях Конгресса — по проблемам международного авторского права и книготорговли, издательской и журнальной деятельности, художественного перевода, детской литературы, экологии Балтийского моря, компьютерной техники и другим вопросам. Писатели всех десяти балтийских стран получили возможность провести свои литературные вечера и выступить перед коллегами со стихами, короткой прозой, шутками, экспромтами и песнями. Участники конгресса оценили усилия своих сопредседателей — Владимира Арро из Союза писателей Санкт-Петербурга и Петера Курмана из Союза писателей Швеции, принявших на себя главные заботы по обеспечению многодневной общественно-литературной программы писательских встреч. Директор круиза Александр Житинский и его помощники старались вовсю, чтобы продолжительное путешествие по Балтике было не только полезным, но и приятным. И если чего не вполне хватало на "Константине Симонове", так это времени для сна между поздними музыкальными концертами, продолжавшимися обычно в главном салоне далеко за полночь, и ранними утренними заседаниями, кроме тех дней, разумеется, когда все дружно сходили на берег, чтобы осмотреть старинный немецкий Любек, процветавший во времена Ганзы, столицу Дании Копенгаген, великолепный королевский Стокгольм или самый экзотический на протяжении всего маршрута город Висбю на острове Готланд, сохранивший в своем архитектурном облике выразительные черты и особенности раннего Средневековья...

Останется ли в современной литературе стран Балтики сколько-нибудь заметный след от этого превосходно организованного и во многих отношениях необычного морского путешествия, подготовка которого, начиная от общей идеи, заняла у главных организаторов Конгресса почти два полных года? Хочется думать, что да, останется. Такого же мнения придерживается журналистка из Швеции Мика Ларссон, взявшаяся составить и издать в переводах на несколько языков отдельную книгу — международную антологию произведений писателей — участников Балтийского круиза. Работа над этой книгой уже началась.

Редакция "Всемирного слова" ставит перед собой более скромную цель — ознакомить читателей журнала с некоторыми лучшими произведениями писателей разных стран, проплывших вместе по Балтике несколько тысяч миль. С этой целью сначала в Копенгагене на встрече в Союзе писателей Дании, а затем на заключительном собрании в Хельсинки, когда подводились общие итоги Конгресса, был объявлен литературный конкурс "Всемирного слова". Условия конкурса разосланы президентам и председателям Союзов писателей стран Балтийского региона. Мы также печатаем это объявление о конкурсе в нашем журнале для общего сведения. Надеемся на благоприятный отклик и будем признательны каждому автору за участие в конкурсе на лучшие произведения в жанре прозы, поэзии и публицистики, отвечающие духу дружбы и сотрудничества между всеми народами Балтики.

Александр Нинов

Главные редакторы

АЛЕКСАНДР НИНОВ  
АНТОНИН ЛИМ

# ВСЕМИРНОЕ СЛОВО

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ  
191187, Санкт-Петербург, Шпалерная ул., 18  
телефон 273-78-60  
телефакс 273-78-60

## РЕДКОЛЛЕГИЯ

ВЛАДИМИР АДМОНИ  
КОНСТАНТИН АЗАДОВСКИЙ  
ЕВГЕНИЙ АНИСИМОВ  
ВАЛЕРИЙ БАБАНОВ - главный художник  
ТАМАРА БАЛАШОВА  
БОРИС БЕССОНОВ  
СВЕТЛАНА БУШУЕВА  
ВАСИЛЬ БЫКОВ  
ДАНИИЛ ГРАНИН  
ПОЭЛЬ КАРП - зам. главного редактора  
АЛЕКСАНДР КУШНЕР  
БОРИС ПУТИЛОВ  
БЕНЕДИКТ САРНОВ  
НИНА СНЕТКОВА  
ЮРИЙ СУРОВЦЕВ  
БОРИС ФИРСОВ

Представители "Всемирного слова":

в Париже - ЕФИМ ЭТКИНД  
в Риме - РИТА ДЖУЛИАНИ  
в Праге - АЛЕНА МОРАВКОВА  
в Варшаве - АНДЖЕЙ ДРАВИЧ  
в Будапеште - ЛАСЛО ХАЛЛЕР, ЧАБА ХАЙДУ

Сотрудники:

Елена Баевская - редактор  
Ян Викард - ответственный секретарь  
Лариса Житкова - зав. редакцией  
Елена Сальникова - технический редактор  
Елена Шнитникова - корректор

Учредитель - Общество "Всемирное слово"  
Издатель - коллектив редакции журнала

Адам Михник. ТРИ РАЗНОВИДНОСТИ  
ФУНДАМЕНТАЛИЗМА  
Ханс Коннинг. ОФИЦИАЛЬНАЯ И НЕОФИЦИАЛЬНАЯ ПАМЯТЬ. Заметки о национализме  
ЛИТЕРАТУРНЫЙ КОНКУРС "ВСЕМИРНОГО СЛОВА"  
Цветан Тодоров. ТЕРПИМОСТЬ И НЕСТЕРПИМОЕ  
Поэль Карп. ИЗМЕНА РОДИНЕ  
Рикард Креус. Урок пеня  
ИСТОРИЧЕСКИЕ АНЕКДОТЫ И БЫЛИ О ПЕТРЕ ПЕРВОМ. Публикация и предисловие Бориса Путилова

КТО ТЫ, НЕМЕЦ?

Людвик Вацулик. КТО ТЫ, НЕМЕЦ?

## СОДЕРЖАНИЕ

Гюнтер Грасс. ЖИРНЫЙ КУС ПОД НАЗВАНИЕМ ГДР	24
Владимир Адмони. ПЯТЬ БЕРЛИНОВ ИЛИ О НОВОЙ ЧЕЛОВЕЧНОСТИ	28
Ханс Кристоф Бух. БЕРЛИНСКАЯ СТЕНА И НЕМЕЦКАЯ ЛИТЕРАТУРА	31
Майнрад фон Ау. ДЛЯ КУПАНИЯ — В ХРАМ!	33
Ханс Георг Гадамер. СКАЖИ МНЕ, ПОЧЕМУ ТВОЙ ТЕННИСНЫЙ КЛУБ САМЫЙ ЛУЧШИЙ?	34
Михаил Мейлах. Венский конгресс международного ПЕН-клуба	37
Елена Дунаевская. Надтреснутое рондо "Живем в пыли, в неверном свете..."	37
Александр Покровский. АВТОНОМНОЕ ПЛАВАНИЕ. Повесть	38
Георгий Федотов. ТЯЖБА О РОССИИ	48
Игорь Померанцев. Воин из отряда прямокрылых	52
Жорж Сименон. У ТРОЦКОГО	53
Дмитрий Бобышев. Троцкий в Мексике	55
Даниил Гранин. ЛЮДИ МОДИЛЬЯНИ	56
Лийса Бюклинг. МИХАИЛ ЧЕХОВ И МАРК АЛДАНОВ	58
ПИСЬМА МИХАИЛА ЧЕХОВА К МАРКУ АЛДАНОВУ	59
Владимир Британшский. 1848 год в Зимнем дворце	62
Евгений Шварц. ЧАПЫГИН АЛЕКСЕЙ. Драматическая пародия. Публикация и послесловие Евгения Биневица	65
Константин Кавафис. Дарий	65
Элинецкая. О переводах Геннадия Шмакова (1940-1988)	65
Ефим Эткинд. ВОСКРЕСЕНИЕ МАСТЕРА	71
Галина Копытова. РЕКВИЕМ ВСЕВОЛОДА МЕЙЕРХОЛЬДА	73
Виктор Некрасов. СТАТЬИ И ПОРТРЕТЫ	73
Андрей Синявский. ЧТЕНИЕ В СЕРДЦАХ	82
Эвласио Мойя. Руки	85
Том Гани. Последние дни в Теддингтоне	
Пирс-Стрит	88
Дьердь Конрад. ЧТО-ТО УШЛО	88

**Н**аше общественное мышление занято решением срочной проблемы: историческое самосознание поляков.

В формировании наших политических взглядов история неизменно играла значительную роль. Похоже, пришло время подвергнуть ревизии наши представления о прошлом, и в первую очередь стереотипы, связанные с существованием II Речи Посполитой. Эта область тонет среди клише и мифов -- в черной легенде официальной коммунистической пропа-

ганды и в белой легенде тех, кто пытался бороться с коммунистической фальсификацией событий. Мне представляется, что на прошлое нам следует взглянуть другими глазами.

дение, что существует рецепт на построение рационального общества, свободного от каких бы то ни было конфликтов, кроме конфликта между добром и злом, то есть от конфликта интересов, от столкновения разных точек зрения, которые являются неотъемлемой частью демократического строя. Мне думается, можно говорить об угрозе трех разновидностей фундаментализма.

Во-первых, фундаментализм националистический. Это искушение подчинить все сферы публичной жизни тому, что можно назвать национальным интересом. Этот интерес определяется всякий раз своеобразно понимаемой политической перспективой. В соответствии с этим

**Адам Михник**

sacrum, иначе говоря, исчезновение морального элемента, который был присущ всему обществу и к которому общество привыкло апеллировать. Это можно приравнять к сокрушению Моисеевых скрижалей, уничтожение которых может означать ликвидацию фундаментализма, подерживающего все наши общественные ценности.

Церковь и религиозная мысль не ото-звались пока с достаточной определенностью на эту тенденцию. Можно, впрочем, усомниться, что ответ будет закон-

# ТРИ РАЗНОВИДНОСТИ ФУНДАМЕНТАЛИЗМА

Прежде всего необходимо задуматься, что произошло в 1922 году, когда был убит Габриель Нарutowич<sup>1</sup>. Какого рода процесс был тогда начат, в какой атмосфере произошло покушение, каковы его исторические последствия и почему эта дата стала вдруг поворотным пунктом в историческом сознании поляков, почему ее с такой готовностью отбрасывают в небытие.

Нужно, мне кажется, по-иному оценить политический багаж тогдашних партий, наново взглянуть на сцену эпохи, как на политическую арену, где разыгрывается спор о принципах государства и демократии, и попытаться проследить тот извилистый путь, по которому пошла антидемократическая эволюция, как в сознании бельведерского \* лагеря, так и в сознании национал-демократического и социалистического сообществ. Наново стоит также проанализировать историю католической церкви в межвоенное двадцатилетие. Без такой ревизии мы будем обречены на идеализацию прошлого, на засоренное мифами и далекое от трезвых суждений историческое сознание, мы будем бессильны в отношении, если можно так выразиться, реванша памяти, той самой памяти, которую мы в течение долгих лет пытались вытеснить в область подсознательного.

Если б мне предстояло дать характеристику новым, формирующимся явлениям, явным или закамуфлированным, но уже присутствующим в наших политических дебатах, то я сказал бы об угрозе со стороны фундаментализма. Фундаментализм есть не что иное, как утверж-

долгом истинного поляка должна быть, к примеру, солидарность с польским меньшинством в Литве независимо от того, как это меньшинство действует, разумно или неразумно, как оно настроено -- просоветски или пролитовски. Солидарность определяется фактом, что там поляки, этого уже достаточно. Критика любых действий польского меньшинства в Литве рассматривается как антипольская акция. Создается образ Польши как образ страны, свободной от иных конфликтов, чем конфликт между "правильно, по-католически" понимаемыми национальными интересами, с одной стороны, и нигилистическо-космополитическо-левыми тенденциями -- с другой. В рамках сформулированных таким образом национальных интересов вредной для польского народа считается критика проскальзывающих порой антисемитских ноток и излишними считаются разговоры о цыганском погроме.

Речь идет о фундаментализме, присутствующем ряду формаций, националистических движений и доктрин, играющих, как представляется, сегодня значительную роль не только в Польше, но и в других прокоммунистических странах. В современном мире эта разновидность фундаментализма оживает, к примеру, в арабских странах, проявляется в Израиле, а также в правых движениях Западной Европы.

Во французских спорах вокруг феномена Ле Пена, в немецких исторических дебатах о нацизме ощущается опасение перед возвратом к такого рода фундаментализму. Стоит присмотреться к нему как к феномену не только польскому, но и международному.

Существует, во-вторых, фундаментализм религиозный. Это связано, кстати, с новой ситуацией, в которой очутилась церковь в Польше и во всем мире очутился *sacrum*. Нет ничего нового в утверждении, что характерной чертой современного мира является исчезновение

ценной формулой. Но попытки существовали, одной из них был второй Ватиканский собор -- открытость миру, утверждение, что подлинные ценности могут возникнуть вне сферы моей церкви, даже вне сферы моей веры и моей культуры. На другом полюсе -- религиозный фундаментализм, или, если сказать по-иному, новая попытка стереть грань между *sacrum* и *profanum*, между правом естественным и уголовным, между нравственным принципом и государственно-правовой нормой. В этом плане нас ждет наиболее принципиальный спор, не менее существенный, чем, скажем, тот, который велся вокруг проблемы возвращения в Европу. Говоря о возвращении в Европу, разные люди подразумевают разные ценности и явления. Складывается, например, впечатление, что, когда о возвращении в Европу говорят иные иерархи католической церкви, то они подразумевают Европу эпохи до Французской революции -- ту самую, которой уже не существует.

Наблюдается еще одна разновидность фундаментализма, которая, как кажется, может привлечь демократическую оппозицию -- людей из-под знака Августа и Солидарности, в том числе и автора этих строк. Я подразумеваю стирание грани между моральной нормой и приемом политической борьбы. Из подпольной работы извлекается некая шкала ценностей, где эта грань обозначена смутно, где каждый политический жест переводится в категорию нравственных понятий. Но в демократическом государстве все обстоит по-другому, и это фундаменталистское мышление -- назовем его "моралистическим" -- может стать источником большой путаницы. Это, разумеется, не значит, будто я считаю, что в политике и нормальной политической дискуссии нет места нравственности, как не считаю, кстати, в примере с религиозным фундаментализмом, что в политике нет места

\* Бельведер -- резиденция президента.

для церкви. Место, разумеется, существует, но оно специфическое. Церковь не может быть политической партией, как религиозная норма не может быть правовой, как моральная норма, сформировавшаяся в политике антикоммунистического подполья, где она была манихейской нормой, не может быть механически перенесена в политическую игру. И для этой игры и для самой себя она может оказаться убийственной. Тут нравственность легко становится фанатизмом и может быть использована для целей не самого высокого порядка.

Другая угроза, которую следует рассмотреть, -- это популизм. Популизм -- явление не новое, но на него следует вновь обратить внимание. Стоит внимательно изучить урок перонизма и выяснить, чем тот является, каким языком он пользовался, какого рода приемы предпочитал, какие механизмы расчистили ему путь к власти, какие его от нее отстранили, какие, в конце концов, обеспечили ему жизнеспособность.

Следует недвусмысленно заявить: популизм был в Польше языком рабочего бунта против тоталитарного государства. Это был бунт во имя свободы и человеческого достоинства, но он пользовался языком популизма. Знаменитое слово "они" было типичной формулировкой популистской дискуссии, а не вытекало из анализа борьбы политических или общественных интересов. Можно сказать, что в основе этого бунтующего популизма находилось эгалитарное сознание, которое в течение десятилетий навязывала всем коммунистическая власть. Это был бунт против коммунизма во имя провозглашенных им принципов эгалитаризма, бунт не вполне последовательный в своей основе, хотя понятие справедливости было одной из его движущих сил.

Создаваемый в Польше рынок не является той системой, где справедливость рассматривается как ключевое понятие. Рынок существует не ради соблюдения справедливости, а ради продуктивности и эффективности. Делу справедливости может служить вторичное распределение благ, но не сам рыночный механизм. Однако привитый коммунизмом и антикоммунистическим бунтом солидарности эгалитаризм сегодня стал жить автономной жизнью и присутствует в популистских выступлениях обоих профсоюзов: как ОППС<sup>2</sup>, так и Солидарности. Это явление новое и отнести к нему следует по-новому.

И еще одно: антикоммунистический бунт в Польше, включая бунт удачный, -- это был бунт толпы. Пока коммунисты имели дело с элитарной частью общества, они пренебрегали ее мнением. Коммунисты стали считаться с оппозицией, когда за нею стала толпа, -- тут коммунистам пришлось начать диалог. Так возникло мнение, что совместно с толпой мы добиваемся результатов, или, вернее, добиваемся их тогда, когда говорим языком толпы.

Итак, язык толпы -- это язык популистских дебатов. И сегодня, как мне представляется, мы наблюдаем возврат к этому языку толпы, или, иначе говоря, к навыкам, усвоенным в эпоху антикоммунистического сопротивления, к тем приемам, которые были рациональны в рамках иррациональной системы, поскольку являлись единственным методом ее делегализации. Сегодня мы видим, как эти

приемы делегализуют парламентскую систему и открывают путь тоталитаризму. Мы вошли в демократическую систему без политической культуры, ей присущей. Это примерно то же, что дикарь из джунглей посадить на компьютер. Это еще не значит, что дикарь стоит менее программиста, у себя в джунглях он справляется со своими задачами в тысячу раз лучше, чем цивилизованный американец. Ведь компьютер в джунглях вряд ли на что пригодится.

Существует угроза великого разочарования в демократии, как это в Европе уже не раз бывало, угроза, что вернутся те же словечки, которые нам знакомы: сеймократия -- это язык санации, парламентский кретинизм -- язык коммунистической партии, гнилой демолиберализм -- язык фашистских движений.

Есть опасность ассоциировать демократическую процедуру с кризисом, с анархизацией публичной жизни, со снижением жизненного уровня и потерей чувства общественной безопасности. Не исключено, что все чаще зазвучат голоса, предлагающие покончить с балаганом, с коррупцией, появится потребность в сильной руке, которая наведет порядок. Это можно подать под соусом как президентского правления, так и идеи стабилизации. Ударяясь в историю и ссылаясь на историософию, вспомнят Польшу XVIII века, разрушенную анархией, распрями и *liberum veto*, что будет дополнительным аргументом в споре. Говоря иными словами, есть риск, -- а истории такие повороты известны, -- что в момент глубокого кризиса возникает человек, который явится как бы ответом на этот кризис. Когда рушатся привычные культурные навыки и процедуры, когда источники и механизмы общественных связей не вызывают более к себе доверия, всегда появляется спаситель, на которого возлагают надежды по преодолению хаоса и выходу из тупика.

И вновь: хотя это явление не типично польское, не новое, необходимо еще раз к нему приглядеться, задуматься, какие механизмы рождают на свет авторитарные искушения, каковы их последствия, поразмыслить, какие проблемы, если можно так выразиться, авторитарные режимы решить в состоянии, а какие им ни в коем случае не решить.

От ответа на этот вопрос зависит не только дух польской интеллигенции, которая как никогда утратила веру в себя, свои критерии, свой собственный образ и представление о месте в обществе. От того, как будет развиваться процесс самосознания, о котором мы тут говорили, будет зависеть нечто более значительное: возможность противопоставить фундаментализму демократическую мысль, в соответствии с которой фундаментализм невозможен -- ни националистический, ни религиозный, ни моральный. Не существует людей, которым даны привилегии от природы. Разумеется, в рамках демократической дискуссии есть место и для авторитетов, но если кто-то заявляет, что должно быть так-то и так-то, поскольку это вытекает из законов или же из национальных интересов и потому вопрос не может быть предметом референдума, то уже тем самым нарушается принцип дискуссии. Потому что демократическая система держится на воззрении: все, что касается всех, может быть предметом референдума.

И от этого, возможно, зависит, будет ли популизму, который является языком бунта, противопоставлен язык парламентарной демократии и правового государства, будет ли авторитарному искушению и культу сильной руки противопоставлен демократический строй и культ сильной головы.

7 июля 1991 года

<sup>1</sup> Габриель Нарувич (1865-1922) -- первый демократически избранный президент Речи Посполитой, убит Э.Невядомским -- человеком, связанным с националистическими кругами.

<sup>2</sup> ОППС -- Общепольский профессиональный союз.



## Проект живописного памятника

Задача картины:

увекочение памяти жертв насилия всех времен и народов в грандиозном эпическом полотне; утверждение идеала деятельного человека против мещанской цивилизации и повседневного быта; пробуждение памяти о чести поколений, несущей в себе ответственность перед мертвыми, о той величайшей силе, озаряющей человечество идеей нового, справедливо устроенного мира.

"Сверхкартина" должна стать подобной стенной фреске, где словно утрачено представление о реальных законах гравитации. Пространство здесь обладает самостоятельной выразительностью, оно не имеет сколько-нибудь значительной глубины, но зато наделено способностью к бескрайнему расширению в стороны, словно готово вместить в себя все новые и новые образы.

Идея картины -- через символическое выражение исторически сложившихся начал стремиться и к прошлому, и к миру современности, ориентированному в грядущее. Время в картине движется по кругам, которые соотношены с циклами поступательного исторического времени. Историческое время как бы наблюдается из века космического.

История и современность вплетены в космический миф. Духовные ценности не связаны с началом конкретного социального времени. Мировые пласты культуры, социальные потрясения на протяжении веков, мотив "Божественной комедии" Данте и современная угроза ядерной войны существуют как бы в одном измерении, образы в картине -- знаки общечеловеческой морали, истины.

В.Чеботарь

**С**олнечным зимним утром в середине семидесятых годов в Лондоне Ирландская Республиканская Армия взорвала бомбу в жилом квартале на одной из тихих, обсаженных деревьями площадей к северу от Оксфорд Стрит. Бомбой, подложенной под машину, убило врача с Харли Стрит, который гулял с собакой пе-

Вот два конца одной цепи поступков. Эту цепь скрепляет не ответственность -- дело не в том, что врач заслужил смерть за деяния Гилберта, -- но тем не менее это цепь причин и следствий. Правительства предпочитают не видеть такие связи. Их официальная память весьма коротка. Они постоянно провозглашают принцип "tabula rasa", а потом, объявив себе амнистию, ждут, что их соседи, равно как и жертвы, забудут прошлое и начнут сначала. Тогда каждая новая вспышка насилия становится

относятся баски, которых прес-са раньше баловала своей благосклонностью как противников Франко с позиций истового католицизма. (Теперь же и баскский franc-tireur\*, и член Ирландской Республиканской Армии фигурируют в средствах массовой информации как террористы.) Если ирландцы помнят Хамфри Гилберта, то баски идут гораздо дальше. Пять лет тому назад, после смерти Франко, я был на заседании Баскской национальной партии в горах, в городке Виктория. Я поделился с соседом

## Ханс Коннинг

принадлежность будет определяться в основном образованием и экономическими факторами" -- так писала Британская энциклопедия в 1911 году. И точно так же, как паровой двигатель делается в четыре раза мощнее, если вдвое увеличить его размеры, по закону природы нации-государства, которых должно было становиться все меньше и меньше, должны были делаться все сильнее и сильнее. (В антропологии эту аналогию отвергли как неправомерную, но она по-прежнему проходит у экономистов.) Потом национальные границы еще больше размыло появление воздухоплавания, а потом Лиги Наций, Организации Объединенных Наций, Европейского Экономического Сообщества.

В действительности никакого движения к сверхгосударствам не происходит, напротив. Корпорации, но не люди могут сводить границы до минимума. Большие и малые народы, живущие на территориях современных сверхдержав, отнюдь не склонны довольствоваться потенциальной сопричастностью чужому национальному величию и стремятся обрести скромный, но собственный дом. Ответом на их чаяния, как правило, бывает жесточайшее насилие со стороны объемлющей их нации-государства, правители которой, похоже, считают, что l'etat, c'est nous\*, и ведут себя так, будто им хотят отрезать руки или ноги.

Кроме басков и северных ирландцев, существуют курды, армяне, литовцы, тамильцы, сикхи, нигерийские ибосы, квебекцы, сахарави в западной пустыне Морокко, каренцы в Бурме, палестинцы, шотландцы, валлийцы, бретонцы, -- в зависимости от исходных принципов, этот список можно расширить или сократить. Эти народы объединяет национальная память о пережитом угнетении, и она сильнее тех политических и экономических факторов, благодаря которым вхождение в более крупное образование может показаться им соблазнительным. Их национализм отличается от национализма тех, кто ими правит. Они не рвутся к власти. Они, скорее, обращаются к своим истокам (реальным или воображаемым) в надежде обрести безопасность в мире, который все больше и больше их отчуждает от себя и все меньше и меньше им дает.

# ОФИЦИАЛЬНАЯ И НЕОФИЦИАЛЬНАЯ ПАМЯТЬ

## Заметки о национализме

ред тем, как отправиться на работу. Он проходил мимо как раз в тот момент, когда произошел взрыв, и несколько минут спустя скончался на обочине, потеряв жизнь из-за того, что собака случайно рванула за поводок.

Четырьмя веками раньше другой лондонец, Хамфри Гилберт, сводный брат сэра Вальтера Рали, был назначен наместником области Мюнстер на юго-западе Ирландии. Гилберт приехал туда поздней осенью 1569 года, а поскольку среди коренного населения было беспокойно и это его раздражало, он договорился с подведомственными ему английскими войсками, чтобы, когда местные жители приходили к нему с прошениями, "на земле прямо у них перед глазами лежали головы их мертвых отцов, братьев, детей, родичей или друзей". В первый день следующего 1570 года Гилберта посвятили в рыцари в Вестминстере.

Ханс Коннинг -- автор книги "Тысяча девятьсот восемьдесят шестой год: личные впечатления", выпущенной издательством "Нортон" в октябре 1989 года, и романа "Деяния веры", опубликованного в марте 1989 года Генри Хольтом. Коннинг живет в Коннектикуте.

"беспрецедентной". Интересно, что правительства жертв обычно принимают эти правила игры. Было бы крайне недипломатично со стороны алжирского президента полковника Шадли Бенджедида, встречаясь с Франсуа Миттераном в Елисейском дворце, напоминать его хозяину о кровопролитиях, которые устраивали французы, подавляя мирные демонстрации арабов за независимость в конце второй мировой войны. Ни об этих, ни о других кровопролитиях, в которых виноваты французы, не напоминают Миттерану и его западные союзники, когда он обращается к ним и к менее просвещенным народам мира с наставительной речью о роли Франции как носительнице ценностей западной цивилизации. Государственные деятели с величайшей неприкосновенностью обходят молчанием бывшие проступки своих наций. Они все по ходу дела переписывают историю.

Если правительствам удается иметь необременительно короткую память, то у народов память чрезвычайно долгая. Под "народами" я имею в виду такие национальные образования, которые еще не добились бесспорной государственности -- или ее утратили. К ним

своим наблюдением о том, что среди нескольких сот делегатов есть, кажется, только две женщины. "Четыре, -- ответил он, -- четыре из двухсот пятидесяти". -- "Ну, -- ответил я, -- не признак ли это мужского шовинизма в вашей партии?" -- "Мужского шовинизма? -- закричал он. -- У нас нет никакого мужского шовинизма! Вы что, считаете нас романским народом? Разве вы не знаете, что мы сражались на стороне Ганнибала против римлян?"

Я этого не знал, и меня восхитило это "мы". С таким "мы", подумал я, баски в конце концов могут уговорить Мадрид предоставить им автономию, которой они некогда обладали.

Движение человечества в направлении все более крупных национальных образований, которые в один прекрасный день растворятся в истинном интернационализме, долгие годы считалось непреложной истиной. "Под воздействием религиозной терпимости и процессов натурализации народы с каждым днем все больше и больше утрачивают свои национальные особенности. В дальнейшем национальная

\* Партизан (фр).

\* Государство -- это мы (фр.).

Настойчивое стремление многих таких народов спасти от забвения свой бесписьменный язык вовсе не так странно, как кажется. В Бретани молодые бретонские семьи, не знающие ни слова на языке своих предков, кельтском, прочесывают провинцию в поисках учителей, чтобы дети росли билингвами. В Уэльсе я останавливался в доме уэльского националиста, и для его детей английский был вторым языком, на котором они говорили запинаясь и с сильным акцентом. "Не слишком ли роскошно делать родным языком своих детей такой, на котором говорит лишь горстка людей?" -- спросил я. "Нет, -- ответили мне, -- именно потому, а не вопреки тому, что на валлийском говорит лишь горстка людей, мы и хотим, чтобы наши дети вернулись в его лоно". По словам валлийского писателя Неда Томаса, "выбор будущего для валлийца заключается в выборе между пошлым блеском позднего капитализма, многоликим образом постоянного и неумолимого гнета, конечной бессмысленностью поручаемой ему работы, и готовностью сопротивляться вездесущим дегуманизирующим силам на своей территории... Свой язык освобождает нас от того контроля, которому нас пытаются подчинить мировые средства массовой информации и мировая экономика. Для них наш язык -- это царство хаоса, скрытая угроза. Для нас -- это царство внутренней свободы".

Когда я думаю, скажем, о скандинавских странах или о Голландии, моей прародине, я вижу маленькие государства, с давно признанным правом на национальную самостоятельность и в некоторой степени предоставляющие своим гражданам то жизненное пространство, о котором писал Томас. Им хватает своего "пошлого блеска" и "неумолимого гнета", но камерность небольшой страны создает у людей ощущение родственной близости. Таким государствам легче создать социалистическую (или близкую к ней) систему социального обеспечения, почти лишенную политической окраски, а единение за ее пределами, именно там, где всего сильнее "неумолимый гнет", говорит о том, что общественный договор Жан-Жака Руссо -- орудие менее тяжелое.

"Наука, торговля и другие отношения, укрепляя общественные связи между людьми личным интересом, ставят их всех во взаимную зависимость. Эти идеи несомненно приятны, но, если изучить их вни-

мательно и беспристрастно, в них обнаружится много недостатков... Ибо поразительно, что люди более не могут жить вместе без того, чтобы не быть всегда настороже, не захватывать чужое место, не обманывать, не предавать и не губить друг друга..." Так писал Руссо в 1752 году.

Национальное сознание в Соединенных Штатах формировалось на общей основе исторических актов 1776 года и других законов, принятых приблизительно в то же время. Эти события настолько мифологизированы, что они как бы наделяют республику божественным правом, которым некогда обладал лишь абсолютный монарх. Наше общество (в большей степени, чем другие крупные государства Запада и Востока) заставляет своих граждан, по выражению Руссо, "настороженно относиться друг к другу". Задумываясь над тем, какие доводы в пользу выхода из сверхдержавы приводят мужчины и женщины наподобие уэльских националистов, я не могу не спрашивать себя, почему же столь многие американцы положительно смотрят на увеличение власти, а главное, *веса* республики. Профессор Пол Кеннеди писал в "Нью-Йорк Таймс", что его последняя книга "Возникновение и упадок великих держав" чаще всего вызывает вопрос: "Обратимо ли это?" На мой взгляд, куда уместнее было бы спросить: "Чреват ли упадок великой державы упадком общего счастья людей, падением жизненного уровня и уменьшением шансов того, что жизнь будет не просто существованием? Лишь немногим мужчинам (женщин ни одной не было), от Бенжамена Дизраэли до Уинстона Черчилля, от Тедди Рузвельта до ФДР, которым посчастливилось достичь той головокружительной высоты, где делается история, доводилось испытывать подлинную радость национально-величия. А остальных, почти всех нас, просили наслаждаться этим величием опосредованно и платить за него деньгами, руками, ногами и жизнями. То есть если, конечно, мы не разделяли безумства покойного сенатора Ричарда Рассела, который заявил, что не возражает, если после следующей войны на земле уцелеют лишь два человека, коль скоро это будут американцы.

Вот какие мысли проносятся в голове Жака Тибо (героя многотомного романа Роже Мартена дю Гара "Семья Тибо"), когда он стоит на Восточном вокзале в Париже вечером первого августа тысяча девятьсот четырнадцатого года: "...Средний человек наивно

отождествляет себя со своей родиной, своей нацией, своим государством... Привычка повторять: "Мы, французы... Мы, немцы... и тем легче убедить его в том, что угроза войны исходит от чужой страны, что его правительство не виновато". В этот день французская интеллигенция, которая убежденно доказывала, что войны результат столкновения экономических интересов и что всех нас дурачат размахивающие флагами политики, толпилась на вокзалах, пела "Марсельезу" и записывалась в армию. Эти люди думали, что они по собственной воле идут убивать тех, кого неделей раньше считали братьями. И в каком-то смысле так оно и было. "Не являются ли войны скорее результатом столкновения темных, необузданных страстей, для которых "борьба материальных интересов" -- лишь удобный повод, лишь предлог?" -- спрашивал себя Тибо. Даже сейчас, в ядерный век, "труба зовет" так естественно, что "на войну, на войну" -- желание по-прежнему представимое. Совершенно же непредставима смертоносность такой войны, столь абсолютная, что сами ветераны первой мировой с их десятками миллионами трупов не смогли бы вообразить себе ее масштабов.

Сейчас *La Gloire* и наша *Белая Слава* столь же чреватые Апокалипсисом, как невидные и неслышные боеголовки. Единственно возможное спасительное слово -- "Интернационал".

Мы живем на планете, где большинство населения составляют жители стран третьего мира, народы, пока еще не совладавшие с современностью даже в той далеко не впечатляющей степени, в какой с нею совладали мир первый и мир второй. Поэтому мстительно поднимает голову их подавленное и в эмоциональном, и в религиозном отношении национальное сознание. На самом деле эти мужчины и женщины столь же серьезно воспринимают наше общенациональное ликование по поводу Четвертого июля и Quatorze Juillet, как и наши электронику и химию. И это естественно, потому что они жили вне нашего двадцатого века с его двумя войнами: им еще предстоит самостоятельно проходить все эти кровавые уроки. Сбросив в 1953 году спокойного, идущего в ногу с веком премьера Ирана Мохаммеда Мосаддыка, ЦРУ стало нести прямую ответственность за постепенный приход к власти аятоллы Хомейни. Мы вновь вызвали на сцену трупку сред-

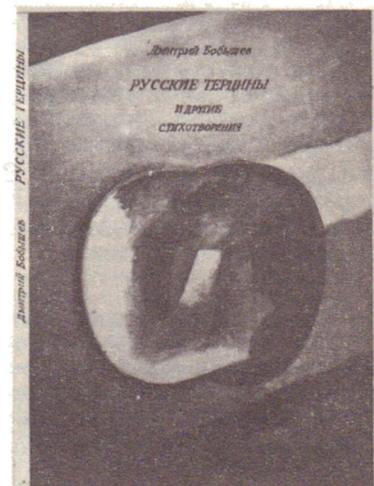
невековых копейщиков с управляемыми боеголовками вместо копий.

Что посеешь, то и пожнешь. Мы, страны первого мира, показали третьему миру, как делать и как использовать сильные взрывчатые вещества, а когда мы покажем, как делать водородную бомбу, -- это лишь дело времени. Пока что мы по-прежнему красуемся перед ними в своих рваных окровавленных майках с надписью: "Права ты или не права, но ты моя страна". Как-то в дакарском баре один негр, говоривший на изысканнейшем академическом французском, сказал мне: "Когда мы научимся делать ядерные ракеты, то первой ударим по старому работорговому порту Ливерпулю, откуда началась наша трагедия".

ГОТОВИТСЯ К ИЗДАНИЮ



ГОТОВИТСЯ К ИЗДАНИЮ



**The First International  
Writers' Congress  
of Baltic Sea Region  
< Baltic Waves >**

24 February—11 March 1992



Двухдневная стоянка теплохода "Константин Симонов" в порту Копенгагена совпала по времени с подготовкой в столице Дании важной международной встречи министров иностранных дел стран Балтийского региона. Свои общие надежды на укрепление мира, стабильности, экономических и культурных связей между всеми странами Европы, включая Балтику, участники Конгресса писателей выразили в резолюции, единодушно принятой на борту общего плавучего дома, каким стал на две недели теплоход "Константин Симонов" для всех его пассажиров. Это коллективное обращение к политическим деятелям современной Европы было вовремя услышано, и министр иностранных дел Дании господин Уффе Элеманн Йенсен, которому был вручен писательский документ, в своей ответной речи на официальном приеме в Копенгагене нашел веские дружественные слова, обращенные к участникам международного круиза по Балтике.

**ЛИТЕРАТУРНЫЙ КОНКУРС**

Международный журнал "Всемирное слово" — "Леттр энтернасьональ", издающийся в Санкт-Петербурге на русском языке, объявляет литературный конкурс на лучшие произведения в жанре рассказа, очерка, эссе, публицистической статьи, поэмы или стихотворения, принадлежащие участникам круиза по Балтийскому морю на теплоходе "Константин Симонов" 24 февраля — 10 марта 1992 года.

**ЦЕЛЬ КОНКУРСА** — по возможности глубже и оригинальнее представить индивидуальное творчество писателей — участников этого плавания, национальный характер тех стран, которые они представляют — России, Эстонии, Латвии, Литвы, Польши, Германии, Дании, Норвегии, Швеции и Финляндии, а также общие международные проблемы Европы и Балтийского региона.

**УСЛОВИЯ КОНКУРСА.** Для участия в конкурсе принимаются произведения прозы, публицистики и поэзии на языке оригинала, не публиковавшиеся в печати на русском языке.

Объем произведений прозы и публицистики не должен превышать 25 страниц на машинке ( один авторский лист ). Объем поэтических произведений не регламентируется.

Произведения могут присылаться на конкурс до 10 сентября 1992 года в 2-х машинописных экземплярах с точным указанием имени, фамилии, адреса и телефона автора по адресу:

Россия, 191187, Санкт-Петербург, Шпалерная улица, 18, редакция журнала "Всемирное слово", "На конкурс".

По тому же адресу на конкурс принимаются фотографии и рисунки авторов — и как самостоятельные произведения журнальной графики, и в качестве возможного приложения к литературному тексту.

Литературный конкурс "Всемирного слова" является открытым, и жюри конкурса рассматривает произведения участников из разных стран под их настоящими именами или постоянными псевдонимами.

**ПО ИТОГАМ КОНКУРСА** будут присуждены:

- 4 премии за произведения прозы и публицистики по 1500 руб. каждая, а также гонорар за публикацию;
- 2 премии за произведения поэзии по 500 руб. каждая.
- 3 премии за лучшие фотографии и рисунки по 400 руб. каждая.

Все произведения победителей конкурса, включая лучшие фотографии и рисунки, будут опубликованы в специальном номере международного журнала "Всемирное слово", приуроченном к годовщине круиза по Балтийскому морю.

Произведения, не получившие премий, но отмеченные жюри в качестве заслуживающих внимания, будут опубликованы журналом "Всемирное слово" с выплатой двойного авторского гонорара.

Жюри предоставлено право дополнительно объявить поощрительные премии тех организаций и учреждений России и других стран, которые разделяют цели настоящего конкурса и будут готовы установить для авторов свои собственные награды.

Редакция "Всемирного слова" берет на себя обязательство распространить тексты лучших произведений, поступивших на конкурс, по европейским редакциям "Леттр энтернасьональ" с целью возможной публикации этих произведений в переводах на французский, немецкий, итальянский, испанский, сербский, хорватский, чешский и венгерский языки.

Редакция приглашает писателей, поэтов, журналистов, фотографов, издателей, деловых людей, участников круиза по Балтийскому морю на теплоходе "Константин Симонов", принять участие в объявленном конкурсе.

8 марта 1992 года

Хельсинки

**Министрам иностранных дел стран Балтийского региона**

**РЕЗОЛЮЦИЯ**

300 писателей и переводчиков из 10 балтийских стран, путешествуя по Балтийскому морю на борту теплохода "Константин Симонов", обсуждают представляющие взаимный интерес проблемы литературы и культуры. Этот уникальный круиз, первый в своем роде, проходит на драматическом повороте истории. Мы хотим обратиться к министрам иностранных дел стран Балтийского региона, встреча которых состоится в Копенгагене 5 и 6 марта 1992 года, со следующим заявлением:

Мы твердо верим, что происходящие сейчас исторические перемены представляют нам уникальную возможность писать о подлинной истории и культуре нашего региона.

Нынешняя ситуация дает нам неслыханную ранее возможность укрепления и развития демократии, стабильности и мира в нашем регионе.

Для того, чтобы воспользоваться этой исторической возможностью, нам необходима проницательность и поддержка политиков Балтийских стран.

Решающее значение для этого процесса имеют не только писатели, но и переводчики.

Мы твердо верим, что:

— необходимо возрождение национальных культур по всей Балтике. Более того, стоит начать поиск того общего, что есть в наших культурах. На нас, как на писателей, возлагается важнейшая задача поддержания диалога между нашими странами;

— помимо других вопросов, политики должны взять на себя ответственность в вопросах культуры;

— независимо от того, какие договоры вы подпишете в качестве министров иностранных дел, вопросы культуры должны приниматься во внимание при заключении любого договора;

— любое соглашение, заключенное двумя или более сторонами, не должно ущемлять культурных интересов какой бы то ни было третьей стороны;

— поддержка культуры политическими средствами способствует усилению ее многообразия;

— поддержка культуры политическими средствами должна стимулировать процесс освоения богатых национальных культур малых стран более крупными.

А также:

— развитие современной истории и технический прогресс в области средств связи ( то есть доступ к банкам данных, конференции, подобные Балтийскому круизу, развитие библиотечной системы микрофильмов и т.д. ) предоставляет нам уникальную возможность одновременно развивать культурные связи со всеми странами Балтийского моря.

**Мы выдвигаем следующие предложения:**

1. Следует создать единый фонд для поддержки любых литературных переводов на языках Балтийского региона путем выплат вознаграждений в соответствии с законом об авторском праве писателям и переводчикам.

2. Правительствам стран-участниц этой встречи следует предоставить возможность Союзам писателей Балтийских стран учредить Академию переводчиков с целью оказания поддержки научным исследованиям, создания системы языковых компьютеров, организации литературных конференций и выплаты стипендий для этих целей. Будет предоставлено конкретное предложение относительно местопребывания Академии переводчиков.

3. Чрезвычайно важно снова обратить внимание на вопросы авторского права, особенно учитывая тот правовой вакуум, который возник по отношению к этой проблеме в результате образования новых государств в регионе, с тем чтобы к 1993 году прийти к унифицированному общеевропейскому варианту закона об авторских правах.

4. В процессе подготовки и проведения этого круиза мы столкнулись с большими трудностями при пересечении государственных границ. Для облегчения связей между нашими странами очень важно радикально изменить существующую визовую систему.

5. Первостепенное значение должно быть уделено мерам по предотвращению дальнейшего загрязнения Балтийского моря. Любой проект, сулящий положить конец этому процессу, получит нашу широчайшую поддержку.

Союзы писателей, участвующие в Балтийском круизе, заверяют вас, что будут приветствовать любые шаги, которые вы предпримете в целях дальнейшего сближения стран Балтийского региона, и окажут им необходимую поддержку.

Мы желаем успеха вашей работе.

Г/х "Константин Симонов", 3 марта 1992 года  
Участники круиза "Волны Балтики" из Союзов писателей Санкт-Петербурга, Эстонии, Латвии, Литвы, Польши, Германии, Дании, Норвегии, Финляндии и Швеции.

**Ч**тобы нагляднее очертить круг проблем, связанных с толерантностью (терпимостью), обратимся к истории западноевропейской мысли предшествующей эпохи, между XVI и XVIII столетиями. В данном контексте я не ставлю себе цели воссоздать картину этой мысли во всей ее полноте; условимся заранее, что такая реконструкция у нас имеется, и задумаемся над тем, какие уроки можно извлечь из этой традиции здесь и теперь, имея в виду исследование толерантности.

## I

Теория и практика толерантности связаны с двумя великими принципами современного демократического государства, принципами, которые обозначаются священными словами равенство и свобода. Начнем с равенства; очевидно, я не сумею проявить толерантность по отношению к прочим людям, если не признаю заранее, что все мы в равной мере принадлежим к роду человеческому, подразумевая, что остальные так же достойны уважения, как я. В частности, именно на этом основании я могу относиться терпимо к иностранцам и их нравам. В противоположность традиционным представлениям человечества, подразумевающим, что мы -- единственные представители рода человеческого или, во всяком случае, лучшее его воплощение, а в других тем меньше человеческих черт, чем дальше от наших границ они обитают, те, кто верит в универсальность человеческого рода, готовы терпеть отличия, которые обнаруживаются у выходцев из других стран. Эта вера в универсальность человечества и в принципиальное равенство между индивидуумами является отправной точкой классического гуманизма.

Гуманистическая мысль родилась не в XVI веке: ее можно найти уже у первых христиан и даже в некоторых течениях античной мысли, но в XVI веке она несомненно получила новый импульс, сохранившийся до наших дней. Одной из составляющих этого импульса является открытие новых земель: оно способствовало осознанию того, что человечество куда многообразнее, чем считалось прежде. Разумеется, в переходе от эмпирического факта (географические открытия) к новой доктрине (гуманизм) нет никакой механистичности или прямолинейности: наиболее поощряемое отношение к новооткрытым землям состояло из недоверия и презрения и влекло за собой истребление туземцев. Но как раз в ответ на подобные непосредственные реакции и создавались основополагающие идеи гуманизма. Наиболее выразительным примером тут служит случай с испанским монахом-доминиканцем Бартоломе де Лас Касасом, защитником индейцев: потрясенный их участью, он прерывает свою миссионерскую деятельность и посвящает себя защите прав, которые полагает естественными правами человека: "Естественные законы, правила и права людей в равной мере присущи всем народам, христианским,

и языческим, и приверженцам любых сект, без различия законов и обычаев, цвета кожи и состояния" (*Письмо к принцу Филиппу, 1544*).

Лас Касас -- человек исключительный, но не следует думать, что его идеи не имеют никакой связи с идеями его современников, религиозных и светских гуманистов. Даже папы и императоры зачастую исповедуют подобное кредо, хотя поступки их мало согласуются с этим образом мыслей. Спустя несколько десятилетий (в 1588 году) у гуманистического принципа универсальности и толерантности появится красноречивый проповедник в лице Монтеня, которого тоже не оста-

## Цветан Тодоров

программу всеобщего равенства. Вот как воспроизводит принципы гуманизма Лабрюйер в "Характерах": "Из предубеждения против чужой страны, усугубленного национальной гордостью, мы забываем, что разум живет под любыми широтами и что мудрые мысли встречаются всюду, где есть люди. Нам не хочется, чтобы к нам относились так же, как мы сами относимся к тем, кого почитаем варварами; так вот, наше варварство проявляется в недоверии к тому, что другие народы умеют рассуждать

# ТЕРПИМОСТЬ И НЕСТЕРПИМОЕ

вят равнодушным страдания индейцев (а также бедствия, которые повлекли за собой религиозные войны в Европе); Монтень и сам совершает путешествие, правда, в весьма скромных пределах.

"Все люди, по мне, мои соотечественники, и я обнимаю поляка столь же искренне, как француза, отдавая предпочтение перед национальными связями связям всечеловеческим и всеобщим", -- пишет он в опыте "О суетности" (*Книга третья, глава IX*)<sup>1</sup>.

Из этих воззрений следуют непосредственные доводы в пользу толерантности: "Различия в образе жизни народов не вызывают во мне никаких других чувств, кроме удовольствия, доставляемого разнообразием. Каждый обычай имеет свое основание".

"Я, кажется, ни разу не сталкивался с обычаями, которые хоть в чем-нибудь уступали бы нашим".

У Монтеня восприятие всего многообразия людских нравов подчинено терпимости, которая, в свою очередь, основана на принципе всеобщего равенства.

Утверждение гуманистических принципов достигнет кульминации в философии Просвещения, а отсюда перешагнет в политические программы американского государства и Французской революции; далее эти программы отражаются на всех демократиях нового времени: гуманизм оказался усвоен этими демократиями в качестве философской основы. Но в интересующую нас эпоху уже возникает несколько частных проблем, иногда касающихся собственно теории гуманизма, иногда ее практического применения, то есть толерантности.

Первая, относительно простая, проблема заключается в том, что невозможно избежать разрыва между декларацией принципа и его проведением в жизнь. В подтверждение приведу примеры, взятые мной из тех самых текстов, которые формулируют и защищают

не хуже, чем мы" (*"О суждениях", 22*)<sup>2</sup>.

Лабрюйер один из первых выразил постулат равенства в парадоксе: относиться к другим людям, как к варварам -- это и есть варварство. Но вдумаясь, так ли уж равнозначны утверждения "Разум живет под любыми широтами" и "Другие умеют рассуждать не хуже, чем мы"? Первое из них -- неличностное, оно не подразумевает никакого "центра", исходя из которого можно судить о наличии или отсутствии разума. Второе, напротив, предполагает определенную точку зрения, которая принадлежит "нам": оно негласно подразумевает, что мы обладаем разумом; оно ставит под вопрос чужой разум, а отнюдь не наш. Если разум и впрямь существует под любыми широтами, зачем добавлять, что другие умеют рассуждать не хуже, чем мы?

Высказывание Лабрюйера можно распространить в двух разных направлениях: в сторону всемирности и в сторону этноцентризма. Стоит прочесть следующий фрагмент (*"О суждениях", 23*), как сомнения оказываются невозможными: здесь обозначены точные границы лабрюйеровской толерантности. "При всей чистоте нашего языка, изысканности одежды, утонченности нравов, превосходных законах и белой коже мы кажемся некоторым народам сущими варварами", -- пишет он. Итак, он готов признать, что суждение о варварстве подчас слабо обосновано, поскольку представляет собой лишь плохо сформулированное утверждение о различиях, но аргументы против подобной абсолютизации суждений сами по себе весьма спорны: Лабрюйер полагает, что наши нравы -- утонченные, а наши законы превосходны раз и навсегда; он убежден, что наш язык чист, -- утверждение не вполне мне понятное, -- он думает, что изысканность нашей одежды, то есть принятый у нас способ одеваться, следует принимать в расчет, рассуждая о варварстве, и, наконец, -- что само по себе крайнее варварство, --

что цвет нашей кожи свидетельствует о нашей цивилизованности.

У Лабрюйера практика не дотягивает до теории; то же самое можно сказать о многих других защитниках гуманистической доктрины. Даже в своем "Трактате о веротерпимости" (1763) Вольтер не скрывает своего антисемитизма и заявляет, что "египтяне во все времена были презренным народом" (*Глава IX*)<sup>3</sup>. Но все факты такого рода не задевают самого принципа гуманизма, поскольку именно в этих случаях он не нашел себе применения; достаточно будет сказать, что общее направление мысли не уберегает от частных заблуждений и что о самих гуманистах следует судить при помощи критериев, ими же установленных.

Вторая проблема, напротив, касается самой доктрины и требует более пристального рассмотрения. Вопрос ставится так: следует ли тому, кто исповедует толерантность, вообще отказаться от любых оценочных суждений о любых культурах, кроме его собственной? Если мы говорим, что "каждый обычай имеет свое основание" (историческое, культурное, связанное с местными условиями), не отказываемся ли мы тем самым от собственного разумения, которое велит нам одобрять или порицать те или иные обычаи? Нужно признать, что существует опасность перехода от толерантности к этическому релятивизму, -- но она не соответствует основному направлению гуманистической мысли (Монтень здесь не самый типичный пример, во всяком случае, менее типичный, чем Руссо или Кондорсе). Фактически гуманизм проводит границу между сферой нравов и обычаев, с одной стороны, и проявлениями цивилизации: последние подчинены единой иерархии, а первые -- никаким образом. Просвещение -- абсолютное благо, между тем как манера одеваться меняется в зависимости от стран и эпох, и давать ей оценку не следует, или, обращаясь к примеру из Монтескье, законы должны быть применимы к обстоятельствам; но тирания есть зло под любыми широтами, а умеренность, напротив, есть абсолютное благо. Здесь опять-таки практика может отставать от теории, но в любом случае теория сохраняет свою стройность, постулируя одновременно и равенство людей, и иерархию ценностей.

По-другому обстоит дело с некоторыми идеями, которые высказываются зачастую теми же самими авторами, но по сути своей противоречат гуманистической доктрине. Например, гипотеза о зависимости между нравственностью и телесным обликом, которая мелькает уже у Лабрюйера, но широкое развитие получает в следующем веке у Бюффона. Бюффон не довольствуется тем, что не проводит никакого различия между обычаями и цивилизациями (для него всякая общественная жизнь подпадает под оценочные суждения; он усматривает признак дикарства в том, что женщины такого-то племени на севере Японии красят себе брови и губы в синий цвет, а не в черный и красный); к тому же он устанавливает причинные связи между нравами и внешними признаками: цвет кожи и фигура зависят от образа жизни, -- следовательно, их можно рассматривать

как признаки уровня умственного развития. Однако расизм Бюффона -- поскольку это именно расизм -- не вытекает из принципов Просвещения, совсем напротив. Правда, Бюффон разделяет представления гуманистов об иерархии цивилизаций, но он не верит, что каждый представитель рода человеческого может достигнуть этих вершин иначе чем при благоприятных обстоятельствах, то есть на практике -- только если он поддается соответствующему воспитанию. Тем самым у Бюффона принцип всеобщего равенства сводится к минимуму: к возможности взаимного оплодотворения.

Другие мыслители, напротив, делают упор на равенство, но за счет второго великого демократического принципа (к которому мы еще вернемся), за счет свободы. Например, Кондорсе провозглашает: "Люди на всех широтах равны и являются братьями по воле природы" -- но прибавляет, что речь идет о принципе, а не о реальности; следовательно, необходимо действовать, чтобы "уничтожить неравенство народов" ("*Эскиз исторической картины прогресса человеческого разума*", 1793, VIII и X). Нужно улучшать условия жизни других народов, нужно экспортировать из своей страны революцию, -- на языке Кондорсе это называется "распространять Просвещение" и входит в задачи просвещенных народов: "Разве европейское население не обязано цивилизовать или уничтожить... дикие племена, донныне населяющие обширные территории?"

Здесь мы узнаем программу европейского колониализма XIX века, который более или менее успешно пытался, по обстоятельствам, колонизировать или стереть с лица земли население других частей света. Но можно ли утверждать, что эта программа вытекает из самих принципов гуманизма? Нет, поскольку она подразумевает одну мелочь, которая в этих принципах отсутствует, а именно, убеждение, что можно и даже должно навязывать благо другим (к примеру, "цивиловать" их). Здесь Кондорсе проявляет нетерпимость миссионеров старого времени и, отказывая другим в свободе выбора, в конце концов преступает тот самый принцип равенства, который хочет распространять, ибо только он, Кондорсе, вправе судить, какой смысл содержится в слове "цивилизация", и никого не собирается допускать к участию в споре.

Подведем итоги. Первая основа для практики толерантности есть принцип равенства: чтобы примириться с тем, что все люди разные, необходимо признать, что все они равны. Этот принцип заложен в фундамент гуманистической доктрины, которая, в свою очередь, в явной или скрытой форме усвоена всеми демократическими государствами. Это не означает, что во всех этих государствах царит равноправие (например, мы знаем, что до конца XVIII века равенство в Европе распространялось только на мужчин; до сих пор существуют еще некоторые препятствия к признанию равноправия женщин перед законом), -- но по крайней мере есть возможность вести борьбу в этом направлении, ссылаясь на общепринятый принцип. То, что на первый взгляд может показаться внутренним проти-

воречием гуманистической доктрины, на самом деле есть неполное ее приложение или искажение, как в случае расизма или колониализма. У толерантности, основанной на равенстве, не должно быть никаких пределов; и, напротив, всякая дискриминация, нарушающая принцип равенства, достойна осуждения.

## II

Признание всеобщего равенства есть необходимый элемент современного понятия толерантности -- необходимый, но не достаточный. Равенство уместно утверждать, в частности, там, где речь идет о толерантности по отношению к иностранцам; но толерантности может не хватать и внутри общества, если в нем не признано право каждого на свободу действий: таков случай религиозной нетерпимости -- жгучая проблема XVI-XVII столетий; общество требует от своих сограждан, от себе подобных, обращения в католицизм (или протестантизм). Терпимость нуждается не только в равенстве, но и в свободе.

Однако если можно требовать полного равенства всех людей перед законом, то со свободой дело обстоит иначе: свобода есть благо только в том случае, если она ограничена. Философы древности и нового времени немало усилий приложили, чтобы провести различие между двумя смыслами слова "свобода": правом делать что хочешь, с одной стороны, и правом пользоваться тем, что позволено в данном обществе, с другой. Таким образом, в понятии свободы заложен изначальный парадокс (а следовательно, и в понятии толерантности), поскольку для ее существования ей необходимо самоотрицание, разумеется частичное. В самом деле, если бы каждый делал что хочет, его свобода скоро обратилась бы в ничто, поскольку все другие стремились бы к тому же самому; иначе говоря, границы свободы определяла бы сила, а самый слабый оказался бы лишен свободы вообще. Вот почему Руссо противопоставлял гражданскую свободу -- природной независимости, право пользоваться защитой общества -- праву вредить другим, одним словом, право -- силе, и учил предпочитать первое второму.

Гражданская свобода -- единственная, которая нам желанна, -- есть свобода ограниченная. Внутри очерченных пределов я имею право поступать по своему разумению; вне их я обязан подчиняться правилам и законам, принятым в обществе, к которому принадлежу. Итак, личное от общественного отделено некоей чертой, и для того, чтобы в первой сфере царил свобода, вторая должна находиться под контролем. Противопоставлять надлежит не тоталитарное государство, где граждане не пользуются свободой вообще (где толерантность отсутствует), государству вседозволенности, где свобода ничем не сдерживается (где все признается терпимым), а оба эти крайних случая -- ограниченной свободе. Именно ограниченная свобода являет собой второй великий принцип демократических государств, присутствующий и в эпоху классического гуманизма, где он существовал в форме борьбы за рели-

гиозную терпимость. После Французской революции он был распространен и на всю сферу политической жизни и лег в основу либерализма, разработанного рядом мыслителей от Бенджамина Констана и Вильгельма фон Гумбольдта до Токвиля и Джона Стюарта Милля; но фундаментальные проблемы были поставлены уже в спорах о религиозной терпимости. И первая из этих проблем звучит так: где проходит граница между личным и общественным? Как выделить область, подлежащую регламентации со стороны общества?

В "Богословско-политическом трактате" Спинозы (1670) <sup>4</sup> дается и одна из первых формулировок проблемы, и ее решение. Спиноза защищает право на свободу мнений в вопросах веры. Он рассуждает так: никто не имеет ни права, ни даже возможности перестать быть человеком; между тем человеческой природе свойственно размышлять и выносить суждения. Напрасны были бы попытки ограничить эту свободу; все, на что государство может надеяться, -- это пресечь внешние выражения этих суждений, иначе говоря -- навязать людям лицемерие. Но разве не очевидно, что, принуждая своих граждан к лицемерию, государство действует вопреки собственным интересам? Слова Спинозы по этому поводу ничуть не утратили актуальности: "Можно ли выдумать большее зло для государства, чем то, что честных людей отправляют как злодеев в изгнание потому, что они иначе думают и не умеют притворяться?" (глава XX).

Нам остается только разделить негодование Спинозы перед гонением на свободный поиск истины. Но, чтобы полнее оценить всю сумму исходных данных нашей задачи, примем во внимание, что речь может идти не только о "честных людях", но и об их противоположности. По вполне понятным причинам, либеральные мыслители всегда предпочитали рассматривать случаи бессмысленных гонений на лучших людей: следовало ли, подавшись нетерпимости, осудить Сократа, распять Христа? Спиноза почти не делает исключений из этого правила. Но с тем, что к добру следует относиться терпимо, согласится всякий: в сущности, это слишком легкая победа. Если для того, чтобы верно оценить полезность запрета, целесообразно представить себе, что свободы лишается лучший из людей, то для оправдания терпимости, напротив, нужно предположить, что она распространяется на самое отвратительное для нас мнение.

Спиноза прекрасно понимает необходимость ограничения свободы, -- все последние главы его "Трактата" как раз и посвящены исследованию и определению того, "до какого предела эта свобода может и должна даваться каждо-

му без ущерба для спокойствия в государстве и без нарушения права верховных властей", предела, который позволил бы в то же время удержать религию в сфере личного (то есть в сфере свободного выбора). Для решения этой задачи Спиноза прибегает к двум критериям.

Суть первого в том, что оппозиция личного и общественного толкуется как оппозиция мысли и действия: человек должен обладать полной свободой мысли, но зато поступки его допустимы только если они не нарушают интересов общества. "В демократическом государстве... все договариваются поступать по общему решению, а не

нарушая права и авторитета верховных властей... может говорить то и учить тому, что он думает... хотя и должен часто поступать против того, что он считает хорошим". Спинозе претит проводить внутри высказывания границу между личным и общественным, сужая сферу первого и представляя больше свободы второму: объясняется это, разумеется, тем, что такое разграничение еще сильнее поощряло бы лицемерие.

Итак, слово не рассматривается как действие. Основанием для такого подхода служит только то, что Спиноза неявно рассматривает язык лишь в одной его ипостаси, исследуя только его отношения с миром. Вообще, пока мы представляем себе язык как попытку осветить мир, горизонтом которого является истина, нежелание видеть в языке поступок почти не влечет за собой последствий. Выражение собственной мысли, поиск истины -- это, конечно, поступок, но поступок все время один и тот же, и, соответственно, мы можем без особого ущерба им пренебречь. Всякая словесная деятельность в этом случае есть научная мысль, в идеальном случае воодушевленная единым стремлением к истине. Но, разумеется, отнюдь не любое слово есть слово ученого: ведь язык вовсе не является только -- или хотя бы преимущественно -- инструментом познания мира; гораздо в большей степени он есть средство установить связь между двумя собеседниками, а значит, средство воздействия на других людей. Многие высказывания не стремятся к установлению истины, а воздействуют на человеческое сообщество (и в основе их лежит не наука, а риторика); чаще же всего, пожалуй, высказывания представляют собой смесь того и другого: они содержат и суждения о мире, и призыв к другим людям.

И в этом случае уже недопустимо закрывать глаза на их действительный характер.

Если сегодня я прочту в газете статью с утверждением, что женщины больше всего на свете любят, чтобы им причиняли физические и моральные страдания, -- что прикажете в этом усмотреть в первую очередь: поиск истины (природа женщины) или призыв к действию (мужьям полагается бить жен)? Если я узнал из листовки, что все несчастья французов проистекают от того, что во Франции слишком много иностранцев, большей частью из Магриба, -- как я должен это воспринимать, как мысль или действие? Если все это действия, то я не могу требовать для подобных действий полной свободы, полной толерантности; но я еще не знаю, на основании каких критериев следует принимать одни суждения и запрещать другие. Вероятно, в каждом случае нужен более тонкий подход, который можно сформулировать так: невозмож-



судить и рассуждать одинаково". Враждебная государству мысль, соблазнительное мнение не подлежат каре, если только они не служат толчком к поступку.

Но если разница между мыслью (в голове) и поступком (в мире) кажется простой и понятной, то, едва мы переходим к рассмотрению выражения мысли, то есть слова, вопрос снова запутывается. Слово неразрывно связано с мыслью, будучи ее выражением, но в то же время оно есть поступок: сказать значит сделать. По вине слова разницу между мыслью и действием установить куда труднее, чем казалось на первый взгляд.

Спиноза разрешает проблему так: он утверждает, что слово -- это мысль, а не поступок. "Никто без нарушения права верховных властей не может действовать против их решения, но вполне может думать и судить, а следовательно, и говорить, лишь бы просто только говорил или учил... Каждый, не

но противопоставить слово поступку, недостаточным является даже разграничение публичного и частного высказывания. Можно было бы предположить, что граница проходит между разными типами публичных высказываний: в таком случае критерием ограничения становится тип публикации (журнал, газета, книга, листовка). Существуют чисто научные типы изданий, имеющие, соответственно, малый тираж; единственная цель, которую они перед собой ставят, -- поиск истины; таким изданиям нельзя навязывать никакие ограничения; нельзя в принципе накладывать запрет на исследование биологических основ расового или полового неравенства (они могут быть изъяты редакцией вследствие научной несостоятельности, но никакой нетерпимости в этом не будет). Другие же типы изданий несут, так сказать, коммуникативную, а не познавательную функцию: здесь слово является поступком и должно рассматриваться соответственно.

Оппозиция между мыслью и словом, с одной стороны, и действием, с другой, недостаточно полно отражает фактическую картину; здесь, быть может, кроется одна из причин, побудивших Спинозу ввести второй критерий, позволяющий отделить личное от общественного, а значит, свободное от регламентированного. Этот критерий выявляется, когда философ рассматривает возможность предоставить свободу слова не "честным людям", а какой-нибудь "ненавистной секте": ее члены, по его мнению, также должны пользоваться свободой и безнаказанностью, "лишь бы они никому не вредили". Эта формула пользуется большим успехом, и не зря. Задачи государства чаще всего определяются не как положительное благо, которого следует достигнуть, а через отрицание: государство не обязано обеспечить счастье своих сограждан, его задача лишь предупредить зло, которое одни из них могли бы причинить другим; счастье отдельного человека целиком относится к сфере личного. Ни под каким предлогом нельзя навязывать благо другому человеку; каждый волен распоряжаться своей жизнью по собственному разумению, лишь бы от этого не пострадали другие люди. Даже если общество убеждено, что данный индивидуум заблуждается, оно должно воздерживаться от вмешательства. Нельзя наказывать пьяницу за то, что он пьяница, а только за то, что он вредит своим ближним или нарушает общественный порядок; нельзя наказывать наркомана, а торговца наркотиком -- можно и должно. Или возьмем крайний случай: убийство есть преступление, самоубийство -- нет. Великие теоретики либерализма в XIX веке никогда не забывали сделать эту оговорку: свобода во всем,

кроме того, что наносит вред другим.

Однако эффективность этого нового критерия вызывает некоторые сомнения. Если понимать его буквально, трудно очертить пределы его воздействия: получается, что все свободы, щедро даруемые одной рукой, тут же забирает другая. Не говоря уж о примерах, которые приводились выше, можно утверждать, что поиск истины всегда кому-нибудь вредит, например, тому, кто извлекал выгоду из сложившегося порядка вещей. Скажем, тот, кто борется за религиозную терпимость, очевидно наносит вред приверженцам фанатизма. Тот, кто нападает на тирана, несомненно причиняет тирану зло. Тот, кто

ление к истине или к прогрессу закономерно вне зависимости от последствий, но в этом случае мы будем исходить из абсолютных ценностей, таких как прогресс или истина, а не из того ущерба, который может быть причинен другим. Итак, изъян этого критерия заключается в том, что он недостаточно четко определен.

Во всех рассмотренных случаях мы констатировали "ущерб", однако не находили в нем достаточных оснований для нетерпимости. Можно было бы взглянуть на предмет с другой стороны и найти еще более веские причины для того, чтобы отринуть этот критерий в принципе. В самом деле, деяние достойно осуждения не только

потому, что оно причиняет кому-нибудь ущерб, но и потому, что оно дурно само по себе. Если кто-нибудь публикует сегодня антисемитские призывы, нельзя утверждать с уверенностью, что он причинит евреям страдания; в общественном мнении существует на этот счет настолько единое и твердое мнение, что, не говоря уж о том, что на антисемита могут подать в суд, он подвергнется остракизму со стороны своих соотечественников: он может лишиться работы и даже схлопотать по физиономии. Итак, сам он пострадает больше, чем жертвы его нападок. Но это не дает повода ни оправдать его поступок, ни примириться с ним: мы осуждаем антисемитскую пропаганду потому, что видим в ней зло, а не потому, что она причиняет зло другим.

Подобным аргументам можно было бы противопоставить иную интерпретацию принципа свободы, которую выдвинул современник Спинозы, другой поборник терпимости, Пьер Бейль. Чтобы различить допустимое и недопустимое, Бейль прибегает к суду совести, то есть к внутреннему убеждению.

"Все, совершаемое вопреки голосу совести, есть грех, так как очевидно, что совесть это свет, говорящий нам, что то-то хорошо или дурно". (*Философский коллиентарий*, 1686, часть вторая, глава VIII.)<sup>5</sup> Но достаточно ли быть искренними для того, чтобы быть справедливыми? Разве поборник неравенства полов или расист не могут оправдывать свои действия внутренним убеждением? Разве путь в ад, по известной пословице, не вымощен добрыми намерениями? Оценка поступка по его последствиям, как предлагал Спиноза, не дает возможности судить о самом поступке; но оценка его по намерениям человека, совершившего этот поступок, как того хочет Бейль, точно так же не позволяет оценить его сам по себе и вдобавок подчиняет общественный по своей природе поступок субъективной оценке индивидуума.

Итак, мы столкнулись с парадоксальной ситуацией: все мы согласны со Спинозой (или Бейлем) в том, что терпи-



предлагает материалистическую трактовку мира, приносит ущерб сторонникам божественного его происхождения, причем ущерб весьма ощутимый: уменьшаются их доходы. Тот, кто побеждает в соревновании, вредит тому, кто занял второе место. И так везде: тот, кто расстался с любимым человеком, разлюбив его, причиняет покинутому огромное горе.

Неудобства, заложенные в этом критерии, слишком очевидны, чтобы от них отмахнуться, но все попытки его дополнить и повысить тем самым его эффективность сводятся в итоге к его подмене. К примеру, можно сказать, что победитель соревнований не должен становиться объектом нетерпимости, поскольку все соперники находятся в равных условиях: следовательно, он нанес ущерб личности, но не ее правам. Но это заставляет нас ввести понятие права, которое не сводимо к понятию зла, причиненного другим людям. Или, например, можно сказать, что стрем-

мость необходима, ибо она гарантирует сохранность свободы, которая для нас является идеалом; мы знаем, что для того, чтобы свобода существовала, она должна быть ограничена, но не видим, на что опереться в определении ее границ. И вот мы уже готовы с благосклонным вниманием прислушаться к врагам либерализма, доказывающим, что свободу следует отменить, или основываясь свои ограничительные меры то на национальной традиции, то на религии: в нашу эпоху предпринимаются подобные попытки.

### III

Либеральная программа, бесспорно, великодушна, однако она слабо обоснована. Нельзя ли, вместо того чтобы от нее отказаться, поискать способа придать ей больше устойчивости? Интересную попытку в этом направлении предпринял еще один основоположник либерализма, Джон Локк, автор знаменитого "Письма о веротерпимости" (1689) <sup>6</sup>.

Программа Локка имеет много общего с программой Спинозы. Локк также хочет провести границу между областью общественного, касающегося гражданских проблем, и личной жизнью, к которой относятся вопросы религии, а также и личного благополучия. Закон и его служители имеют доступ к первой области, но не ко второй; никто не имеет права навязывать благо другим. "Общественное благо есть правило и мера всякого законодательства". "Дело законов обеспечивать не истинность мнений, а безопасность государства и каждого отдельного человека, его личности и имущества". "Законы предусматривают, насколько это возможно, что имущество и здоровье подданных не должны терпеть ущерба от обмана или насилия со стороны других, но они не охраняют их от небрежности или плохого управления самих хозяев. Никого нельзя заставить быть богатым или здоровым, хочет он этого или нет".

Свобода совести ничем не ограничивается. Но между внутренним и внешним нет непроницаемой границы: личные убеждения влекут за собой поступки, которые, в свою очередь, относятся к общественной жизни. Итак, мы вновь сталкиваемся с проблемой, как отграничить дозволенное от недозволенного, и здесь позиция Локка отличается от позиции Спинозы (с которой он был знаком). Первый критерий Спинозы касался самой природы фактов; исследовался вопрос, что есть мысль, а что поступок, но этот критерий оказался неприменим. Второй относился к последствиям, но и он, как выяснилось, не вполне заслуживал доверия, а то и вовсе не приносил пользы. Локк предлагал другое решение: он выдвигает критерий общего блага. Все, что ему противоречит, должно преследовать по закону независимо от того, причинен кому-нибудь ущерб или нет; все, что безвредно для общего блага, должно оставить на усмотрение отдельного человека. Общее благо -- абсолютная ценность, позволяющая измерить качество каждого поступка. Терпимость действительна лишь в том случае, если она сочетается с идеей общественного блага, и отказ от него знаменует собой порог

нестерпимого. Общее благо не есть прямое порождение терпимости, но и ее противоположностью оно не является: вернее всего будет сказать, что одно является необходимым дополнением другого и наоборот. Либерализм не может сохранить свою целостность, если не умеряется стремлением к общему благу.

Но нет ли опасности, что понятие общего блага отклонится от своих целей, коль скоро каждый примется толковать его на свой лад? Такая опасность есть, если довольствоваться общей формулой. Однако Локк без колебаний входит в детали: он перечисляет целый ряд случаев, требующих вмешательства закона. Не стану напоминать исторические условия, на которые опираются все эти случаи; лучше попытаюсь подыскать им параллели в современности. С этой точки зрения можно установить три типа исключений из правила толерантности, вернее, три типа нестерпимых поступков, осуждение которых есть предельное условие применения принципа толерантности.

Во-первых, государство вправе не терпеть отказа от так называемого общественного договора, то есть жизни в обществе, при которой человек отрывается от независимости во имя приобретения защиты. Локк считает, что к такому отказу ведет атеизм, потому что если Бога нет, то все дозволено. Но обоснованием морали может быть не Бог, а человечность, и соблюдение общественного договора не нуждается в теологическом оправдании. Здесь необходимо добавить, что государство к тому же обязано защищаться от нападков во имя другого принципа, помимо того, на который ссылается Локк, а между тем этот принцип не менее разумен: как заметил Монтескье, никакой беды не случится, если одно умеренное правительство заменить другим умеренным правительством, но совсем другое дело, если на смену умеренности придет тирания. Внутри демократии следует терпеть критику, обращенную на правительство, покуда она исходит из демократического принципа, но не ту, которая отрицает сам принцип демократии. Зато демократическая критика, обращенная на тиранию, морально допустима, поскольку прибегает к разумному обоснованию.

Разумеется, здесь речь идет об ограничении индивидуальной свободы; такое ограничение практикуется большинством сегодняшних демократов (во Франции по закону от 1936 года преследуются посягательства на республиканскую форму правления и запрещается пропаганда подобных убеждений). Тому есть своеобразное экономическое оправдание: отказываясь от этого ограничения, демократия подвергается большому риску, чем принимая его. Допустив свободу высказываний и свободу собраний для партии нацистов, Веймарская республика проторила путь фашизму, который не довольствовался ограничением демократии, а попросту уничтожил ее.

Во-вторых, государство вправе не терпеть действий тех людей, которые, находясь внутри него, отстаивают интересы другого государства: долг перед народом в этом случае выше гуманистического долга. Если человек, живу-

щий в государстве А, "в то же время считает, что обязан слепо повиноваться" суверену государства Б, следует признать, что его позиция наносит ущерб гражданским интересам. Это проблема "партии иностранцев" и "пятой колонны". Но здесь есть свои нюансы. Подобная позиция по-разному будет оцениваться во время войны и в мирное время; одно дело, если государство Б угрожает самому существованию государства А, другое -- если этого не происходит; одно дело, если инакомыслие может найти себе выражение без материальной помощи из-за границы, другое -- если это невозможно (с этической точки зрения, "предательство", как это ни парадоксально, менее терпимо в демократическом обществе, допускающем разные политические воззрения, чем в тоталитарном государстве, где оно часто остается единственно возможной формой оппозиции). Здесь следует избегать двух крайностей: никто не обязан верить, что его страна всегда права, никто не обязан покидать ее, если она ему не по вкусу, но нельзя и требовать безнаказанности, если в открытую брешь за подчинение своей страны другой.

И, в-третьих, нельзя терпеть в государстве тех, кто дискриминирует кого-либо из своих сограждан и требует привилегий для себя (иначе говоря, отрицает принцип равенства), поскольку таким образом они утверждают собственную нетерпимость, а нетерпимость терпеть нельзя. Локк, разумеется, имеет в виду различные толки христианства, но для нас сегодня этот третий вид необходимой терпимости, вероятно, наиболее актуальный, поскольку распространяется на большинство населения, касается двух течений, проповедующих неравенство, одно из которых -- расизм, а другое -- сексизм, то есть проповедь неравенства полов. Сегодня самый активный вариант расизма в западных демократиях направлен против рабочих-иммигрантов (во Франции это большей частью выходцы из Магриба). Он принимает разнообразие формы: от религиозной нетерпимости (запрет на строительство мечети или утверждение, будто все мусульмане -- неисправимые фанатики), включая пропаганду психологических клише (арабы грязные, ленивые и вороватые) и кончая убийствами случайных жертв. С XVI века постановка вопроса разительно изменилась: тогда спрашивалось, следует ли терпеть разные расы, и ответ звучал: да. Сегодня мы можем спросить, следует ли терпеть расизм, и ответом будет: нет.

Объектом расовой дискриминации является небольшая часть населения, но дискриминация накладывает отпечаток на все стороны ее жизни. Напротив, дискриминация пола касается половины населения, но отражается лишь на некоторых аспектах жизни дискриминируемых. Именно в силу своей распространенности она обращает на себя меньше внимания, чем расизм, но формы ее не менее жестоки, скорее наоборот. Например, молодая женщина без сопровождения не может ходить по городу без опасности подвергнуться нападению, особенно после наступления темноты. Если перенести эту ситуацию в расовый план, ее придется

назвать апартеидом: определенным группам населения воспрещен доступ в определенную часть города. С другой стороны, вообразите себе, какие громкие протесты вызвало бы провозглашение неких кварталов "черными" или "желтыми", где любой белый посетитель мог бы поступать с представителями этих двух рас как ему вздумается, а те за деньги исполняли бы любые его прихоти! Между тем кварталы "красных фонарей" никого не шокируют. Антифашистский закон действует во Франции с 1939 года; закон о равноправии полов до сих пор принят не полностью, следует добавить, что среди тех, кто грешит сексизмом, немало жертв расизма, и расистская пропаганда не упускает случая этим воспользоваться. Вольтер сказал: "Закон нетерпимости нелеп и варварски жесток: это закон тигров". (Глава VI). Разумеется, он был прав в отношении тех отдельных случаев, которые подразумевал, но в общем смысле эта формула неприемлема. Скорее напротив: право на безграничную терпимость поощряет сильных и ущемляет слабых. Терпимость к насильникам означает нетерпимость к женщинам. Если мы терпим, чтобы тигры жили в одной клетке с другими животными, значит, мы готовы принести вторых в жертву первым, а в этом куда больше бессмыслицы и варварства. Жертвами безграничной толерантности оказываются те, кто физически или материально слаб, и именно им, а не сильным, принадлежит право на нетерпимость по отношению к тем, кто на них нападает.

Итак, три типа нетерпимости касаются, во-первых, всего человеческого сообщества, во-вторых, частного случая общества, каким является государство, и, в-третьих, отдельных индивидуумов внутри этого общества. Можно спорить о том, достаточно ли полон этот список и насколько оправдано выделение тех или иных случаев, но как бы то ни было, за автором следует признать по крайней мере ту заслугу, что он очертил задачу во всей ее сложности и увидел, что любое решение вопроса о терпимости, не учитывающее существования нетерпимого, есть решение половинчатое и, в сущности, мнимое. Это утверждение не дает готовых рецептов в ответ на вопрос, в каких формах следует вести борьбу с нетерпимым, а главное, вопреки притворным опасениям поборников полной свободы, не сводится к призыву учредить цензуру.

В борьбе с нетерпимым есть, во-первых, позитивная сторона, то есть воспитание (хотя школьное воспитание не слишком-то успешно борется с предрассудками расизма и сексизма, не говоря о прочих), а затем и негативная, то есть репрессивная. Эта последняя в ряде случаев может осуществляться посредством законов, а во всех остальных -- посредством неодобрения, выражаемого общественным мнением (подразумевается, что оно, в свою очередь, воспитано должным образом). Зачастую отсутствие одобрения оказывается более действенным средством борьбы, чем цензура: труд интеллектуала и художника нуждается в материальной поддержке меценатов; когда в роли мецената выступает государство, оно может выбирать, кого поддерживать, а кого нет,

исходя из соображений терпимости и нестерпимого.

Разумеется, не нужно сжигать Сада, но зачем его прославлять? Нам представляется изрядным анахронизмом жест Руссо, который в "Письме к Даламберу" просит во имя общественно-го блага, чтобы в Женеве не было театра. В данном случае Руссо мог заблуждаться; но если мы откажемся признать какую бы то ни было связь между политикой и искусством, не приведет ли это в итоге к поправлению политики, или искусства, или того и другого?

Цензура нежелательна; но не менее нежелательна и полная вседозволенность в области слова. Закон преследует преступления сексистские (изнасилование) и расистские (дискриминация); оправдано ли его бессилие в случае подстрекательства к этим преступлениям? Когда заходит речь о снижении образа женщины в массовых видах искусства, часто слышатся возражения: нет никаких доказательств реальной зависимости между сексизмом словесным и сексизмом поступков; быть может, напротив, возможность первого избавляет многих от необходимости перейти ко второму; в этом случае превентивные меры грозят обернуться против тех, которые о них просят. Но, во-первых, эта зависимость бесспорно существует, хотя оценить ее нелегко и она не поддается механическому изменению. Разве кто-нибудь всерьез сомневается, что существует зависимость между пропагандой антисемитизма и истреблением евреев? Между антиарабскими разглагольствованиями и участвовавшими избиениями, а то и расправами над арабами? Между анархическими рассуждениями в духе сексизма, присущими исключительно западным демократиям, и опасностью, которой подвергаются женщины на улицах именно в этих странах? А во-вторых, слово -- тоже поступок: расистское высказывание есть не только подстрекательство к поступкам, оно само поступок, то же относится и к сексизму. Можно пользоваться полной свободой слова, но нужно быть готовыми нести ответственность за эти слова, особенно в тех случаях, когда их целью является не столько поиск истины, сколько воздействие на других людей.

Изложенный на этих страницах краткий обзор европейской истории идей приводит меня к утверждению, что толерантность можно отстаивать во имя равенства и во имя свободы. Исходя из первого принципа, требование толерантности ничем не должно ограничиваться: человеческое достоинство следует признать за всеми. Что касается второго, тут требование толерантности ограничено заботой об общем благе. На наше усмотрение (и благоразумие) остается вопрос, какую роль в каждом отдельном случае играет каждый из этих принципов.

Вот почему, хотя понятие толерантности имеет значение всегда и всюду, формы и направление борьбы за толерантность зависят в каждом случае от исторического, культурного и политического контекста нашей жизни. В странах, где проводятся расовая сегрегация или другие формы дискриминации, необходимо делать упор на принцип толерантности в той мере, в какой он

исходит из принципа равенства. В странах, существующих в условиях военной или тоталитарной диктатуры, на первый план выходит борьба за толерантность как индивидуальную свободу. Наконец, в либерально-демократических обществах, где, за исключением отдельных случаев, уже достигнута религиозная и расовая терпимость, а также свобода слова, но индивидуумы склонны поступаться заботой об общем благе в погоне за преуспеянием, следует направлять усилия главным образом на борьбу с теми явлениями, которых ни в коем случае нельзя терпеть.

К этой последней категории, на мой взгляд, относятся современные государства Западной Европы. Известно, что высказывались и противоположные мнения: Сартр в предисловии к "Грешникам земли" или Маркузе в своем труде "Репрессивная толерантность" утверждали, что мы живем в стране, где правительство и другие облеченные властью группы совершают над гражданами повседневное насилие. Насилие, превращающее все разговоры о толерантности в какие-то театральные аксессуары, в искусный камуфляж, служащий ему оправданием; насилие, в качестве ответной реакции влекущее за собой новое насилие, -- именно оно породило различные группы "Аксон директ", Красные бригады и прочие отряды красных и черных армий. Я с этим диагнозом не согласен и, естественно, предлагаю другое лекарство. Быть может, мне следует уточнить, что я не считаю это лекарство панацеей: члены нашего общества испытывают немало других бед кроме тех, которые можно излечить одной толерантностью, как бы верно ни были рассчитаны ее дозы.

<sup>1</sup> Мишель Монтень. Опыты в трех книгах. Пер. А.Бобовича. М., "Наука", 1980.

<sup>2</sup> Жан де Лабрюйер. Характеры, или Нравы нынешнего века. Пер. Э.Линецкой и Ю.Корнеева. М.-Л., 1964.

<sup>3</sup> В кн.: Вольтер. Бог и люди. Статьи, памфлеты, письма в двух томах. М., Изд. АН СССР, 1962, т. 2, пер. Е.Зворыкиной.

<sup>4</sup> В кн.: Бенедикт Спиноза. Избранные сочинения в двух томах. М., 1957, т. 2, пер. М.Лопаткина.

<sup>5</sup> В кн.: Пьер Бейль. Исторический и критический словарь в двух томах. Пер. В.Богуславского и И.Шерн-Борисовой. М., "Мысль", 1968.

<sup>6</sup> В кн.: "Английское свободомыслие: Д.Локк, Д.Толанд, А.Коллинз. Пер. Е.Лагутина, А.Богополова, И.Румера. М., "Мысль", 1981.

События 19 августа трактуются у нас по преимуществу как криминальные. Их называют путчем, заговором. Иногда, пытаясь объяснить криминалистические загадки, называют инсценировкой. Гадают, какую роль играл Горбачев, какую Ельцин, и выясняют, сознавали ли заговорщики, что их подбили устроить заговор, чтобы, подавляя его, погубить вернейших людей партии и государства. Но как-то плохо верится, что Крючков с Лукьяновым столь наивны, чтобы угодить в расставленную ловушку. Версия инсценировки была бы

нанеся и той и другой неизмеримый ущерб. Хрущев, разоблачивший Сталина, оказался хоть и не врагом народа, но безответственным волонтеристом, Брежнев, как выяснилось, даже и уголовно безгрешен. Всю эту информацию, сперва, разумеется, "клевещническую", потом подтверждали официально, и не приходится удивляться, что противники режима часто объявляют все советское руководство с Октября 1917 года просто бандой уголовников, мафией.

Скажем сразу, это неверно. Но понять, что это неверно, можно лишь осознав подвижное разнообразие социальных сил, влиявших на судьбу советского государства еще до Октября и до Февраля. Силы,

## Поэль Карп

к родной земле, к ее ландшафтам, к людям, ее населяющим, к ее культурным, в том числе трудовым, традициям, у нас искусственно переносится на государство, на политический институт, своими органами и установлениями осуществляющий на ландшафтах родины власть. Немецкие поэты-романтики писали о красоте своей родины, когда она еще была разделена на тридцать шесть государств. Русь обрела единство в борьбе против иноземного ига при Василии III, отце Ивана Грозного, но это наше преимущество стерло в сознании людей различие между страной и правящими ею политическими институтами. Феодално-абсолютистское государство отождествляло с родиной себя, лишая угнетенные сословия права говорить от ее имени. То же самое делало и советское тоталитарное государство. Изменниками родины объявляли и Андрея Курбского, и Федора Раскольникова.

На деле, однако, и за Грозным, и за Курбским, и за Сталиным, и за Раскольниковым в родном краю были сочувствующие, и еще немало было сочувствующих совсем другим людям и другим общественным тенденциям. Но абсолютистское государство, в отличие от демократического, и прежде и потом не сообразовывалось с многоголосием родины и насильем заглушало неугодные голоса. А когда новые узурпаторы интригами или силой занимали места предыдущих, они тоже пуще всего держались за свое монопольное право говорить от имени родины, а говоривших и делавших другое предшественников неизбежно провозглашали отступниками, изменниками.

Гэкачеписты явно нарушили установленные порядки, они лгали, что президент болен, когда он был здоровехонек, да еще использовали армию не по назначению, — состав преступления налицо, но квалификация этого преступления как измена родине, совершенная отдельными людьми, в ней обвиняемыми, означает, что наша страна не переменялась, что и после 21 августа она, вопреки уверениям, не стала другой, а все та же самая.

К тому же 19 августа не просто кучка заговорщиков пыталась захватить власть — они и так стояли у власти, — но исчерпала себя политика, именовавшаяся перестройкой. Потому гэкачеписты и повернули вспять. Еще ведь за год до них попятное движение начал зачинатель перестройки Горбачев. Весной 1991 года, когда гэкачеписты атаковали его в Верховном Совете, он сам предлагал ограничить свободу печати, главное детище перестройки. Невозможно понять, почему силы попятного тяготения сели на танки, если не разобратся в расхождениях, которые могли вдруг разделить их с Горбачевым, уже год их поощрявшим.

### I

Надежда на перестройку исходила из предположения, что кризис советского хозяйства, разразившийся в конце семидесятых — начале восьмидесятых годов, можно преодолеть сверху. Горбачев олицетворил эту надежду. Но что надлежало преодолевать, что породило кризис? Ведь наше хозяйство и в кризисные годы дос-



правдоподобна, сводись дело к бедняге Янаеву, проштрафившемуся по пьяному делу, а так она даже чисто психологически невероятна. К тому времени, когда читатель получит журнал, быть может, начнется и, возможно, окончится суд, но, покуда иное не доказано, будем исходить из официальной версии событий, хоть есть в ней загадочные проделы и странности. О них и будем думать.

Главная странность в самой этой криминальности, в том, что вице-президент, премьер-министр, председатель парламента, не говоря уж о главах военного и полицейского ведомств, разом обвиняются в измене родине. Нам, правда, не привыкать. Задним числом мы всегда узнавали, что нашу советскую родину от победы к победе вели ее злейшие враги, позднее разоблаченные, начиная с того, что революция и гражданская война выиграны под водительством первого ненавистника социализма Троцкого. Да и сама партия большевиков тогда состояла, как после выяснилось, из врагов революции и претателей социализма, и в большинстве своем дожившие до тридцатых годов ее члены были уничтожены в сталинских лагерях. Никакие индивидуальные реабилитации и признания отдельных "ошибок", сколько бы их ни было, это общественное явление — ликвидацию советским государством своих создателей — уже не отменяет.

Да и Сталин, хоть связи его с охранкой остались на уровне пусть авторитетных свидетельств, но не бесспорных доказательств, тоже, как обнаружилось на практике, был врагом родины и революции,

победившие в Октябре, наводя тень на плетень, любили демонстрировать свое нерушимое единство даже тогда, когда одни казнили других, отсюда и вера в то, что стоящие у власти — исполнители воли народной, а низвергнутые или к власти не допущенные — враги народа, изменники родины. Как сказано, "Мятеж не может кончиться удачей, — В противном случае его зовут иначе". "За" и "против", "красные" и "белые", "наши" и "вражеские" — в эти антитезы с давних пор у нас втискивали все и всех.

Раскручивая августовские события, стоило бы для начала задуматься, почему вчерашним руководителям страны опять предъявили обвинение в измене родине. Не потому ли, что государство как было, так и осталось тоталитарным и боится самоанализа?

Слов нет, изоляция президента и ввод танков на столичные магистрали — преступны, и виновных следует привлечь к ответственности, тем более что погибли люди. Можно даже поговорить о моральной измене гэкачепистов Михаилу Сергеевичу, которому все они лично обязаны своими должностями. Однако персональные обвинения в измене родине, предъявляемые широкому кругу лиц, еще вчера стоявших у власти и олицетворявших ее, нуждаются в объяснении. Можно, опять же, перевалить вину на тех, кто их к власти продвинул, и, таким образом, еще больше расширить круг изменников. Но верней осознать, что бесчисленные обвинения такого рода вызваны неправомерным отождествлением родины и государства.

Естественное чувство привязанности

тигало фантастических результатов в создании новейшей военной техники. Зло коренилось в том, к а к, учитывая к тому же нашу более низкую, чем у конкурентов, производительность труда, эти успехи достигались. А достигались они непомерной растратой природных ресурсов богатейшей страны и чудовищной растратой ее людских ресурсов. Нескончаемая растрата и привела в конечном счете к кризису всего хозяйственного механизма. Результатом могущества стала нищета, и выйти из кризиса можно лишь радикально изменив общественные отношения.

Однако правящий слой и после Сталина, по сей день сопротивляется изме-

ний системы, была обречена.

Для проведения необходимых реформ требовалась поддержка правящего слоя. Но, вопреки широкообещательным заявлениям, что перестройку начала партия, Горбачев ее поддержки не получил и стал искать выход в демократизации партийной жизни. Внутрипартийная демократия могла бы поставить партийных руководителей среднего звена, как раз наиболее консервативных, в зависимость от рядовых партийцев и тем ослабить торможение реформ. Но рядовые коммунисты в большинстве оказались сторонниками прежней системы, разве что без фундаменталистских излишеств. Низовые ячейки в массе пошли не за генсеком, а за сек-

восстановить в самом государственном секторе стоимостные отношения и, пусть даже с помощью открытых субсидий на какое-то время, практиковать адекватные цены и зарплаты, что было бы, конечно, не просто. Но чем дальше реформы откладывались, чем дальше заходила инфляционная политика правительства Рыжкова, тем сложнее становилось реформирование государственного хозяйства, поскольку его разрыв с реальностью все увеличивался, и это делало неотвратимым обвал — то ли взрыв, то ли шоковую реформу, а если тянуть слишком долго, и то и другое разом.

Однако правящий слой, точь-в-точь как до 1917 года, закрывал на это глаза, не желая даже компромисса, чтобы не поступиться ничем. Конечно, переход к стоимостным отношениям грозил не только покончить с директивно-партийным руководством, от которого хотел отказаться Горбачев, но, поскольку пришлось бы считаться с реальностью, он в перспективе сократил бы и руководящую роль государства, за которую Горбачев ратовал.

А главное, при переходе к стоимостным отношениям с их объективными критериями стало бы невозможно гарантировать принадлежность к правящему слою. Позиция в "номенклатуре" потеряла бы значение, как потеряло его аристократическое происхождение в буржуазном мире. И при самых диких формах приватизации и присвоения номенклатурой в частную собственность общественного имущества, за счет которого она дотеле жила, этим людям пришлось бы сохранять и приумножать награбленное уже на легальных путях, на что далеко не все они способны.

Упрямство правящего слоя, его нежелание признать объективную необходимость перемен, стремление избежать стоимостных отношений даже при открывающейся возможности социальной переориентации, сводили на нет постепенный, "кадровский" путь. Поэтому от реформ требовалось все больше и больше радикальности, но именно это делало их все более неприемлемыми для правящего слоя. Горбачев, как его лидер, не рискнул порвать с партией, под водительством которой страна уперлась в тупик, и обратиться за поддержкой в проведении реформ к народу, как это потом рискнул сделать Ельцин. Нет другого убедительного объяснения тому, что Горбачев отверг проект Явлинского — Шаталина, который, по его собственным словам, нравился ему больше, и предпочел гнавший зайца дальше проект Рыжкова, а вскоре еще заменил хотя бы внешне мягкого, пусть и упрямого, Рыжкова грубым и лживым Павловым.

Не стоит, однако, сводить неудачу перестройки к личным просчетам или слабостям Горбачева, который пытался строить новое, опираясь исключительно на старые партийные кадры, перемещая партийных функционеров в государственный аппарат и депутатский корпус, в результате чего привычные методы партийной работы продолжали применяться и тормозить перемены.

Ведь коммунисты заняли руководящие позиции не только рядом с Горбачевым, но и в новых, начавших возникать партиях. Не только лидер "Демократической России" Афанасьев или лидер Демократической партии Травкин, но и лидер Христианско-демократической партии Аксю-

# ИЗМЕНА РОДИНЕ

нениям. Он отверг принятую было в середине шестидесятых "косыгинскую" экономическую реформу и растоптал пражский "социализм с человеческим лицом", стремившийся к сообразности не только с волей партии, но и со стоимостью производства. Первые шаги Горбачева преимущественно вели еще только к облегчению груза, лежавшего на стране, к отказу от силового удержания внешнего имперского пояса из так называемых социалистических стран, к прекращению афганской войны и заключению международных соглашений, позволявших не так быстро наращивать военные расходы. Успех был несомненен, однако не затрагивал внутренние первопричины кризиса, продолжавшие действовать.

Необходимо было покончить с монопольным характером хозяйства, отделить его от государства и установить сугубо экономические отношения между хозяйственными единицами. "Революция сверху" позволяла сделать это путем социального компромисса, не переверачивая все хозяйство на противоположное разом, а так, как это было при переходе западных стран от феодализма к капитализму, так, как это намечалось у нас в 1921 году или происходило в Венгрии, где вскоре после подавления восстания 1956 года Янош Кадар начал внедрять стоимостные отношения.

Теоретически задача состояла в том, чтобы на достаточно длительный срок наладить компромисс — параллельное существование двух хозяйственных систем, существующей, внеэкономической, и другой, стоимостной, состоящих между собой в эффективности. Этому, однако, препятствовала нигде и никогда прежде не виданная абсолютизация у нас внеэкономической системы, в 1985 году настолько всеобъемлющей, что всякая попытка независимого хозяйствования при ней, если это хозяйство не являлось лишь проявлением теневых тенден-

ретарями райкомов. Удивляться не приходится. Не говоря покамест о прочем, как раз райкомы всегда и владели рычагами коммунистического послушания и могли воспользоваться ими против генсека, вынужденного видеть вещи более близкими к реальности, чем секретари райкомов.

И тогда Горбачев совершил исторический шаг, впервые после разгона Учредительного собрания пойдя в 1988 году на то, чтобы отдать пусть скромную, пусть ограниченную, пусть подконтрольную, но все же какую-то роль в решении судеб страны народу, избирателям. После XIX партконференции оформилась политическая цель перестройки — переход от произвольного, волевого партийного управления к управлению хоть по-прежнему внеэкономическому, но государственному, кодифицированному правилами, оформленным как законы. Открывая в конце мая 1989 года первый съезд народных депутатов, Горбачев признался, что "перестройка идет тяжело", но то был ее звездный час.

Уже в этот час ощущался предел, которого инициаторы перестройки переступить не хотели, — оттого и отвергли предложение Сахарова принять декрет о власти, то есть фактически преобразовать съезд в новое Учредительное собрание. Господствовали шестидесятилетние иллюзии, будто разумная политика верхов способна подменить самодвижение низов и всего общества. Реформы активно обсуждались, но не осуществлялись. Между тем, чтобы наладить параллельное существование двух хозяйственных систем, государственной и частной, в том числе и групповой, нужно было учитывать, что первая из них, господствующая, держалась на искусственной сбалансированности произвольно декретированных цен и произвольно декретированных зарплат. Чтобы она могла соревноваться со стоимостной системой, требовалось



чиц в прошлом был коммунистом. А покровительство так называемых правоохранительных органов национально-патриотическому фронту "Память" – тоже не тайна. Если прежде в КПСС бесшумно уживались сторонники национал-социализма, госкапитализма и социал-демократии, то теперь внутренние разногласия вышли на свет. Получили право на гласное изъяснение и схожие позиции, прикрытые иными идеологическими знаменами. Все это именовалось расцветом демократии. Но для подлинно демократических взглядов публичность осталась ограниченной. Примечательно, что среди лидеров новой волны фактически нет и не было, кроме Сахарова, видных диссидентов, и никто из них так и не допущен к власти. К ней не допущены даже люди, просто сочувствовавшие демократическому движению, прежде чем оно стало официальным.

Наша демократизация, разумеется, предоставила некоторый выбор, но из весьма ограниченного набора политических фигур, среди которых подлинных демократов, проявивших себя таковыми еще до перестройки, практически не оказалось. Улюлюканье Сахарову отражало не только личную неприязнь или партийный сигнал, но преобладающее среди депутатов желание не допустить независимую оппозицию. Связанность нынешней власти с прежней и само по себе коммунистическое происхождение новых политических деятелей, не исключая ярких антикоммунистов и даже православных монархистов, сдержали реальную дифференциацию политических партий.

Реформы понимались как предмет не столько даже социальной, сколько хозяйственной инженерии, и уж совсем не как способ гармонизации социальных интересов разных слоев общества. Существенные проблемы преобразования хозяйст-

ва и создания социальных гарантий не стали предметом общественной борьбы. Власть решала их по своему усмотрению, и тем упорней, не желая, конечно, того, толкала как к единственной надежде к национальному самоопределению. Социальный кризис, который не торопились решать как общий кризис государства даже по сугубо унитарной, имперской программе Явлинского, неминуемо перерастал в кризис национальный уже потому, что упрямство центральной власти перед лицом обвала побуждало каждого преодолевать кризис самостоятельно. Каждого человека и каждый народ.

## II

Становление стоимостного хозяйства и развитие регулирующего его рынка, как свидетельствует история, обычно и базируется на национальном хозяйстве и на-

народов ни в метрополиях, ни в колониях. Но и борьба за господство, принимающая в XX веке форму национального социализма, и борьба за освобождение протекают тут с поправкой на идеологию, в средние века – религиозную, а в XX веке – также и светскую.

Начавшийся у нас переход к стоимостным отношениям уже сам по себе стимулировал национальный подъем и национальные противоречия даже там, где их прежде вроде бы не было. Под сомнение были поставлены не только "социалистические принципы", но и дальнейшее существование многонациональной державы, продлившей под социалистическим флагом жизнь феодально-абсолютистской Российской империи. А отказ от экономического реформирования унитарного государства национальные противоречия еще усугубил.

Центр страшился их больше, чем даже хозяйственного кризиса, поскольку они угрожали самому существованию внеэкономического наднационального центра. Положение особенно обострилось, когда суверенности захотели не только бывшие

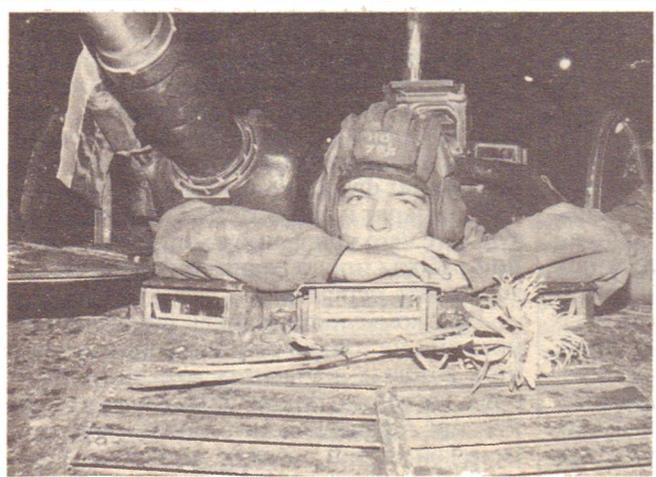


циональных лозунгах. Так было в первых буржуазных государствах, начиная с Нидерландов, возникших в ходе национально-освободительной борьбы против испанского владычества. Так было даже в западных абсолютистских государствах, в Англии и Франции, складывавшихся в ходе компромисса феодальных и буржуазных начал.

А государства, державшиеся преимущественно на внеэкономических опорах, сплачивались не национально-хозяйственными, но идеологически-административными скрепами. Так бывало и в древних империях, вбиравших в себя самые разные народы. Так было в абсолютистских государствах, построенных феодальной реакцией. Такой же примат идеологического свойственен государствам феодального социализма. Разумеется, этим не упраздняются стремления и тяготы

колонии, но и собственно русская земля, ущемленная имперским правлением не менее колониальных.

Парадоксальность Российской феодальной империи, ее отличие от империй буржуазных, вроде Британской, издавна проявлялась в том, что она не только не слишком подкармливала народ метрополии за счет колониальных приобретений, достававшихся правящему слою, но часто еще накладывала на этот народ дополнительный груз по расширению и охране империи. Никуда не уйти от признания того, что параллельно расширению Российской империи до северных и южных морей и Тихого океана в ней нарастал феодальный гнет, возникло и ожесточилось крепостничество, то есть рука об руку шли покорение чужих земель и нарастание в русских землях феодальной реакции. И точно так же ради того, чтобы феодально-социалистическое государство "не поступалось принципами" и "строило социализм", на русский народ под знаменем имперского патриотизма взваливались особые тяготы. Русских солдат



посылали умирать то в Финляндии, то в Венгрии, то в Афганистане. И на русский народ взваливалась вина за бедствия других народов, когда он не менее других нищенствовал.

Народное сопротивление нарастало, однако, по-разному. Одни, оставаясь при феодально-имперских идеалах, стремились к обретению русскими преимуществ, подобных тем, какие народы метрополий имели в буржуазных империях. Этот имперский идеал в технотронном мире уже недостижим, не зря буржуазные империи распались. Да и откуда феодальной империи обрести иную опору, кроме насилия, и надежных солдат, кроме своих? Имперский идеал лишь оправдывает привилегии правящего слоя, на словах оголдевшего себя с народом, именно ради этого любящего порассуждать о патриотизме, в котором любовь к родине фальшиво отождествлена с любовью к империи. Эта имперская шовинистическая тенденция изъясняла себя публично, хоть и не сразу и не во всем откровенно, уже при Сталине, часто прямо от лица КПСС.

Иной была судьба демократической тенденции в самозащите русского народа, лишь с перестройкой и гласностью обретшей публичное выражение, хоть в народном сознании антиимперские настроения пробивались всегда. Демократический идеал — это, прежде всего, освобождение русского народа от имперской ноши и создание на русских землях русского демократического государства, не ищущего имперского величия, которое, как дважды — при самодержавии и при советской власти — показала жизнь, несовместимо с народным благоденствием, а стремящегося к тому, чтобы каждый на Руси обрел свободу, право и возможность достигать благополучия своим трудом.

Понятно, такой идеал предполагает и за другими исторически сложившимися национально-территориальными образованиями право на отделение от Союза и от России, но как раз признание этого права давалось не только союзным, но и российским властям не просто. Обозначившееся в противостоянии наднационального союзного центра и России противоборство двух тенденций русского национализма, шовинистической и демократической, продолжается. Если сторонники первой жаждут любой ценой, даже насильем, удержать автономию, то сторонники второй, напротив, опасаются повторения в РСФСР той трагической ситуации, которая обрекла "первый среди равных" народ на бесправие и нищету в Союзе. К тому же, стремление российских властей к собственной державности, к "неделимости", и территориальные претензии к другим союзным республикам, вынуждают тех побаиваться России и вспоминать о Союзном центре как об опекуне более слабых республик. Но в том и парадокс, что Союз с годами все меньше выполнял опекунскую роль и все больше "тащил и не пуцал". Его привыкли называть страной, одной страной, не желая считать, сколько разных стран он в себя вобрал, и удивляясь, что, получив возможность высказать свои стремления, эти страны заговорили о независимости, перерастающей во враждебность, главным образом там, где на независимость вновь посягают в традициях Российской империи или Советского Союза.

Советский Союз, вопреки своему названию, всегда был унитарным устройст-

вом, — от этого не отказались и новейшие проекты с единым президентом, единым парламентом и единым судом. Претензия России на некоторый, еще далеко не полный, суверенитет создала ощущение двоевластия. А.Ципко утверждал: "Противоречие двух властей в центре, двух русских властей, так и не разрешено до сих пор". Теоретически можно спорить, является ли союзная власть русской, но практически оно, конечно, так. Но и российской власти, коль скоро Россия федеративна, теоретически надлежит быть не только русской, с чем тоже не соотнобразуется практика.

Есть, конечно, различия в мере теоретической "нерусскости" обоих. Если уни-

московской централизованной бюрократией. Соглашение позволяет республикам, обретая независимость, не разрывать сложившиеся за десятилетия, а порой и за века, разнообразные связи, полезные всем. Теперь республики смогут не отдавать решение части своих проблем на усмотрение наднационального центра, но решать затрагивающее всех с о о б щ а.

Однако и сегодня нет уверенности, что исторические решения трех будут без сопротивления приняты сторонниками прежнего централизма. А летом и Ельцин еще не возражал против центральной союзной власти, Горбачев же готов был к частичным уступкам республикам, не претендуя на абсолютную унитарность.



тарный Союз предполагает русскую власть над страной, где русские составляют лишь половину, то русская власть над Россией, где они составляют четыре пятых, более правомерна, хотя и здесь автономии с преобладающим нерусским населением претендуют на самостоятельность. Но спор между двумя русскими властями лишь на первый взгляд шел о мере таких претензий, в России, понятно, легче разрешимых и не слишком все же препятствующих сохранению ее целостности, особенно если образовать в составе федерации, наряду с другими, и самостоятельную русскую республику. Однако и подлинный Союз был бы полезен всем республикам, не исключая, пожалуй, и прибалтийских, будь это добровольный союз, без наднациональной русской власти центра, без единого президента, единого парламента и единого суда, лишь с координационными экономическими органами, взаимно сбалансированной внешней политикой и, для желающих, объединенными военно-стратегическими силами.

После провозглашения Украиной независимости Ельцин, Кравчук и Шушкевич договорились о создании подобного содружества своих республик, открытого для присоединения остальных, и официально объявили, что СССР более не существует, и его законы на территории трех славянских республик уже не действуют. Местопребыванием учреждений нового содружества независимых государств они провозгласили Минск, сразу обозначая, что оно не будет связано с

Даже если к трем присоединятся остальные республики и СНГ охватит всю или почти всю территорию прежнего СССР, спор о централизме не снимется, а продлится в новых формах. Во всяком случае, и вместе позиции обоих президентов не сосредоточивали вокруг себя всех русских, что и не позволяло установить единую русскую власть, о которой пекся А.Ципко. Избрание Ельцина Президентом России предопределило ее двойственность, по сути своей особо ненавистную консерваторам.

Горбачев, реальный политик, не мог не посчитаться, хотя бы на время, с объективностью двоевластия. Это и привело его в Ново-Огарево к новому союзному договору с уступками республикам, которые договор позволял в будущем отыграть по очкам. Можно даже предполагать, что вероятная альтернатива событиям 19 августа состояла в том, что, подписав 20 августа ново-огаревское соглашение, Горбачев, целый год собиравший вокруг себя будущих гжачепистов, в конце той же недели на собравшемся уже Верховном Совете провозгласил бы чрезвычайное положение законным порядком, не выводя войска на улицы Москвы, и едва ли его указ, утвержденный парламентом, вызвал бы столь бурный протест, чтобы чрезвычайное положение отменять, какие бы чувства оно ни вызвало.

Так можно ли думать, что Горбачев добровольно предпочел такому варианту предложение гжачепистов? Конечно, исследование способно изменить наши пред-

... в Форосе, способе быть жестким, точнее очертить сред-ства воздействия, применявшиеся гзак-рестантами, и даже показать, что прези-дент, хоть и не согласился поддержать своего вице-президента и министров, но и не воспользовался своей властью, чтоб им противодействовать. Все это важно для суда, для определения виновных и ви-новности. Однако вряд ли кому-либо удастся показать, что инициатором пре-ждевременного объявления чрезвычайно-го положения был Горбачев. А ведь имен-но этой преждевременностью предопре-делена противозаконность, именно из-за нее вывели на улицы войска, призван-ные придать подписи вице-президента авторитетность подписи президента.

Таким образом, ключ к объяснению происшедшего 19 августа в постижении того, зачем нужна была такая поспеш-ность? Да затем, что в понедельник ново-гаревский союзный договор стал бы свер-шившимся фактом. Отказаться от дого-вора Горбачев не хотел, а сразу восстано-вить прежнюю безграничную власть центра над республиками не мог, вот гз-качеписты и взяли это на себя, отодвинув президента не без надежды, быть может, напрасной, что, когда дело будет сделано и страна вернется к беспрекословному по-виновению, вернется на свое место и пре-зидент Горбачев, столь же талантливо, как прежде, отстаивая в стране и мире инте-ресы своего общественного слоя, но став покладистее.

Заговор не был направлен лично про-тив Горбачева, я верю в искренность Крюч-кова или Язова, говоривших о нем с ува-жением. Эти посредственные люди не могли не ощущать, что соприкасались с человеком более одаренным. И даже ко-гда этот человек стал, на их взгляд, мешать делу, которому они служили вместе, они лишь оттеснили его на время, отнюдь не желая его физически устранять, да это и политически было бы не в их пользу. Если Раиса Максимовна в Форосе опасалась худшего, это свидетельствует лишь о том, что она, как всякий советский человек, сознает опасность, постоянно висящую над каждым из нас.

Итак, корень событий в том, что Гор-бачев, по понятиям гзакчепистов, черес-чур отступил от абсолютного всевластия и готов был, пусть временно, отдать, пусть ничтожную, часть власти каким-то Ель-цину, Назарбаеву, Кравчуку и прочим. Ко-нечно, трудно утверждать, что разлад прои-зошел по сугубо идейным причинам, и возможно, единство сломалось на том, что Горбачев – подлинный политик, выдаю-щийся тактик, а они – лишь столпы госу-дарства и не мыслят его иначе как абсо-лютным, тотальным. Но так или иначе танки вышли на улицы потому, что люди, ездящие по этим улицам в черных "чай-ках", не желали и в малости зависеть от мнений и чувствлюдей, живущих на этих и других улицах, ездящих в метро и трол-лейбусах и ходящих пешком.

### III

События 19 августа сопоставляют то с низвержением Хрущева, то даже с Октябрьской революцией. Никто, одна-ко, не сопоставил их с неудачей "антипар-тийной группировки Молотова, Мален-кова, Кагановича", а напрасно. Октябрь, как к нему ни относиться, все-таки был выступлением антигосударственным, не

без анархистского порыва, который по-том укрощали. Солдаты и матросы нару-шали приказы своих командиров, аресто-вывали их. Большевики арестовали закон-ное правительство. Между тем и в августе 1991 года и в 1957 году заговорщики сами были правительством и отстраняли хотя и первую, но оставшуюся в явном мень-шинстве среди верховных правителей фигуру, готовую пойти на уступки идей-ным противникам, на отступление от "принципов".

О заговоре 1957 года мы знаем мало, не исключено, что он вообще не замышлял-ся предварительно и состоял лишь в общем выступлении против Хрущева на заседа-нии Политбюро большинства его членов. К тому же армией командовал Жуков, который был не с ними, но смысл их дей-ствий был тот же, что и ныне: не посту-паться принципами. Молотов с Мален-ковым, Нина Андреева с Кургиняном и Невзоровым или Лукьянов с Павловым и Баклановым правы в одном: абсолютная власть остается абсолютной лишь пока не поступится хоть мельчайшей своей частью. Она может помиловать, может на миг подобрать, но она не может никому отдать право хоть что-то решать по свое-му усмотрению, даже на время, даже для вида. Другое дело, что абсолютная власть государства пожирает родину, уничтожает ее богатства, губит ее прошлое и будущее. Но ведь помянутые лица и не скрывали, что не вся родина, не все ее народы, не все общественные слои, не все люди их зани-мают, а именно и только "наши", свои. При-знаки для определения "наших" могут ме-няться, вчера это были пролетарии с тру-довыми мозолями, сегодня – чистокров-ные русаки, до седьмого колена не зама-ранные примесями чужой крови, завтра – еще кто-нибудь, это не важно. Важно, что, как французский король объявил: "Го-сударство – это я" – так и "нашисты" изна-чально объявили: "Государство – это мы", – и указывали места остальным, Молье-ру ли, Сахарову ли. Места для "ненаших" аппарат определял четко: кому прописка в Москве, кому за сто километров, кто выездной, кто невыездной, кому учиться в Московском университете положено, а кому, будь он семи пядей во лбу, не поло-жено. Пока кризис не напирал, "нашист-ская" государственная машина действо-вала безотказно, да и страх перед ГУЛАГом срабатывал. Лишь изредка, как в Ново-черкасске, приходилось выводить войска и стрелять в народ. В наши бурные дни войска входили в Тбилиси, в Баку, в Виль-нюс, в небольшие города, но это еще выглядело исключением. ГКЧП дошел до предела откровенности. Он вывел вой-ска на улицы столицы, обнажив "нашист-скую" природу нашей государственности.

Но именно танки в городе, еще до обра-щения Ельцина к народу, побудили ты-сячи москвичей двинуться к Белому дому, а это, в свою очередь, как предвещание советской площади Тяньаньмынь, массо-вого кровопролития в столице, делало не-избежным проигрыш заговорщиков в гла-зах мирового общественного мнения и пре-двещало их капитуляцию. Они надеялись взять на испуг, а оказалось, что войска на улицах Москвы производят про-тивоположный эффект, демонстрируя противозаконность действий власти и тем побуждая граждан, за шесть лет изменив-шихся, чего Крючков и впрямь не учел, выступать в защиту законности, а не про-сто в защиту Горбачева или Ельцина.

Действия ГКЧП также показали, что в августе 1991 года сторонников возвраще-ния страны к 1985-му или даже 1982 году в городе немного, на улицы они не выш-ли даже под защитой танков. Вернувшись из Крыма, Горбачев говорил на пресс-ко-нференции еще так, словно происшед-шее не имело политического содержания, однако на следующий день в Верховном Совете РСФСР он уже искусно отстаивал свои наднациональные стремления и за-креплявший их роспуск съезда народных депутатов СССР провел с присущим ему блеском. А вскоре выяснилось, что за ново-гаревские соглашения, конечно весьма расширенные, выступает не только прои-гравший, казалось, Горбачев, но и побе-дивший Ельцин. После событий 19 авгу-ста к независимости всерьез продвигались лишь прибалтийские республики, а Рос-сия до 8 декабря шла на соглашение с наднациональным центром и, пусть на лучших условиях, признала его власть, видимо, опасаясь, что иначе рухнули бы имперские структуры не только Союза, но и России.

Иначе не объяснить, почему после по-беды, после демонстративного отстране-ния фундаменталистских сил от власти, оформленного как запрет КПСС, так ни-чего и не делалось для немедленных хо-зяйственных реформ, а кризис все углуб-лялся. Центральное руководство с пора-зительной стойкостью продолжало без-действовать. Но не только прибалтийс-ким республикам пришлось думать о спасении населения. Ельцин тоже был вынужден говорить о реформах, одна-ко лишь через два месяца после событий. И заговорил он точь-в-точь как некогда Горбачев с Рыжковым, расплывчато, по-ловинчато и, главное, тоже сваливая тяжесть перемен на плечи населения. Во-преки всем декларациям о конце комму-низма и распаде КПСС и после августа в высшем руководстве СССР и РСФСР так и не появились люди, прежде не причас-тные ни к КПСС, ни к инспирируемым ею организациям. Между тем военные, проявившие в час неизвестности мужес-тво, порой оказывались вытесненными со своих должностей, а сторонники ГКЧП по-прежнему сохраняли свои.

Правящий слой продолжает саботи-ровать реформы. Все еще не сокращено военное производство, убыточные колхо-зы удерживают землю, отнятую у крестьян, не гарантирована от произвола властей свободная инициатива. Феодальное на-следство разве что передвигают с союзно-го уровня на республиканский. Помимо продолжающейся растраты материаль-ных и людских ресурсов, власть держит-ся на неограниченной эмиссии и зару-бежной помощи. Видные лица то и дело объясняют, сколь пагубен для планеты распад нашей страны, и открыто шанта-жируют мир угрозой выхода ядерного оружия из-под контроля.

Но иностранная помощь не изменит типологию нашего хозяйства, не говоря уже о тяжести позднейших долгов, и спо-собна лишь продлевать агонию. Эту неза-видную роль играет даже благотворитель-ность, если она не обращена непосредст-венно, минуя советские органы, к нуж-дающимся людям. На деле зарубежная поддержка принесет пользу лишь внося в наше хозяйство стоимостные начала, когда на нашем рынке конкурирующие зарубежные фирмы будут продавать нам товары за рубли по свободным ценам, а

эти рубли потом, с государственными гарантиями, будут инвестироваться в наше хозяйство. Такая помощь сыграет роль параллели нашей феодальной структуре, которую перестройка так и не создала. Ее возникновение побудит и наше хозяйство развиваться на конкурентных, стоимостных началах, то есть, борясь за рынок, повышать качество и снижать цены.

Мы и после 21 августа живем все с теми же проблемами, лишь усугубляющимися, и только их разрешение, а не очередная смена лиц из прежней политической элиты, снимет угрозу новых переворотов. Надо не идеальные модели подбирать, а исходить из объективных надобностей наличных социальных сил, чтобы в результате реформы возникла опора для социальной защиты граждан. А от государства такой защиты ждать напрасно. Ни сохранение феодально-социалистического хозяйства, находящегося в коллективном распоряжении правящего слоя, ни дикая капитализация этого хозяйства, то есть разграбление его членами правящего слоя по отдельности, добра стране не обещают.

Распределение государственного имущества среди всех граждан путем выдачи им инвестиционных чеков, фиксирующих долю каждого во владении прежде номинально общей собственностью, хоть и не самая простая форма перехода от внеэкономических отношений к стоимостным, все же единственная, позволяющая совершить его народу в целом, не разделенному наперед на будущих господ и будущих рабов. Опорой стоимостных отношений был и остается принцип равных возможностей для всех, а это предполагает разрушение феодальных пут, идет ли речь об ограничениях, налагаемых крестьянской общиной, цеховым производством или привилегиями правящего класса. Инвестиционные чеки, стоимость которых будет не устанавливаться наперед, а выясняться по мере вхождения общества в стоимостное хозяйство, позволят каждому выкупать на них недвижимость, оборудование, акции и т.п. по своему усмотрению и в той или иной форме стать участником стоимостного хозяйства или по крайней мере иметь гарантию на переходное время. В этом заинтересована родина, но не заинтересовано государство, поныне пребывающее монопольным собственником всего.

Оно, как истари велось, имеет собственные интересы, в основном совпадающие с интересами правящего слоя, а с интересами других лишь в той мере, в какой правящий слой заинтересован в этих других и осознал эту свою заинтересованность. Западное общество, тоже не свободное от противоречий, имеет перед нами то несомненное преимущество, что видит свои противоречия, что его социальная структура открыта, и каждый общественный слой, каждая социальная группа публично выражает свои интересы и борется за их удовлетворение законным путем. Главный миф нашей страны – миф о морально-политическом единстве советского народа, миф о единообразии его интересов, и под флагом этого мифа государство, не обладающее структурами для постоянного ощущения многообразных интересов общества, эти интересы игнорирует, в результате чего и развивается кризис, наступает катастрофа.

Ныне мы ощущаем катастрофу и по пустым прилавкам, и по готовности лиц,

стоящих у власти, к новым переворотам. Примечательно, что и то и другое нам часто выдают за инсценировки, объясняя, что и товары на самом деле намеренно уничтожают, хотя, будь они в избытке, это было бы невозможно, и события 19 августа – тоже спектакль. Конечно, мы – страна великих режиссеров, но уверения, что все происходящее – лишь показуха, лишь чей-то умысел, – не худший способ отвлечь от реальности, чтобы люди не вглядывались в нее, не понимали ее, а там и вовсе стали чьим-то слепым орудием. А спасение в понимании, и в частности в понимании того, что не просто Лукьянов или Павлов, не просто Язов или Крючков или кто-то еще, остающийся при власти, а государство как таковое изменило родине. Они же изменяли, служа этому государству, безоглядно утверждая его тотальную власть, которая была для них превыше власти их собственного президента.

Говорят, что наше государство стоит против изменников родины стеной, а жизнь показывает, что государством все время правят изменники. Говорят, что безопасность родины защищают славные чекисты, и забывают, что предшественниками Крючкова были Ягода, Ежов, Берия. Народ надеется на приход к власти хорошего человека. Но, как видим, и высокостоящего человека легко отстранить от принятия решений, и три дня на Черном море – не худший способ. Признаем же, что дело не в людях, а в природе государственных институтов, в том, тоталитарны они, то есть служат "нашим", или демократичны, то есть считаются со всеми. Наивно воображать, что, усадив в тоталитарные кресла людей с добрыми намерениями, можно что-то исправить. Менять надо кресла, тогда люди с дурными намерениями в них не усидят.

После 21 августа надлежало уйти от абсолютизма, отделить хозяйство от государства, рассредоточить власть, чтобы она не оказывалась бесконтрольной, не становилась орудием "нашистов", а вынуждена была оглядываться на общество. Но даже робкие шаги навстречу демократии вызывают вопли обессилии власти, о безвластии, словно это безвластие, а точнее сказать, произвол на местах, внизу, не есть следствие абсолютизма наверху. В пору всеобщего молчания это замалчивалось, а при гласности бросается в глаза.

Три роковых дня поставили перед отчаянными решениями тех, кто сознавал гибельность восстановления тоталитарной власти в полном объеме, и эти люди, безрассудно бросаясь под гусеницы танков, в очередной раз спасли страну. Но, спасенная, она не переменялась и, отправив в "Матросскую тишину" кучку недавних начальников, не предъявила пока обвинения тоталитарному государству, не преодолела его. И это в гораздо большей мере, чем даже фантастические цены, рождает сегодня у наших сограждан чувство безысходности.

9 декабря 1991 г.

## Рикард Креус

### Урок пения

*Не форсируй звук,  
не сорвись на фальцет,  
веди мелодию, как ведешь разговор:  
нет лучше звучанья,  
чем то, что таится в ясной и четкой речи.  
Не суетись:  
слова  
сложатся в лад,  
когда запоет правда.*

"Слышал ли кто или читал ли кто в каких-либо преданиях, чтоб какой самодержец при вступлении своем на престол, оставя корону, скипетр и поруча правление царства ближним вельможам, предпринимал отдаленное странствование по чужим государствам единственно только ради того, чтоб просветить во-первых себя науками и художествами, иметь свидание самолично с прочими государями, устно с ними о взаимных пользах говорить, утвердить дружбу и согласие, познать правительств их, обозреть города, жилища, изведать положение мест и климатов, примечать нравы, обычаи и жизнь европейских народов, полезное от сего перебрать, потом подобное водворить в отечество свое, преобразовать подданных и сделать себя достойным владетелем пространной монархии? Пример неслыханный, но в России самым делом исполненный".

Нартов, с. 1-2

**Э**та сторона деяний Петра Великого, с большой полнотой и полной серьезностью запечатленная официальной историей, получила также специфическое отражение в живых свидетельствах и рассказах современников (соотечественников и иностранцев), в анекдотах и слухах, густо насыщавших атмосферу тех лет, а позднее трансформировавшихся в предания. Лишь часть этой богатой и пестрой устной традиции была закреплена в книгах, в рукописях разного рода (вплоть до протоколов пыточных дел), став своеобразными документами эпохи. В дошедших до нас текстах далеко не всегда можно отделить правду от вымысла, доказать историческую достоверность или, напротив, несостоятельность их содержания. Да вряд ли такая работа необходима: собственно, весь смысл и вся ценность устной традиции, ставшей преданием, заключается вовсе не в степени приближения ее к тому, что принято считать исторически надежным свидетельством, а в том прежде всего, что в ней по-особенному запечатлелись время, личность, события — глазами современников, принадлежащих к разным сословиям тогдашнего общества.

Вымысел часто говорит не менее убедительно, чем документ.

\* \* \*

Тексты извлечены нами из книг, авторы которых могли еще в полной мере ощущать дыхание эпохи Петра:

1. Л.Н.Майков. Рассказы Нартова о Петре Великом. СПб., 1891.
2. Подлинные анекдоты о Петре Великом, собранные Яковом Штелиным. Изд. 3-е. М., 1830.
3. Анекдоты, касающиеся до государя императора Петра Великого, собранные Иваном Голиковым. Изд. 3-е. М., 1807.
4. Записки Я.К.Номена о пребывании Петра Великого в Нидерландах в 1697/98 и 1716/17 гг. Киев, 1904.
5. Есипов Г. Раскольничьи дела XVIII столетия. Т. 1-2. СПб., 1861-1863.

При перепечатке текстов сохранены особенности языка источников.

[Во время осады в августе 1704 г.,] желая осмотреть город, Петр переоделся в шведское платье и проник в Нарву. Здесь пребывание его было открыто, не знали только, где именно он скрывался. Комендант распорядился, чтобы ко всем воротам города были поставлены часовые. Петр в это время жил в доме преданного ему нарвского жителя Гетте, который для спасения своего высокого гостя придумал следующую хитрость. Рано утром по его приказанию была приготовлена большая телега. Царь лег на ее дно, сверху были положены доски, на которые навалена груда мусора. В таком виде воз был пропущен часовыми на место свалки, а отсю-

Великий российский монарх... при случае заключения Нейштатского мира говорил:

— Я предлагал брату моему Карлу два раза мир с своей стороны: сперва по нужде, а потом из великодушия; но он в оба раза отказался. Теперь пусть же шведы заключат со мною мир по принуждению, для них постыдный.

Великодушный наш монарх, получивши известие о смерти Карла XII под Фридрихсгамом (в 1718), заплакал и, приметив, что слезы катились у него по лицу, отвернулся от бывших тогда при нем; отерши же слезы платком, опять оборотился к ним и сказал печальным голо-

## ИСТОРИЧЕСКИЕ АНЕКДОТЫ И БЫЛИ

### О ПЕТРЕ ПЕРВОМ



да Петр, переехавши Нарву, явился в свой лагерь.

Исторический вестник, 1904, август. С. 601-602.

Карл XII по сю сторону реки Ворсклы, при заложении редутов, так был сильно ранен пулею в ногу, что принуждены были отнести его в лагерь. Петр Великий, узнав о сем, генералам своим говорил следующее:

— Жалею, что брат мой Карл, пролив много крови человеческой, льет ныне и собственную свою кровь для одной мечты быть властелином чужих царств. Но когда рассудительно не хочет владеть своим королевством, то может ли повелевать другими? Но при всем упорстве его, кровь его для меня драгоценна, и я желал бы мир иметь с живым Карлом. Я, право, не хочу, чтоб пуля солдат моих укоротила жизнь его.

Нартов, № 120.

сом:

— Ах брат Карл! Как мне тебя жаль!

Штелин, № 75.

В Преображенском приказе ответчик Дорофейка показал на раскольника старца Варфоломея. Он спросил Варфоломея, для чего они за государево здоровье Богу не молят. И тот Варфоломей ему говорил: за неправедного-де государя что Бога молить, он-де ненавистник истинной вере, противник Богу... А старица Платонида про его императорское величество говорила: он-де швед обманной, потому догадывайся-де, делает Богу противно, против солнца крестят и свадьбы венчают, и образы пишут с шведских персон, и посту не может воздержать, и платье возлюбил шведское, и со шведами пьет и ест и из их королевства не выходит, и швед-де у него в наибольших, а паче-де того догадывайся, что он извел русскую царицу и от себя сослал в ссылку в монастырь, чтоб с нею царевичев не было, а царевича-де

Алексея Петровича извел своими руками, убил для того, чтоб ему, царевичу, не царствовать, и взял-де за себя шведку царицу Екатерину Алексеевну, и та-де царица детей не родит, и он-де государь сделал указ, чтоб с предбудущего государя крест целовать и то-де крест целует за шведа, одноконечно-де станет царствовать швед, либо-де его государя называя шведом, родственники или царицы Екатерины Алексеевны брат, и великий-де князь Петр Алексеевич родился от шведки с зубами, он-де антихрист.

Есипов, т. 1, с. 41.

самого того трактира, в котором он остановился. Вошедши в трактир, спросил он у хозяина, какая тому причина, что в таком многолюдном городе не видно на улицах почти ни одного человека. Хозяин отвечал государю, что весь народ в церкви слушает проповедь, и для того во время богослужения запираются городские ворота. Государь не хотел пропустить сего случая видеть воскресное тамошнее богослужение и просил хозяина, чтоб он проводил его в церковь. Там находился и правительствующий бургомистр, который уведомлен уже был от караульных о прибытии его величества. Государь вошел в церковь, когда проповедь была уже начата. Бургомистр тотчас встал со своего места,

а приключение в церкви с париком господина бургомистра не должно казаться удивительным и необычайным, потому что его величество не смотрит на мелочные церемонии и привык в церкви, когда голове его бывает холодно, снимать парик с князя Меншикова или с кого-нибудь другого из стоящих подле него и надевать на себя.

Штелин, № 12.

От городского синдика Валя и бургомистра Элерса, данцигских депутатов, бывших в Петербурге при императрице Анне Иоанновне, по взятии Данцига российскими войсками в 1734 году.

При свидании с королем Августом в городке Бирже царь Петр Алексеевич остался у него ужинать. Во время стола приметил Август, что поданная ему тарелка серебряная была не чиста, и для того, согнув ее рукою в трубку, бросил в сторону. Петр, думая, что король щеголяет пред ним силою, согнув также тарелку вместе, положил перед себя. Оба сильные государи начали вертеть под две тарелки и перепортили бы весь сервиз, ибо сплюснули потом между ладонь две большие чаши, если бы шутку сию не кончил российский монарх следующей речью:

— Брат Август, мы гнем серебро изрядно, только надобно потрудиться, как бы согнуть нам шведское железо.

Нартов, № 22.

Государь Петр Первый, ехав в Варшаву\*, вздумал посмотреть один монастырь, чего ради, приближаясь к монастырским воротам, приказывал оные отворить. Но приворотник, не смея сего по обряду учинить, доносил ему, что сии врата святыя. Государь отвечал:

— Лжешь, поляк, каменные; врата в царство небесное святыя; здесь въедем мы верхом, а туда с добрыми делами пойдем пешком. Отворяй!

Но поляк говорил:

— Святой Непомуцен запретил!

— И то для поляков, — сказал его величество, — а для меня разрешил.

Приворотник, поклонясь низко, громко возгласил:

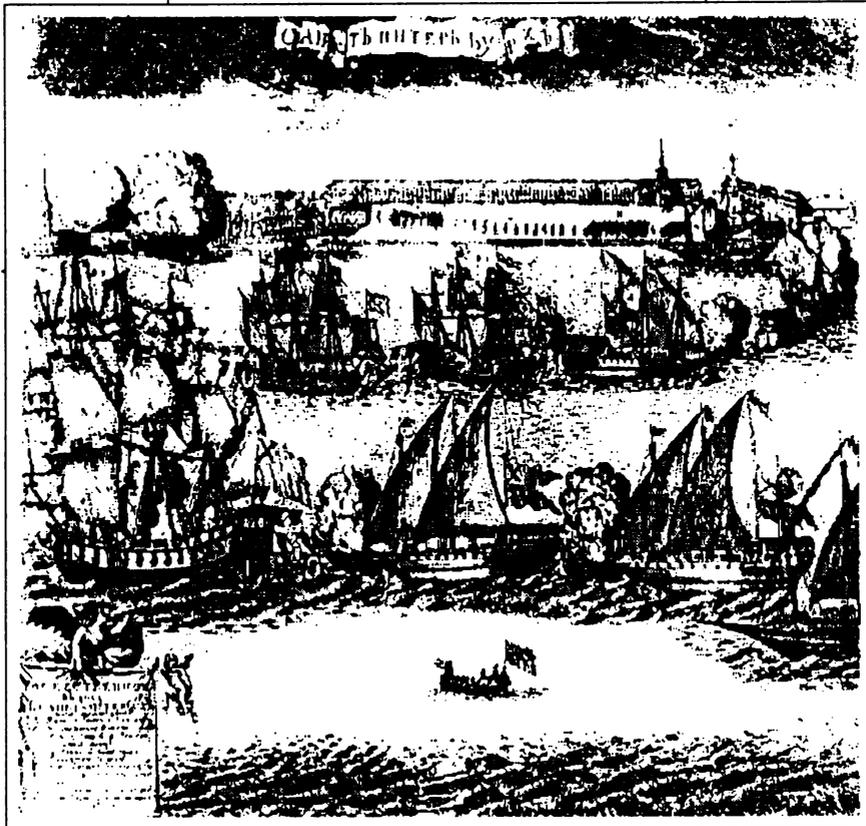
— Взмилуйся, наияснейший пане, я того не знал.

Потом отворил ворота.

Нартов, № 25.

На втором путешествии в Голландию в 1716 году Петр Великий прибыл в Данциг в воскресный день перед обедом, когда надлежало запирали городские ворота. Проезжая по городу, с удивлением приметил он, что улицы были пусты и почти ни один человек не встречался с ним до

\* В 1707 году в июле месяце; при государе были князь Меншиков да князь Долгорукий, майор гвардии.



пошел навстречу царю и отвел его к бургомистрскому месту, которое сделано было повыше других. Его величество, севши без всякого шума, заставил бургомистра сесть подле себя и слушал проповедь с великим вниманием. Многочисленное собрание в церкви смотрело больше на государя, нежели на проповедника, но сие не могло нарушить его внимания, и он почти не спускал глаз с проповедника. Между тем, почувствовав, что открытой его голове было холодно, снял он, не говоря ни слова, большой парик с сидевшего подле него бургомистра и надел себе на голову. И так бургомистр сидел с открытой головою, а государь в большом парике до окончания проповеди, потом же снял он парик и отдал бургомистру, поблагодарив его небольшим наклоном головы.

Можно вообразить, какое удивление произведено было сим приключением, для данцигских граждан столь необычайным, но для государя весьма обыкновенным и нимало не стоившим внимания.

По окончании богослужения городской магистрат прислал от себя к государю депутатов для засвидетельствования ему почтения от всего города и для пожелания благополучного пути. Тогда один господин из царской свиты рассказывал сим депутатам, что данцигское богослужение весьма понравилось его величест-

На втором путешествии в Голландию в 1716 году Петр Великий, прибыв с небольшою своею свитою в Нимвеген при наступлении ночи, остановился в трактире, чтобы там переночевать и на другой день поутру отправиться в путь. В таком намерении захотел он скорее успокоиться и потребовал к ужину только несколько яиц всмятку и кусок хлеба с голландским маслом и сыром. Спутники его ужинали вместе с ним и, выпивши при том две бутылки красного вина, легли спать. На другой день на рассвете лошади стояли уже запряжены на дворе. Бывший при государе гофмаршал Дмитрий Андреевич Шепелев спросил у хозяина, что ему надобно за ночлег и ужин. Трактирщик потребовал 100 червонных. Гофмаршал весьма удивился и говорил трактирщику, не стыдно ли ему требовать такой необычайной платы за дюжину яиц и за кусок хлеба с сыром и маслом.

— Нет, — отвечал трактирщик, — и вы непременно должны выплатить мне 100 червонных.

Он повторил сие несколько раз и не соглашался ни мало уступить. Шепелев не осмелился заплатить и поставить в счет столь чрезвычайную сумму, пошел к государю и спросил у него, как он прикажет поступить с бесстыдным трактирщиком. Его величество, думая, что его никто не знает, вышел сам как бы нечаянно на двор и спросил у хозяина по-голландски, за что он требует такую большую сумму.

— Велика ли сумма 100 червонных? — ответил трактирщик. — Я заплатил бы 1000 червонных, если б я был российский царь.

Государь возвратился, не сказав ни слова, и приказал гофмаршалу заплатить 100 червонных. Бесстыдный трактирщик, получивши деньги, отпер ворота и пожелал путешественникам благополучного пути.

Штелин, № 14.

От самого гофмаршала Дмитрия Андреевича Шепелева.

Петр Первый, живя в Сардаме, с плотниками обращался очень дружелюбно и просто. Они нередко ели и пили с ним за одним столом. Он хотел, чтобы они звали

его не иначе как Петром плотником.

Как-то раз он захотел состязаться с Арейаном Барентсом (он же – Метье) – кто из них будет в состоянии выстроить быстрее корабль, работая с равным числом помощников. Его царское величество должен был руководить постройкой одного корабля, а Арейан Метье постройкой другого. С этой целью каждый из них приступил со своими рабочими к постройке корабля одинаковой величины на одной и той же верфи... Но так как Метье знал свое ремесло очень хорошо, то его царское величество не успевал за ним; а для того, чтобы все-таки честь досталась царю, собирали поздно вечером доски и другие деревянные части, изготовленные в течение дня для корабля А.Метье, и употребляли их на корабль, постройкой которого заведовал его царское величество в качестве мастера.. В результате оказалось, что корабль Петра плотника был окончен первым.

Какой-то купец в Амстердаме пожелал видеть великого князя за работой и потому обратился к корабельному мастеру верфи с просьбой, чтобы тот допустил его и дал ему возможность удовлетворить свое любопытство. Его просьба была исполнена, но чтобы он наверное узнал великого князя, мастер предупредил его, что тот, кому он скажет: "Питер, плотник зандамский, сделай это или то", и есть великий князь. Любопытный купец посетил верфь и видел, как несколько рабочих несли тяжелое бревно; и вдруг мастер крикнул: "Питер, плотник зандамский, что же ты не пособишь нести этим людям?" Он сейчас же послушался, подбежал к ним, подставил плечо под дерево и понес его вместе с другими плотниками на назначенное место, к великому удивлению зрителя.

Записки Я.К.Номена о пребывании Петра Великого в Нидерландах... Киев, 1904. С. 18-19; С. 40-41.

На втором путешествии в Голландию (в 1716 году) прибыл он в полдень в Виттенберг, что в Саксонии, и между тем как готовили обыкновенное его обеденное кушанье, спрашивал он у хозяйина, что иностранные путешественники обыкновенно осматривают в сем городе.

– Здесь не много достопамятного, – отвечал хозяин, – кроме старого курфирстского замка, медного монумента, поставленного в честь доктору Лютеру, и того дому, в котором Лютер жил.

– Мне надобно это посмотреть, – сказал государь. – Я слышал много доброго об этом почтенном человеке, который так отважно восставал против папы со всем его войском, к великой пользе его государя и многих других владельцев, которые были умнее прочих.

Высокий путешественник еще до обеда пошел в церковь замка, где со вниманием рассматривал вылитое из меди во весь рост изображение д. Лютера, и пошел оттуда, сказавши: "Он заслужил это". Потом, когда он был в доме, в котором д.Лютер жил и умер, показали ему в кабинете Лютеровом большое чернильное пятно на стене и притом рассказывали старую выдумку, будто дьявол явился д.Лютеру, когда он писал в своем кабинете, и старался расстроить его мысли раз-

ными кривляньями; Лютер же, рассердившись на него, схватил свою чернильницу и бросил ее в дьявола, отчего и поныне осталось на стене большое чернильное пятно, которое ничем не можно было смыть. Петр Великий смеялся сей басне и не сказал более ничего, как только:

– Неужели этот мудрый муж еще верил, что дьявола глазами видеть можно?

Государь приметил еще, что та же закопченная стена почти вся сверху донизу исписана была карандашом, и спросивши, что это значит, узнал, что то были имена иностранцев и путешественников, которые посещали сей дом и в знак, что они там были, писали имена свои.

– Так и мне должно написать свое имя, – сказал государь и, вынувши из кармана кусочек мела, написал имя свое: ПЕТРЪ – российскими буквами.

Дабы сохранить сей своеобразный памятник российского монарха, давно уже сделана над ним круглая рама из белой жести... сквозь которую можно читать царское имя.

В 1735 году, едучи в Россию, я там оное видел и читал, но никто не мог мне тогда сказать, что значила последняя буква Ъ, и я узнал то уже приехавши в Петербург.

Штелин, № 41.

Петр Великий охотно желал заключить дружеский союз с Франциею. Но первый министр кардинал Дюбуа, руководимый ложными политическими планами, в том препятствовал. На сие его величество сказал:

– Господа думают и рассуждают о делах, но слуги те дела портят, когда их господа слепо следуют внушению слуг.

Нартов, № 128.

Его величество, быв в Париже на астрономической обсерватории, с удовольствием смотрел в зрительную трубку на весь небесный свод и, обратясь к бывшим с ним россиянам, с восхищением говорил:

– Вот для глаз отверстая книга чудес Божиих, которая ясно показывает великую премудрость Творца! Беседуя телом здесь, право, мысля теперь там! Я благодарен им, что зрением и душою путешествовал в бесконечности с Вечным существом. Советовал бы я безбожникам и вольнодумцам учиться астрономии и почаще быть на обсерватории, когда земной шар недостаточен им для уверения, и когда бродят по нем слепо.

Нартов, № 142.

1717 года, в бытность Петра Великого в Париже, приказал он сделать в одном доме для гренадеров баню на берегу Сены и чтоб они в оной после пару купались. Такое необыкновенное и для парижан, по [их] мнению, смерть приключаящее действие произвело многолюдное собрание парижан. Они с удивлением смотрели, как солдаты, выбегая разгоряченные банным паром, кидались в реку, плавали и ныряли. Королевский гофмейстер Вертон, находящийся при услугах императору, видя сам сие купанье, Петру Великому докладывал (не зная, что то делается по приказу государя), чтоб он солдатам за-

претил купаться, ибо – де все перемерут Государь, рассмеявшись, отвечал:

– Не опасайтесь, господин Вертон! Солдаты от парижского воздуха несколько ослабли, так закалывают себя русской банею. У нас бывает сие и зимою. Привычка – вторая натура.

Нартов, № 124

При отъезде из Парижа Петр Великий сказал:

– Жалею, что домашние обстоятельства принуждают меня так скоро оставить то место, где науки и художества цветут, и жалею при том, что город сей рано или поздно от роскоши и необузданности претерпит великий вред, а от смрада вымерет.

Нартов, № 126.

По случаю вновь учрежденных в Петербурге ассамблей или съездов между знатными господами похваляемы были в присутствии государя парижское обхождение, обычай и обряды, на которые отвечал он так:

– Добро перенимать у французов художества и науки; сие желал бы видеть у себя, а в прочем Париж воняет.

Нартов, № 39.

Краткое время, проведенное Петром Великим в Лондоне во время первого его путешествия в чужие края, казалось ему, как он сам говорил, еще короче – по причине множества достопамятных вещей, которых он там еще в первый раз видел.

Живши там, обыкновенно ходил он и ездил целый день по городу, а ввечеру дома пересказывал бывшим с ним все, что в тот день видел и слышал, и при том часто говаривал, что ему надобно стараться еще побывать в Англии, ибо там весьма многому может научиться.

В один день поутру осматривал он великолепное строение и изрядные учреждения Гринвикского гошпиталя, а обедал с королем Виллиамом. За столом король спрашивал у него, как показался ему Гринвикский гошпиталь.

– Весьма хорош, – отвечал государь, – и так хорош, что я советовал бы вашему величеству взять его для своего дворца, а дворец свой уступить живущим там матрозам.

Штелин, № 7.

От г. Рондо, бывшего английского резидента в Петербурге.

Апреля 12 скрытно был государь в парламенте; там видел он короля на троне и всех вельмож королевства, сидевших купно на скамьях. Прослушав некоторых судей произносимые речи, которых содержание государю переводили, его величество бывшим с ним россиянам сказал:

– Весело слышать то, когда сыны отечества королю говорят явно правду, тому-то у англичан учиться должно.

Нартов, № 6.

Король английский Вильгельм, при-

метя беспримерную охоту царя Петра Алексеевича к морским подвигам, приказал в удовольствие его представить флоту примерную морскую баталию. Из многочисленных кораблей составленный флот в присутствии его чинил разные эволюции и довел сям государя до такого восхищения, что будто бы он от радости, не постыдясь, после сего командовавшему адмиралу при прочих флотских офицерах сказал, что он на сей случай звание английского адмирала предпочитает званию царя российского. Толико влюблен был царь Петр в морскую службу!

Но я знаю достоверное, понеже я слышал из уст монарших, что он сказал так: "Если б я не был царем, то желал бы быть адмиралом великобританским".

Нартов, № 7.

Из первых аглинских купцов, которые при сем великом государе прибыли в Санктпетербург, был Томсин-Фогуль и Компания. Сей Томсин, торговавший долгое время в России, выехал в отечество уже по кончине его величества с значным капиталом и с преисполненным благодарности к великому сему монарху сердцем; он доставил нам следующий анекдот.

Первый торговый аглинский корабль, прибывший к повому С.Петербургскому порту, не зная залива Финского, в пути своем от Котлина острова до Петербурга наехал на мель, с которой никак не мог сняться. Великий государь, зная уже, когда корабль сей из Кроншлота отправиться должен, поехал навстречу ему в шлюпке, одевшись в шипорское простое платье, а всех бывших при нем господин, должность гребцов исправлявших, нарядил в матросское. Монарх, увидя англичан, трудящихся в снятии с мели корабля своего, подъехал к оному и спросил по-голландски, что за корабль. Получа же ответ, что аглинский, но что, не зная залива сего, сбился с фарватера и попал на мель. Великий государь, как истинный шипор, с мнимыми матросами своими, тот же час принялся помогать им, и с великими трудами, чрез целый час продолжавшимися, стащили его с мели. И потом велел оному следовать за шлюбкою своею и привел его счастливо к самой бирже. Благодеяние сие было крайне чувствительно англичанину, он позвал господина шипора на корабль свой и в засвидетельствование благодарности своей поднес ему лучшей шерстяной аглинской материи на шипорское же платье, но господин шипор, не взяв подарка сего, сказал, что с своего брата шипора стыдно и грешно взять ему что-либо за такое дело, которое на море им общее; ибо-де легко случиться может впасть и ему в такое же несчастье, однако же по усильной просьбе англичанина обещал, в знак дружбы своей, принять подарок сей, ежели пожалует он и с матросами своими завтра к нему отобедать. Англичанин сие обещал. Условились о часе, в который мнимый шипор придет к нему одного из своих матросов проводить в его квартиру. Матрос сей в назначенный час к нему явился, и англичанин, нимало не воображая, чтоб звавший его на обед был другой кто, а не шипор, без всяких чинов пошел с присланным. Когда ж сей привел его к дому, пред которым стоял на плац-параде гвар-

дейский караул, то шипор спросил, что это за дом.

— Дворец государев, — ответствовал провожатый.

— Так куда же вы нас ведете?

— К шипору, но я проведу вас чрез дворец, ибо чрез оной гораздо ближе, а то б-де далеко было обходить.

Он нечувствительно вводит его в комнаты и пройдя оных две, в третьей шипор и матросы его увидели одолжившего их шипора, уже в виде монарха, стоящего с монархиною, и окруженными придворными чинами. Можно себе представить, в какое должен был он и матросы его приведены быть изумление от столь неожиданной сцены. Они сделались неподвижны и не смели даже очей своих поднять, но тотчас выведены были из изумления своего, когда его величество, подошед к шипору, взял его за руку, подвел к государыне, а сия его крайне обласкала и, приглася в столовую, пошла с ним воную. Все матросы туда же приглашены, их посадил монарх подле себя и, в продолжение стола расспрашивая шипора о пути его, о товарах, им привезенных, и о прочем, пил между тем за здоровье короля их, парламентов, его шипорское и матросов. Они должны были благодарить за оное подносимыми им поклами, пары которых столько при конце стола воздействовали, что пужно было их отвести под руки на шлюбку, в которой привезли их на корабль их, на коем уже был между тем поставлен царский караул для безопасности их и корабля.

В каком был шипор сей и матросы удивлении, проспавшись, удобно может читатель вообразить. Англичанин вместо назначенного прежде мнимому шипору подарка поднес того же дня государю и государыне по штуке лучшего полотна голландского и изъявил с благоговением их величествам благодарность свою. Подарки сии были приняты, и он был отдален за оные щедро. Пред обратным его отъездом великий государь, дружески с ним простясь и со всеми матросами, пожелал им доброго пути...

Сей великодушный государев поступок, как уверял предавший нам анекдот сей, прославлялся по всей Англии и что-де прославляться оной не перестанет и навсегда.

Голиков, № 30.

От почтенного московского купца Ситникова, имевшего по торговле с купцом Томсиным дружбу. Сообщил сын его Семен Дмитриевич Ситников.

Безмерная любовь и охота Петра Великого к флоту и к мореплаванью привлекали его часто в летнее время, будучи в Петергофе, ездить в шлюпке или на боте в Кронштадт почти ежедневно; когда же, за какими-либо делами, не мог



побывать там, то забавлялся зрением с берега на вооруженные корабли. В один день государь, вышед из любимого домика, именуемого Мон-Плезир, вынул из кармана зрительную трубку, смотрел в море и, увидев идущие голландские корабли, государыне с восторгом говорил: — Ах, Катенька, плывут к нам голландские гости. Пусть смотрят учителя мастерство ученика их. Думаю, не похулят; я zelo им благодарен.

Потом отправил тотчас в Кронштадт шлюпку, чтоб прибывших на сих кораблях шкиперов привезть к себе; между тем, ожидал их с нетерпеливостью. Часу в десятом ввечеру приехали шкипера в Петергоф, явились прямо к государю и по-приятельски ему говорили:

— Здравствуй, император Питер!

— Добро пожаловать, шкипера!

— Здорово ли ты живешь?

— Да, благодарю Бога!

— Это нам приятно. Слушай, император Питер! Сыр для тебя, полотню жены наши прислали в подарок супругу твоей, а пряники отдай молодому сыну.

— Я благодарю вас. Сын мой умер, так не будет более есть пряники.

— Пускай кушает твоя супруга.

Его величество приказал потом накрыть стол, посадил шкиперов и сам их потчевал. Они пили здоровье их величеств: "Да здравствует много лет император Петр и императрица, супруга его! Слава Богу, мы теперь как дома! Есть что попить и поесть. Приезжай к нам, государь Петр! Мы хорошо тебя попотчуем. Друзья и знакомцы твои охотно тебя видят хотят, они тебя помнят.

— Верю, поклонитесь им. Я, может быть, еще их увижу, когда здоровье мне позволит.

При сем спрашивал его величество, сколько времени они в море были, не было ли противных штормов, какие товары привезли и что намерены из Петербурга обратно взять. И так, пробыв с ними часа с два, с удовольствием чрезвычайным паки в Кронштадт проводить указал, сказав при прощании: "Завтра я ваш гость".

Нартов, № 109.

Публикация и предисловие

Бориса Путилова

# КТО ТЫ, НЕМЕЦ ?

**Я** часто прохожу по влтавской набережной мимо посольства Германской Демократической Республики. Однажды иду и вижу: табличка осталась, но государственный герб исчез. Иду дальше, а голова, в которую запало увиденное, все еще занята мыслью о Германии. Как быстро, словно по мановению волшебной палочки, изменилось в Европе то, что в течение сорока лет было casus

belli! Немцы вновь объединяются, и никто им в этом не препятствует. Война отошла в прошлое.

Не знаю, как выразить то особое чувство морального и политического облегчения, с которым мы обретаем изначальную (в данном случае довоенную) кондицию и позицию, подобное ощущение испытывают, скинув со спины долго влекомый груз, когда ваше тело так и норовит опрокинуться назад. Немцам,

\* Повод для ссоры, объявление войны (лат.).

скорее всего, не понять тех чувств, которые они вызывают в нас: нашего исторического самоощущения, лишившегося внутренней оправданности из-за того, что более давние события окутываются туманом, и мы стараемся крепче держаться за тот конец истории, который еще как бы в наших руках. Это самоощущение включает и настороженность, рожденную привычкой к опасности и унижению, и демонстративный отказ от такой настороженности. Наш дух пять сотен лет (скажем, начиная со времен Гуса)

## Людвик Вацулик

формировался в непосредственной реакции на дух немецкий, в конкуренции с ним, в сопротивлении ему. И вдруг — такая победа в 1945 году! Наш "извечный враг" изгнан из страны! Это наполняло меня, тогда девятнадцатилетнего парнишку, пережившего годы страха за отчизну, за свою нацию, за родителей и за себя, невыразимой гордостью. Начиналась свободная жизнь. Но



РЕБЕККА ХОРН

в мое сознание уже проникала мысль, что сила, спасшая нас, теперь будет над нами властвовать. Она и вправду гнула нас все ниже и ниже. Теперь, когда она ослабляет давление, мы распрямляемся, оглядываемся вокруг и спрашиваем себя: что сейчас предпримет наш "извечный враг", свободный, как и мы?

Могу сказать, что для наших людей изгнание немцев из Моравии и Чехии стало тяжким немым вопросом значительно раньше, чем об этом начали говорить в Европе. Дело

садах, беседках, о мощенных плиткой дорожках, заросших крапивой. Дома побогаче были заселены, а в бедных по стенам уже расползались гниль и плесень. Где сейчас дети, что жили здесь когда-то? — спрашивал я себя. Поднимался на смотровые площадки в горах, озираю край, озираю историю: могут ли немцы принять все это надолго? Понимают ли, что виноваты в этом сами, и смогут ли когда-нибудь нам простить?

Нынешнему молодому немцу поможет понять наше

чеши, которые когда-то жили вместе с немцами в Судетах, как-то вдруг потеряли способность различать их.

За развитием немецкой нации в ГДР мы (например) следили недоверчиво: не может же какой бы там ни было режим изменить характер людей! Однако явственно вырисовывалось нечто примечательное: особое соединение того, что мы воспринимаем как старую немецкую муштру, с тем, что стремилось стать новой, "социалистической моралью". Дисциплинированные гэдэ-

ошеломляющая программа! "Это и есть настоящие немцы?" — спрашивали мы себя. "Да, — отвечаю, — настоящие!" — "Или, пожалуй, те, в Федеративной Республике, настоящие немцы?" — "Да, — отвечаю, — и эти настоящие. И те, что пришли к нам в 1939 году, тоже были настоящие". Я не верю в национальный характер: нации ведут себя в соответствии со своим географическим положением. Из него вытекают необходимость или случайность. Положение немцев сейчас такое же, как перед

# КТО ТЫ, НЕМЕЦ?

в том, что Европа — а возможно, и сами немцы, этого я не знаю, — потрясенные войной и наступившим вслед за ней миром, могли думать, будто это, так сказать, соответствует логике и закону поражения. Но мы входили в опустевшие дома, озирали обезлюдившие края и не верили своим глазам: все это происходит теперь или после тридцатилетней войны? Так, вероятно, выглядела наша страна до появления первых немецких колонистов. Изумление, тревога и экстаз от прикосновения истории. Попробуйте представить себе это, отрешитесь от войны, поражения, страданий, постарайтесь с помощью фантастической машины времени рассмотреть гипотетическую ситуацию: что было бы, если бы никакие немцы вообще никогда не приходили в Чехию. Случилось нечто великое, чувствовал я тогда: на что способен народ, который вдруг обрел новую территорию? Но вследствие абсурдной логики или логики абсурда этот народ в ту пору позволил связать себя путами, в которых потом с трудом мог шевелиться.

Впервые я побывал в Пограничье — так почти официально именовалась эта территория, ибо название Судеты звучало одиночно, — только в 1948 году. К тому времени часть завоевателей сменилась там по второму, по третьему разу. Те, кто оставался, пытались утвердить в этих местах законы и образ жизни сельской общины. Но именно в ту пору крепкие сельские общины внутри нашей территории оказались на краю гибели. В государстве начинали править авантюристы и насильники. Я ходил и размышлял о домах, дворах,

тогдашнее состояние то обстоятельство, что великие державы, принявшие решение о выселении немцев, казались нам справедливее и умнее нас самих: ведь они должны были выделить нам долю в победе за то, что сотворили с нами в 1938 году! И так, тут реализовалось не только наше отношение к немцам, но и наше отношение к великим державам. Но до какой степени та эпоха и те события были схожи во всех своих противоречиях: люди, изгнанные из родного края, могли наглядно убедиться, что оставаться здесь не было бы для них благом, — в том, что постигло этот край, они могли бы даже усмотреть возмездие. Чехи были наказаны.

Но такой же режим возник тогда и в Восточной Германии — странная ГДР. Для нас теперь существовали немцы двух сортов: северные — хорошие и западные — плохие. Фигура, внешность и поведение единого немца начали рушиться и дробиться. Нынешнему молодому немцу я еще раз должен напомнить, что под воздействием ближайшего к нам конца истории люди у нас перестали отличать баварца от саксонца или пруссака, а то, что существуют какие-то там мекленбургцы, фризы или северорейские вестфальцы, еще и сегодня кажется нам неким маскировочным фольклором. Чтобы вы знали: одновременно с тем мы были посажены за колючую проволоку, я не имел права выезжать ни на запад, ни на восток, а потому ни личных впечатлений, ни индивидуального опыта у меня нет. Вот и держали мы в голове одних немцев, с которыми имели возможность здесь познакомиться. Даже те

эровцы, по воскресным дням запужавшие Прагу, уклонялись от любых опасных и подрывных политических дебатов. В нашем представлении это были мирные мещане самого скромного калибра, демократические мещане. Возможно, чех, который в индивидуальном порядке находил среди них приятеля или хотя бы партнера для дискуссии, обладал иным опытом, но в целом здесь осуществлялся непрерывный процесс селекции: все несходное с эталоном, все, что мешало, изгонялось из этого общества на Запад. В то время как мы, чехи, обычно хотя бы декорируем себя неким подобием фронды, переходя дорогу на красный свет, гэдэровцы, точно униформу, принимали размеренный порядок, скромные потребности, скромные автомобильчики и скромное благосостояние "из общего котла". Как-то я был по делам в берлинской редакции радиовещания для молодежи. Когда я спросил о цензуре, то есть о форме надзора, к которой привык у нас, они удивились: никакой цензуры у них нет. Только позднее, в Праге, одна немка объяснила мне этот сенсационный факт: там все цензоры! Человек, у которого в душе нет собственного цензора, на радио бы не попал. И хотя находились бунтари, диссиденты, беженцы, поэты и ученые, нарушавшие эту идиллическую картинку ГДР, мы с удивлением и не без злорадства верили тому, что в регулярных телевизионных программах показывал нам Ein Kessel Blodes... А потом падение Берлинской стены, вот была

войной, но теперь они живут на более густо населенной территории. Поэтому наше старшее и среднее поколения убеждены, что нас не ожидает ничего хорошего. Мол, в лучшем случае они захотят купить нас с потрохами. А мы уже не те чехи 1990 года, которые оказывали немцам сопротивление — политическое, нравственное, культурное и экономическое. На что в таких условиях делать ставку, к чему готовиться?

Мы не можем внушать немцам мысль, посредством которой сами подводим итоговую черту под всем предшествующим ходом истории: что-де в 1945 году по принципу бумеранга завершился мелкий европейский эпизод, начавшийся тысячу лет назад на Эльбе и в Померании. Мир уменьшился. Добьется большего и удержится на плаву тот, кто раньше поймет его новый характер и законы. А они не только экономические, ха!

Котел тупости (нем.).

**"З**она", Восточная Германия, СОЗ<sup>1</sup>, государство зла, государство в кавычках, никем не признаваемое, потом признанное, Германская Демократическая Республика, ныне -- бывшая ГДР, ост-эльбские земли, "Страна Лютера", где в эпоху Крестьянской войны этому врагу мятежных толп дал резкую отповедь еще один реформатор, который сформулировал обвинение, не утратившее актуальности и по сей день: "Властители сами делают бедняков своими врагами -- они не же-

шася на вокзале поговорка: "Поезд ушел!" -- вот он, "конечный вывод мудрости земной". И те самые немцы, которые всегда с завидной усидчивостью изучали любые проблемы, вдруг зашли в шорох крыл истории, повскакали с мест и рьяно взялись за дело. Раздираемую надвое двойную державу надлежало превратить в единое целое, меж тем объединяющая идея отсутствовала. По этой причине те, кто призывали к государственному объединению, получили в качестве материальной составляющей своих желаний лишь обещания -- в конце концов, в середине марта 1990 года предстояли коммунальные выборы, -- вот как быстро пошли дела.

## Гюнтер Грасс

наяву не помышлял о валютной унии с "теми за стеной", не предполагал он и того, что вдруг с ходу, в два счета удастся слепить единое германское государство. На первых порах журналисты еще находили охотников ликовать и радоваться перед телекамерой, причем нередко эти радостные чувства изливались в одном и том же возгласе: "С ума сойти, да и только!" Но сегодня на западе уже воцарилось недовольство, на востоке же -- страх. В немецком доме на две семьи завелись скло-

# ЖИРНЫЙ КУС ПОД НАЗВАНИЕМ

лают устранить причину возмущений. Так можно ли ожидать каких-то изменений к лучшему?"

Этот экскурс в историю и слова Томаса Мюнцера понадобились мне, чтобы лучше понять нынешнюю беду Германии -- объединение без единства, назначенное на известное число. 3 октября 1990 года устроили пышное празднество с колокольным звоном, которое должно было как-то компенсировать вдруг улетевшую радость. Впрочем, телекамера, эта создательница новой реальности, все-таки представила нам кое-какие картинки народного ликования. Так делается история.

А ведь начиналось все хорошо. Не для одной Польши свыше десяти лет вело свою подготовительную работу освободительное движение "Солидарность". Вацлав Гавел и его соратники не дали заткнуть себе рот. В Венгрии даже коммунисты помогли демонтировать ненавистный строй, они первыми подняли железный занавес. А благодаря политике Михаила Горбачева, его беспримерной смелости, появились первые трещины и в здании власти СЕПГ. В стране, где в течение десятков лет молчание полагалось ценить поистине на вес золота, где недовольство если и высказывалось, то шепотом, с опаской, народ этой страны, вернее, люди, составляющие его бесстрашную часть, вышли на улицу и заявили во весь голос: "Мы -- народ!"

Они заблуждались -- это вскоре выяснилось. Потому что с конца ноября прошлого, 1989 года улица в ГДР уже принадлежала не им, а людям, которые до того времени молчали. Они составляли большую часть народа. И большинство провозгласило: "Мы -- единый народ!" Большинство, приученное ни с кем не считаться и действующее с позиций силы, лишило меньшинство слова.

Призыв к объединению был немедленно подхвачен в Западной Германии если не народом, то его политическими лидерами. Путь совместных глубоких размышлений сразу же отвергли, а значит, пришлось действовать все быстрее и быстрее, не то -- как тогда говорили -- вспыхнет пожар. Дескать, "круглые столы" -- неудобная громоздкая мебель. Кто знает, мол, долго ли Горбачев продержится. Некогда тут сидеть да раздумывать.

На все лады пережевывалась родив-

### Германская опасность: монстр с великодержавными устремлениями

Обещанная западная марка. Твердая валюта. Денежка счастья. Эрзац идей, универсальное патентованное средство. Экономическое чудо в новом издании. Отныне у нас только и разговоров что о деньгах, хотя какое-то время еще продолжалось елейное словоблудие насчет более возвышенных материй, дескать, надо бы запрячь в общий воз пару лошадок -- "Достоинство" и "Порядочность". Но невозможно было выдумать более недостойный и непорядочный способ подстегнуть и пустить галопом возок германского объединения. Ибо то, что охаяли как "хлам", стало хламом воистину.

Подведем черту. Нельзя не признать положительный результат: западногерманские торговые фирмы сумели расширить свой рынок и на все сто использовать благоприятный момент, они вытеснили из новых германских земель тамошние некачественные и непривлекательные оформленные товары и, ни гроша не инвестировав, хапнули жирный кус, жирный кус под названием "ГДР".

"Хапнуть кус" -- одно из широко распространенных выражений современного языка, оно употребляется в различных ситуациях. "Хапнуть кус" значит что-то раздобыть, достать с выгодой, разжиться чем-то -- по случаю, на сезонной распродаже, на черном рынке или ловко используя прорехи в законах, за наличные живые денежки без уплаты налогов, либо законным путем на торгах и аукционах, а то и просто мимоходом, если повезет. Короче говоря, хапнуть кус выгодно, -- если хапнул, значит, ты на белом коне. Ты приобрел что-то такое, на что вовсе не рассчитывал. Да и кто в мире западногерманского крупного и мелкого бизнеса еще год назад мог рассчитывать на подобное расширение рынка, называемое также воссоединением страны?

В самом деле, не только крупный и мелкий бизнес, -- партии и профсоюзы, церкви и надзорные органы высочайшей пробы, и скромные акционеры, -- весь народ Западной Германии со всей своей непростой простотастостью ни во сне ни

# "ГДР"

ки. Все без исключения разговоры сводятся к одному: за объединение придется платить еще и еще миллиарды марок. И нет уже места для новых покойников в общегерманском фамильном склепе. Как выяснилось, "жирный кус" обходится дороговато.

Согласен, такой эпилог звучит несладко. Едва ли утратит свою грозную интонацию извечный клич немцев: "Где же позитивное начало?" -- если я со своей стороны спрошу: "В самом деле, куда оно подевалось, начало-то позитивное?" Однако в то время, когда существовала возможность затратить на дело немецкого объединения помимо денег еще и идси, когда я предлагал путь конфедерации двух немецких государств, которая через пять или семь лет по доброй воле народа смогла бы превратиться в "Союз Немецких земель", когда говорил, что этот проблематичный, а следовательно медленный и небезопасный путь к единству будет и для нас, немцев, и для наших соседей более плодотворным, чем начавшаяся бешеная гонка свиного стада и тот вполне очевидный ущерб, который она несет полям, -- тогда меня ославили как пессимиста, мрачного брюзгу и занесли в рубрику "безродных отщепенцев", а то и еще какую-нибудь похуже.

А теперь несмышленный ребенок бухнул в яму, и его же еще и бранят: сам виноват! Кто сделал выбор? Кто требовал, чтобы дали западную марку? Вот тебе марка, получай!

Выходит, во всем виновато само упавшее в яму дитя, а не господа Коль, Вайгель<sup>2</sup>, Хаусман<sup>3</sup>, окруженный хором компетентных утешителей от Рудольфа Ауг-

штайна<sup>4</sup> до Роберта Ляйхта<sup>5</sup>. Кстати, эти господа мигом подыскали утешение бедной зареванной детке: совсем недолго, мол, придется ей барахтаться на дне черной ямы, какие-нибудь несколько лет, а там, глядишь, заработают механизмы рыночной экономики, да и обещанные инвестиции поспеют, тут-то и хлынут потоком долгожданные денежки, которые пока что капают в час по чайной ложке. Вот тогда -- и не раньше -- малютке позволят выбраться из ямы.

Недавно в Осло состоялась организованная Фондом Эли Визель конференция, темой которой была ненависть -- день ото дня растущая во всем мире ненависть.

людей первого и второго сорта. Новое зло, выросшее из старого, обрушивается на тех, кто пережил 12 лет нацистского режима, а затем терпел зло еще четыре десятилетия, влача подневольное существование. Именно на эти 17 миллионов, так сказать, полномочных представителей немецкого народа было взвалено основное бремя общей вины всех немцев -- за все всеми немцами развязанные и всеми немцами проигранные войны. У этих восточных немцев, ослабленных экономическим демонтажем и миллиардными репарациями, с самого начала не было свободы выбора. Напротив, западным немцам победители даровали свободу и разрешили получать помощь по

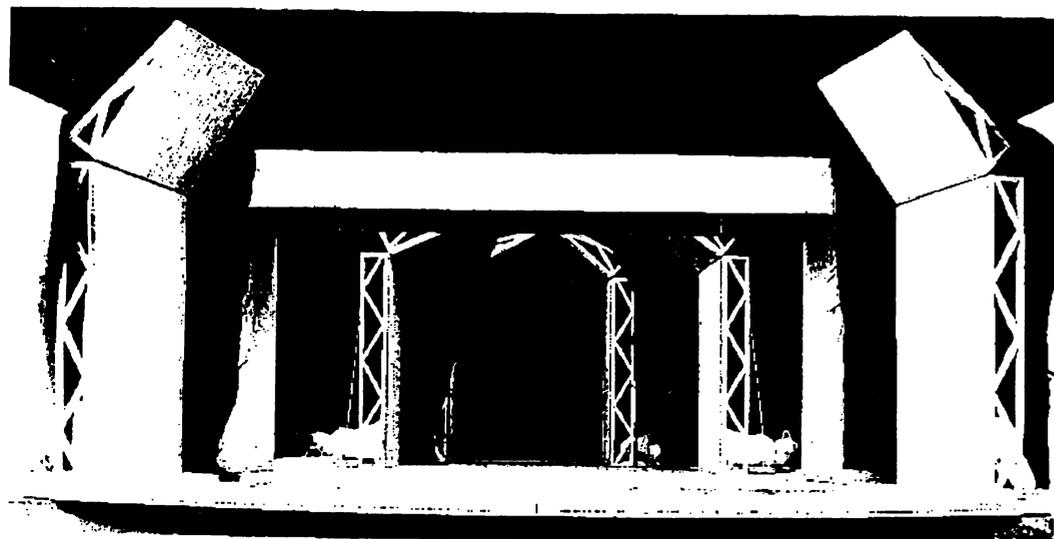
Правые западногерманские радикалы, те самые, что еще недавно были раздираемы внутренними конфликтами, теперь объединились со своими единомышленниками на востоке страны: конъюнктура для них благоприятна. И поскольку ненависть лишь в единичных случаях, быть может, небезыntenесных для художника, обращается в злобу к самому себе, то цель она находит вне собственной национальной сферы. На левом берегу Одера ненависть к полякам уже стала будничным явлением.

Я побывал там проездом несколько месяцев назад. В Котбусе ли, в Губене, или севернее -- ксенофобия, которая в других землях направлена, главным образом, на вьетнамцев и африканцев, в этих приграничных областях неизменно обращается против иностранных рабочих из Польши, вообще против поляков. Этому способствует то, что мелкие торговцы, которые едут в Берлин, следуют через границу целыми автобусами и словно нарочно делают все, чтобы укрепить немцев в их застарелых предрассудках. Вдобавок после 1945 года в примыкающие непосредственно к польско-германской границе районы переселилось множество беженцев из Силезии и Померании, в глазах этих людей признание парламентами обеих германских государств западной границы Польши было и остается предательством. И, соответственно, они пополняют ряды различных организаций беженцев, которые связывают свои надежды на лучшее будущее со слабостью польской экономики: в Польше, дескать, о них еще вспомнят! Еще приползут к ним на коленях! Куда уж полякам без посторонней помощи! Польская экономика -- как же, знаем, чего она стоит...

Я побывал в Познани и Гданьске и убедился, что неуверенность людей растет и формой ее является страх перед немцами; при всей иррациональности своих масштабов эта неуверенность содержит рациональное зерно -- ведь еще в течение десятков лет граница по Одере и Нейсе будет оставаться рубежом, за которым начинается иной уровень жизни, олицетворяемый западной маркой, чья способность к экспансии вызывает у поляков чувства восхищения и страха в равной мере. И, разумеется, оправданы опасения, что бывшие восточногерманские провинции Силезия, Померания (особенно пограничный Штеттин, нынешний Щецин) будут атакованы твердой валютой. Ибо слабость и политическая нестабильность вполне могут вновь надолго воцариться в Польше и начать подавать сигналы бедствия, к которым, уж конечно, не останется глух западный сосед. Вряд ли он придет на помощь бескорыстно. Помощь будет предложена по-деловому, без красивых жестов. На сей раз -- никаких военных действий, просто марка пешим порядком перейдет государственную границу.

Наверное, на правом берегу Одера сейчас рассуждают следующим образом: если богатые западные немцы так безжалостно обходятся со своими бедными родственниками, то как-то они, объединившись, оплатят нам, полякам?

А расплата происходит уже сейчас, хоть пока и мелкой монетой -- за множество обид, за забытое презрение, потому что



Нельсон Мандела и Вацлав Гавел, Елена Боннэр и Адам Михник, Джон Кеннет Гэлбрейт и Эли Визель -- называю имена наугад, чтобы дать представление о круге участников встречи, -- все они говорили о том, что хорошо узнали на собственном опыте, о том, как исподволь подготавливается и вдруг обрушивается ненависть.

Мне недостает конкретной информации, чтобы я мог компетентно судить о множестве межнациональных конфликтов, которые разразились в СССР и на Балканах. Поэтому на встрече в Осло я говорил о том, что происходит сегодня в немецком доме. Я пытался нащупать корни как замершей до поры, так и оживающей, либо первичной, зарождающейся ненависти -- взаимной ненависти немцев, с одной стороны, и немцев и поляков, с другой. Я говорил вот о чем. Объединение Германии происходит в безрасудной спешке, следовательно, оно непродуманно. В таких условиях немцы обожествляют единственный фетиш -- общую валюту и не испытывают от объединения ни малейшей радости. Темп и аллюр движения задается большей частью Германии, меньшая же часть, то есть люди, которые еще недавно так радовались, вкусив освобождения из-под опеки государственной власти, теперь страдают от диктата жадных до прибыли колонизаторов. Последние же -- то начинают дело, то занимают выжидательную позицию, но в любом случае платить они согласятся не раньше того момента, когда государство-банкрот пойдет с молотка за бесценок и, желательно, не обремененное старыми неоплаченными долгами.

Там, где подчистую вырубают лес, буйно разрастается ненависть. Уже сегодня можно предвидеть, что еще очень долго будет сохраняться разделение немцев на

плану Маршалла. Граждане "зоны", этого государства в кавычках, ходили в бедных родственниках, их называли "бедные братья и сестры", и хорошо, если богатая родня вспоминала о них по большому празднику. Десятилетия пренебрежения и ни к чему не обязывающих разглаговствований о том, сколь благотворным было бы воссоединение страны, -- это немалое унижение. Слишком смиренно немцы второго сорта донашивали обноски богатых западных родственников.

И вот теперь они снова -- "второй сорт". Вместо обреченного планового хозяйства коммунистов им всучили жесточайшую эксплуатацию с этикеткой "социальная рыночная экономика". Гнусный вид у такого воссоединения.

И вообще-то громадная, мощь канцлера вся Германия возросла нынче до немыслимого, эта громадина застит свет. Конечно, Берлинская стена пала, однако стараниями канцлера раздел Германии еще долго будет оставаться реальностью. Скроенное по мерке канцлера единство трещит по швам. И без того обиженных при таком объединении притесняют еще больше, слабых же объединенное государство пугает своей жесткостью. И дело не только в росте безработицы -- существенно осознание того, что потом, когда работу наконец дадут за мизерную заработную плату, отношения собственности уже раз и навсегда будут организованы к выгоде западногерманского капитала. Эта мысль, уже сейчас прочно укоренившаяся в сознании людей, готовит плодородную почву для социальной зависти, которая, как правило, перерастает в ненависть. Обманутым, в очередной раз обделенным, вечным неудачникам эмоциональные всплески ненависти как-никак дают иллюзию силы.

на протяжении десятилетий коммунистического господства немцы ГДР презирали поляков, потому что "наследников Прусского государства" поляки считали покорными вассалами ненавистных русских, потому что поляки видели в немцах ГДР людей второго сорта и соответственно к ним относились, не то что к западным первосортным немцам, которые на расстоянии поражали своим превосходством. Так насаждалась и так насаждается ненависть. Рано или поздно она становится самостоятельной автономной силой.

На встрече в Осло во время выступления Вацлава Гавела я записал для себя некоторые из его формулировок. Например: "Для того, кто ненавидит, ненависть важнее, чем сам ее объект". Анализируя ситуацию, Гавел вновь и вновь возвращался к главному тезису, а именно: народы Восточной Европы чрезвычайно восприимчивы к заразе коллективной ненависти. Причина этого, по мысли Гавела, в том, что народы восточноевропейских стран молоды, не имеют достаточного опыта, все еще не повзрослели. А темой выступления Адама Михника был "магический антисемитизм", существование которого в Польше, стране, где нет евреев, глубоко поразило Михника.

Я пытаюсь найти и не нахожу сжатой и четкой формулы, чтобы дать определение германской ксенофобии, объектом которой часто оказываются и сами немцы. По-видимому, важнейшим фактором антигуманных эксцессов в Германии является чаще даже не ненависть как таковая, а скорее бюрократическая черствость людей. (Нельзя не отметить, что немецко-польские взаимоотношения характеризуются также примерами дружбы и доброжелательности, которые позволяют надеяться на лучшее.) Но боюсь все-таки, что перепад уровней экономического развития на границе между востоком и западом, усугубленный вдобавок закоренелым национализмом, приведет в будущем к тяжким последствиям вплоть до актов насилия. И тут не играет роли, что не слишком велико пространство, где развивается взаимная ненависть богатых и бедных немцев, а также бедных немцев и еще более бедных поляков, по сравнению с теми просторами, которые в наше время предоставляет ненависти сложное многообразие взаимоотношений между населением высокоразвитых индустриальных государств и народами стран третьего мира.

И пусть мы, немцы, ревностно и педантично трудимся над решением наших внутренних проблем, пусть с бешеной скоростью возрастает озабоченность из-за неожиданной дороговизны куска под названием ГДР, пусть третье октября 1990 года, еще одна судьбоносная дата, ныне украшает летопись исторических деяний германского канцлера, -- на первый план все уверенней выходят события иного рода: уже началась борьба за сырье.

Нынче появилась новая опасность: латентный конфликт севера и юга в районе Персидского залива может разразиться войной, последствия которой предугадать невозможно. У нас в стране на угрозу этой войны отреагировали исключительно цены на горючее и биржа. При том, что по самым приблизительным оценкам объединение Германии обойдется в триста миллиардов марок, несколько мил-

лиардов на поддержку американской армии в Персидском заливе не так уж много значат. Между прочим, принято считать, что наша позиция в этой войне вполне корректна -- а ведь уже несколько лет назад стало известно, что именно западногерманские поставщики позволили Ираку наладить у себя производство отравляющих газов и устройств для их применения.

Спорунет, и Советский Союз, и Китай, и почти все страны Западной Европы тоже поставляли Ираку оружие и превратили это государство в мощную военную державу. Однако принципиально важная опасность находится отнюдь не в так называемой сфере конвенций -- она заключается в самом наличии у Ирака химического оружия, которым он угрожает прежде всего городам Израиля. Более ста западногерманских фирм, в том числе всемирно известные Клекнер, Будерус, АЭГ, Сименс, Прейссаг, МББ, Тиссен, Маннесман, Карл Цейс, Дегусса, в течение ряда лет создавали условия не для какого-то теоретического, но реально осуществляемого хотя сию минуту нового геноцида еврейского народа. Тридцатью с лишним фирмами сегодня -- слишком поздно! -- занимается прокуратура. Меж тем и федеральное правительство оставалось бездейственным и снисходительно смотрело на происходившее -- оно также должно нести ответственность за уничтожение тысяч курдов отравляющими газами. Впрочем, обычное право явно берет сторону совершенного преступления, и преступники на высших государственных должностях остаются вне досягаемости. Нет, движущей силой этих торговых операций была не ненависть, о которой шла речь на встрече в Осло, а жажда наживы. Она могла бы привести и к другим страшным последствиям, а именно воскресить память о былом преступлении Германии и вновь вызвать ненависть к немцам. С ужасом отстраняю эту мысль. (Пока я пишу эти строки, она может стать реальностью.)

Итак, о прибыли, этой самодовлеющей ценности, и о жажде наживы, которая не знает пределов и неизменно устремляется туда, где чует добычу, где инспирированные погоней за прибылью преступления списываются со счетов благодаря законам рынка. Уверен: случись господам, возглавляющим упомянутые всемирно известные торговые фирмы, обсуждать какой-нибудь ходовой товар, который они закупают в кризисных регионах, то непременно будет использовано жаргонное слово "хапнуть", ибо не брезгает жаргоном менеджеры торговых корпораций, которые поделили между собой рынок бывшей ГДР. И если объединяются нынче министерские канцелярии Ламсдорфа и Де Мезьера, дабы компетентно направлять деятельность Попечительского общества<sup>6</sup>, то и в этом объединении руководством служит расхожая воровская мораль. Как говорится, некрасиво, да ничего не попишешь, во всем мире у торговцев принято так поступать. Рынок стремится к росту, ищет свободных пространств. Рост -- его кредо. Да неужели же немцы представляют собой какую-то опасность, лишь потому что хотят чуточку расширить свой рынок?

Страшны ли немцы сегодня? Этот вопрос нередко задают. Чаще всего как чисто риторический, поскольку ответы у вопрошающих заранее заготовлены: исто-

рия, дескать, дала нам, немцам, урок. Худо-бедно, но мы в общем такие же, как другие народы. Европеизация Германии, мол, служит гарантией от любой гипотетической угрозы со стороны немцев. Пусть никто нас не боится.

В самом деле? Не говорит ли о противоположном экспорт высокопроизводительных предприятий, производящих отравляющие газы, и, что гораздо важнее, та беспечность, с какой отнеслось к этой торговой сделке федеральное правительство, то есть открыло ее? Более того, не имеем ли мы дело с опасным рецидивом преступного отношения к своим обязанностям как раз там, где осторожность должна быть профессиональным навыком?

Несколько месяцев тому назад состоялась встреча министров иностранных дел СССР и ФРГ. Она проходила в Бресте, некогда польском, а с 1945 года белорусском городе. Встреча как встреча, ничего особенного. Международная общественность не проявила к ней большого интереса. А вот поляки отреагировали -- испугом. Потому что Шеварднадзе и Геншер проявили бестактность, организовав свою встречу именно там, где осенью 1939 года Красная Армия и вермахты устроили совместное празднество со военным парадом в честь "братства по оружию". Позор, тем более что на сей раз не канцлер положил, по своему обыкновению, ноги на стол -- бестактность по отношению к полякам была допущена Геншером, который известен как тонкий, осмотрительный и даже осторожный политик.

И вновь мне слышится монотонное жужжанье возражений: конечно, можно понять опасения поляков, но зачем же так сгущать краски? Германия покаяться и тем самым преобразилась. Она у нас теперь отличница, у нее сплошные пятерки по предмету "демократия". Не надо придавать Брестской встрече министров слишком серьезное значение, да и другим оплошностям тоже...

Я с радостью прислушался бы к подобным увещаниям и стал считать нас, немцев, чуть ли не безобиднейшей нацией. Да только едва начнешь подводить какие-то итоги процесса немецкого объединения, как все страхи тут же оживают. Пугает вознесение западной марки в ранг предмета сакрального поклонения -- как будто скудость ума можно компенсировать деньгами. Пугает и то, что дебаты, о том, где быть столице объединенной Германии, велись устрашающе громко, на пределе громкости радиодинамиков. Оторопь вызывает унификация общественного мнения: все теперь единодушны, и "Шпигель", и "Франкфуртер Алльгемайне", и "Ди Цайт". А первый договор между двумя германскими государствами наскоро протолкнули, минуя парламенты -- и тот, и другой. Страшно читать победные репортажи, потому что из них следует, что стратегия блицкрига доказывает нынче свое миролюбие, ловко орудуя тисками финансовой политики.

И как тут не испугаться, когда что ни день обнаруживается подверженность немцев рецидивам, когда курс демократических доблестей, с такими трудами наконец освоенных, вдруг в считанные часы падает до нуля, когда объединение происходит и в сфере госбезопасности, когда -- в который раз! -- самая многочисленная из оппозиционных партий заби-

вається в угол: из страха, что на ее членов при малейшей попытке что-либо возразить навесят ярлык "безродных отщепенцев". И не усмешку, скорей опять-таки страх вызывает горделивая -- в силу глупости -- осанка победителей, почьей указке изгоняется любая утопия и закрывается для движения любой третий путь. Если раньше в ранг идеологии возводили потерпевшее нынче крах плановое хозяйство, то теперь его место заняла рыночная экономика. Правление нашего канцлера уже принялись сравнивать с временами Бисмарка, как будто бы политика железа и крови, которую проводил прусский помещик, была благословением для немцев и их соседей.

Можно возразить мне, дескать, все перечисленные здесь страхи относительноны, ведь самое позднее в декабре 1990 года на общих выборах в бундестаг квазибисмаркианская политика канцлера объявит о своем банкротстве. Уж тогда-то даже самые завзятые оптимисты и негибачаемые благоверы уразумуют, что канцлер и его министр финансов сделали социально деклассированным слоем 16 миллионов немцев. Да и смогла бы разве заведомо никуда не годная экономика в землях между Эльбой и Одером выдержать конкуренцию с западной товарной продукцией? Развал сельского хозяйства, неудержимый рост безработицы и возобновившаяся централизация, теперь уже в виде централизации подопечных предприятий и фирм, пустые коммунальные кассы и вездесущий синдром госбезопасности, сто раз обещанные, но, невзирая на обещания, так и не осуществленные инвестиции, продажа старых автомобилей, которая ведет к увеличению числа автокатастроф, вновь усилившаяся миграция квалифицированных рабочих на запад, апатия -- результат бесчисленных несбывшихся надежд, социальный и экономический хаос, который давно предсказывали, -- все это налицо: поистине, на чужом коне далеко не уедешь.

Стало быть, и впрямь не так уж они опасны, эти немцы. А ведь и удача им сопутствовала, и соседи доверяли, так нет же, ничего у них не вышло, только испортили все дело. И придется, видно, им платить да приплачивать, никуда не денешься. Делом-то заправляли дилетанты и краснобаи, даже президент федерального банка Карл Отто Пель, блюститель западной валюты, хоть и высказывал поначалу кое-какие сомнения, в конце концов далтаки зеленый свет "объединению займы" и, следовательно, тоже несет ответственность.

Но главная вина лежит не на тех, кто принял то или иное ошибочное решение, -- гораздо важнее то, что великая государственная акция проводилась в жизнь с жестокостью. Преждевременное и осуществлявшееся без надлежащей подготовки повсеместное введение западной марки, то есть пресловутое валютное объединение, с каждым днем все отчетливее выявляет эту жестокость и полное отсутствие милосердия к людям, которые в результате брошены на произвол судьбы и лишены какой-либо защиты перед законами раннего капитализма. Десятки лет эти люди прожили под идеологической опекой, на коротком поводке порочной коммунистической экономики, неустанно уповая при том на грядущее чудо, -- теперь они вочую увидели то самое звериное лицо эксплуатации, которым стра-

щали их дрессировщики ленинской школы.

Насильственность и презрение к людям -- вот что страшно в этой политике, вот что пугает. За границами нашей страны (и не только в Польше), вероятно, задумаются: судя по всему, немцы -- а их уже почти 80 миллионов -- едва войдут в общеевропейский дом, опять примутся где хватать, где снимать сливки, короче, хапать. Дело в том, что сегодня гипотетическая опасность лежит уже не в военной сфере, -- как и у японцев, у немцев с некоторых пор пропала охота воевать, -- опасность состоит в экономической экспансии разбитых во второй мировой войне держав "оси". Ничто не удерживает их от объединения сил путем заключения новых, уже не военных союзов, что и было продемонстрировано фирмами Мицубиси и Даймлер-Бенц; в будущем же они считают целесообразным создание технологической "оси" Берлин -- Токио. Такой "стратегический альянс" уже сегодня свидетельствует о наличии агрессивной воли к росту и овладению рынками, больше того, он говорит о той же безудержности, которая показала себя, когда Германия сделала предметом экспорта предприятия по производству отравляющих газов.

Пугает и еще кое-что. Общественное мнение, которое всего год назад бурлило и волновалось, нынче плавно течет в едином русле. Кто не ругает за единство Германии, тот аутсайдер. Формируется единая воля. Даже в области интеллектуального труда несогласие стало диковинной редкостью. Некогда ревностно оберегаемые островки независимости в прессе, отделы культуры и искусства, сегодня переоборудованы в эшафоты. Все без исключения картины, написанные в ГДР или, как принято выражаться, в "несвободе", лишены права называться произведениями искусства и выставляться в музеях. Западное и только западное искусство превыше всего. Когда же устроили судилище над Кристой Вольф, то струхнула не только эта писательница -- в сущности, дрожать от страха пришлось буквально всем литераторам бывшей ГДР; да, времена снисходительности миновали. Что было хорошо, то стало плохо. До рассуждений ли тут об "идентичности культур"! Нет ничего подобного ни в Договоре между ФРГ и ГДР, ни в Договоре об объединении. Все это -- хлам, -- таков общий приговор. Союз деятелей культуры и что там еще у вас в ГДР было -- лучше и не вспоминайте!

Немцкое объединение произошло, при общем молчаливом согласии, методом сплошной вырубки. Художники, писатели, музыканты и режиссеры, директора цирков и издательские редакторы, архивариусы и библиотекари, -- да кто угодно, если вдруг осмелится возроптать, шепотом вымолвить слово "урон" или, чего доброго, предостеречь от опасности культурной колонизации, немедленно будет обруган нытиком, заподозрен в левацких бреднях или получит советы вроде: хватит ныть! На свободном рынке ценится то, что способно пробиться. И в искусстве доход приносят только сильные вещи. Все имеет свою цену! Вы же хотели свободы -- или нет?!

Сгущаю краски? До сих пор процесс расширения германского рынка однозначно подтверждал -- действительность превосходит самые мрачные из моих про-

гнозов. Так что оставлю за собой право и в дальнейшем видеть все в черном свете. Да и с чего бы они вдруг забрезжили, рассветные проблески? Борьба левых либералов против державного высокомерия, нарушений законов и коррупции правительственных учреждений, движение, которое с конца 60-х годов ориентировалось на идею "конституционного патриотизма" (термин Юргена Хабермаса), сейчас донельзя ослаблено. Соответственно слабыми оказались и Зеленые, и Союз-90, когда наконец спохватились и заключили свой "брак по расчету", создав единую парламентскую фракцию. Слишком долгим было их увлечение детскими играми в "базисную демократию", слишком долго считали они собственную слабость доказательством отказа от притязаний на политическую власть. Довольствовались собой.

Но настают более суровые дни -- о них возвестил праздничный колокольный трезвон. Все данные собраны, теперь с их помощью можно беспрепятственно творить черные дела в общегерманском масштабе. Об остальном позаботится административное право: из сорной травы сегодняшнего дня уже проклеивается новый дистель<sup>7</sup>, сорняк светлого завтра. Вот и получили мы классовое общество в наилучшем виде. В силу социального расслоения раздор немцам обеспечен. Он еще не заявил о себе во весь голос, а государство тем временем уже успело нарушить основной закон и не дало народу конституцию. Многоликий "Союз Немских земель", гражданином которого я хотел бы стать, не имеет будущего, вместо него явился монстр с великодержавными устремлениями. Уходя от его порога, я говорю ему -- нет!

Не один десяток лет я неумоимо отстаивал конституционный патриотизм, бывало, горячился, чаще же выступал с конструктивной критикой, но неизменно считал себя патриотом конституции. Остаюсь им и сегодня. Новому германскому государству во всей полноте его власти вряд ли нужен такой патриот.

1990

<sup>1</sup> Советская оккупационная зона Германии -- официальное сокращенное наименование.

<sup>2</sup> Вайгель Тео -- министр финансов ФРГ.

<sup>3</sup> Хаусман Хельмут -- министр экономики ФРГ.

<sup>4</sup> Аугштайн Рудольф -- главный редактор журнала "Шпигель".

<sup>5</sup> Ляйхт Роберт -- заместитель главного редактора еженедельника "Цайт".

<sup>6</sup> Учреждение для проведения приватизации государственного имущества ГДР.

<sup>7</sup> Г.Грасс обыгрывает фамилию министра внутренних дел и вице-премьера ФРГ: Distel -- сорняк, чертополох.

1913

Странно, что наш поезд пробегает над улицами. Странно, что трамвай другого, не петербургского цвета. И что они длиннее петербургских. При повороте поезда видно, что железная дорога покоится на мощных железных столбах. И запомнится название вокзала, на котором поезд наконец, посередине города, останавливается: вокзал Фридрихштрассе. Мы выходим на перрон.

Мы – это семья молодого петербургского присяжного поверенного: мама, мой брат Ганя (ему 7 лет) и я (мне 3 года). Мы совершаем летнее заграничное путешествие. Одна из его первых остановок – Берлин. И вот мы в нем. Он залит солнцем.

Запоминаются только две улицы. Впрочем, главные. Одна – широкая, обсаженная деревьями. Степенно-нарядная. Это Унтер ден Линден. И другая – неистово шумящая, переполненная народом узкая Фридрихштрассе. Шум превосходит все, что мы слышали в Петербурге. Может

и Элите-отель. Берлин еще не оправился от недавней катастрофической инфляции. Но это лишь первое впечатление. Если присмотреться внимательнее, становится заметен грядущий расцвет. Боковые улицы и улицы окраин чуть освещены редкими фонарями. Но центральные улицы и площади сверкают рекламами и огнями великолепных кинотеатров. А днем магазины, наполненные товарами, наполнены и покупателями. Знамениты два монументальных берлинских универсальных магазина: Вертхейм на углу Фридрихштрассе и Лейпцигерштрассе и Кауфхаус дес Вестенс (Торговый дом Запада) неподалеку от Курфюрстендамма (Курфюрстендамма, как его тогда называли берлинцы). Курфюрстендамм, начинающийся вблизи могучего здания Гедехтнискирхе, словно соревнуется с Унтер ден Линден за право называться главной улицей Берлина.

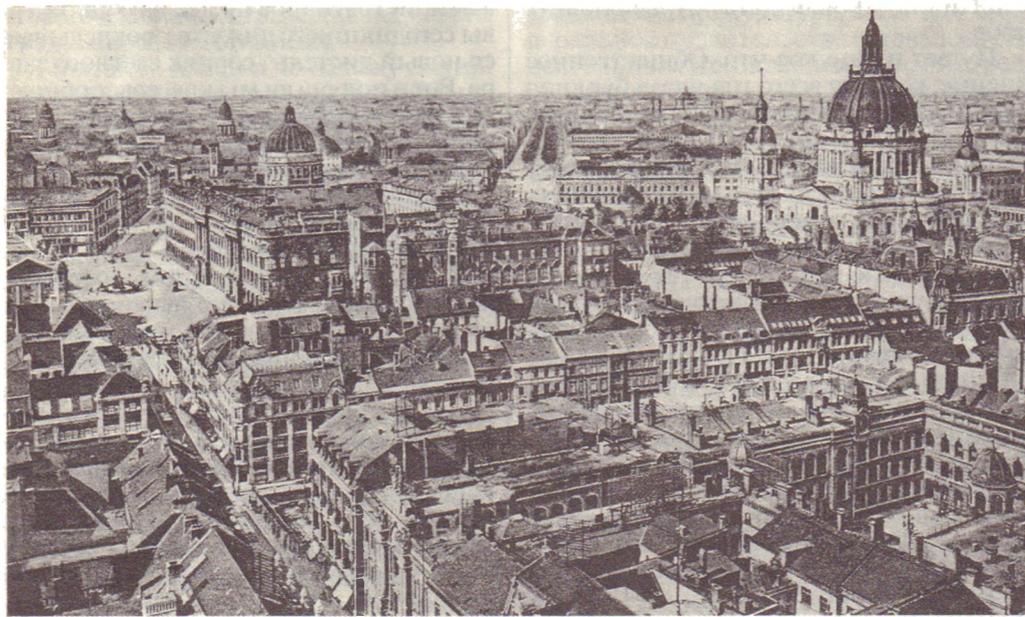
И еще одна примета нового Берлина: множество русских. Правда, верхи

Владимир Адмони

мещался пансионат на Виктория-Луизе-Плац 9, недалеко от Курфюрстендамма. Площадь была небольшая. С маленьким сквером посередине. В нем был спуск в метро, обрамленный скромной колоннадой. На площади было и маленькое кино. После сеанса у выходных дверей немолодой владелице кинематографа, снимая шляпу, благодарил публику за то, что она его посетила.

Мне было 15 лет. Но чувствовал я себя уже взрослым. Люди тогда вообще рано взрослели. И я одновременно стал знако-

# ПЯТЬ



БЕРЛИН.

быть, потому, что в Петербурге на Невском мостовая – деревянные торцы. Или потому, что здесь много автомобилей, еще редких в Петербурге. И сверкает медью и манит бархатом, который, впрочем, оказывается плюшем, Элите-отель, в котором мы остановились. Он – рядом с вокзалом. В одном из магазинов на Фридрихштрассе нам, мальчикам, покупают солдатиков. Они раскрашены. В соответствии с формой солдат Вильгельмовской армии. Никто не подозревает, что всего лишь через год солдаты в точно такой же форме вступят в роковую схватку с русскими солдатами. И что будет положен предел всей нашей прежней жизни.

1924-1925

Берлин – словно черный. Он снова проплывает внизу, под поездом. Снова пересекаются улицы. Но они черно-серые. Не только от осеннего дождя, но и от заброшенности.

Снова вокзал Фридрихштрассе. Но теперь неряшливый. Потускнел, полинял

эмиграции уже перебрались в Париж. И все больше эмигрантов тянется за ними. Но русских в Берлине все же много. Есть кварталы, в которых русская речь слышится не реже, чем немецкая, а в газетных киосках русский "Руль" покупают не реже, чем популярнейшие немецкие газеты. Впрочем, не все берлинские русские окончательно стали эмигрантами. Есть и такие, которые вскоре вернуться в Россию. Среди них и мы с мамой.

Мама, давно уже разошедшаяся с отцом, потеряла в Петрограде свою работу. Работу машинистки. Новую найти не могла. Но узнала, что ее близкий друг (вернее, друг детства) занимает важный пост в Советском торгпредстве в Берлине. Мама решила, что он поможет ей устроиться в Торгпредстве, – и отправилась со мной в Берлин. Мой брат остался с отцом. Но когда мы приехали, мамино друга в Торгпредстве уже не оказалось. Мама все же надеялась, что какая-нибудь работа вдруг найдется, – и мы остались в Берлине. Только перебрались сразу же из дорогого отеля в дешевый пансионат, где обитало много русских. Какое-то время прожили там и Андрей Белый, и Владимир Ходасевич с Ниной Берберовой. По-

миться с городом и предпринял попытку заработать деньги. Берлин был велик. Но чуть ли не весь город я исходил пешком. И полюбил его, с каждым днем все ярче горели по вечерам огни реклам. Все бравурнее становился общий тон жизни. Люди не ведали, что через каких-нибудь пять лет им предстоит безжалостный экономический кризис, а через восемь лет – власть фюрера.

Зарабатывать деньги я решил киносценариями. Ведь это было время величайшего расцвета черно-белого немого кино, его превращения в подлинное большое искусство. Я причудливо соединял мои петроградские переживания времен гражданской войны, мои впечатления от недолгого летнего пребывания в Вятке -- тогдашнем сонном городе, высоко поднявшемся над широкой рекой, за которой до горизонта простирались леса, и мой теплый берлинский опыт. На этой основе я сочинял, как мне казалось, замысловатые, а на самом деле, конечно, неуклюжие приключенческие сюжеты – и отправлялся в кафе Фильмэк (Киноуголок). Оно помещалось в самом центре – на Фридрихштрассе. И его действительно посещали "киношники" – режиссеры, актеры, операторы, дельцы. Правда, скорее, второго или даже третьего сорта. Но все же люди, имевшие отношение к кино. Изредка там даже совершались "сделки", люди договаривались начать работу – и отмечали это рюмкой коньяка.

Я же приходил в кафе часа в два, заказывал себе чашечку кофе (50 пфеннигов) и получал право сидеть в кафе столько, сколько мне заблагорассудится. Я сидел и ждал, когда среди посетителей окажется в одиночестве кто-нибудь, напоминавший режиссера, и тогда я просил позволения подсесть к нему и начинал – на невозможном немецком языке – рассказывать ему о моем сценарном замысле. Изредка собеседник проявлял какой-то интерес к моему рассказу, даже перелис-

тывал мои наброски, улыбался – и на этом дело кончалось. Впрочем, пользу из моих посещений Фильмэка я все же извлекал. Там лежали свежие номера всех (в то время многочисленных) немецких киножурналов – и я прилежно их читал.

Однако самое сильное впечатление произвели на меня в эти берлинские дни не фильмы, которые я в множестве смотрел в дешевом маленьком кино на Виктория-Луизе-Плац, а театр. Оба театра Макса Рейнгарта: большой "Немецкий театр" и совсем маленький "Камерный театр" (кажется, всего на двести мест). Впервые познакомился я там с Пиранделло. И был навсегда покорен актрисой Элизабет Бергнер в роли святой Иоанны в пьесе Бер-

почти не узнавал. Встречались пустыри. Уже издали стало заметно высоченное здание со шпилем – телевизионная башня. Когда мы подъехали ближе, шофер жестом пригласил меня взглянуть на шпиль. В силу каких-то оптических причин на его позолоте под яркими лучами солнца отчетливо выступило очертание креста. "Sanct Walter, – сказал с усмешкой шофер. – So peppen wir es". Вальтер было имя Ульбрихта, тогдашнего коммунистического властителя ГДР.

Почти неузнаваемым стал и Александрплац. Лишь дальше, на Унтер ден Линден, я оказался хотя и в изменившемся, выцветшем, но все же прежнем Берлине. Мы доехали почти до конца Унтер ден

мов и возникло ограждение. Улицу пересекала государственная граница: контрольный пункт. Это было то же самое, как если бы в Петербурге на Литейном, где-нибудь около Жуковской, был воздвигнут контрольный пункт для перехода государственной границы. А вдалеке, над домами, виднелась обширная крыша со странными вмятинами – крыша западноберлинской филармонии Караяна.

Нацизму я ничего не простил. Но при взгляде на Берлин, разделенный стеной, мне становилось страшно. Не только за немцев, но за все человечество. И за себя.

# БЕРЛИНОВ

## ИЛИ О НОВОЙ ЧЕЛОВЕЧНОСТИ

нарда Шоу. Страстный, трогательно хрипловатый голос актрисы помню я и сегодня – через две трети века. И вот посвященное Элизабет Бергнер стихотворение, которое сложилось у меня тогда в Берлине:

*Была ты ни с кем несравненна.  
Святые зывали к тебе.  
Была ты проста и смиренна,  
Своей предаваясь судьбе.  
И в час тот, когда ты ступила  
Ногою своей на костер,  
Тебя не оставила сила  
Мне в сердце направить свой взор.  
Твой голос, дрожащий и странненький,  
Сильней и страстнее огня –  
Святая моя Иоанна,  
Предвестье наставшего дня.*

### 1969, 1970

В Берлине – столице ГДР я проездом. Летом 1969 года. Возвращаясь из Лейпцига. Там я выступил с докладом на Втором Конгрессе международного союза преподавателей немецкого языка. Сам по себе конгресс меня совсем не интересовал – он был для учителей, а не для ученых. Но я согласился сделать доклад по настоятельному требованию каких-то научных инстанций ГДР, которым было нужно, чтобы с центральным докладом на конгрессе выступил германист, известный и на Западе. Этим инстанциям удалось даже преодолеть острое нежелание Академии наук СССР командировать в Лейпциг именно меня. После доклада, которым открылся конгресс, я попросил, чтобы мне дали возможность посетить Веймар и – перед отъездом – Берлин. Восточный Берлин. Поскольку я воспринимался в ГДР как почетный гость, мое желание выполнили.

Ехал я в Берлин на личной машине какого-то министра или заместителя министра. Шофер сначала сурово молчал. Потом понял, что я не принадлежу к начальству, а просто профессор. И стал разговорчивей. Когда мы подъезжали к Берлину, я был с ним уже чуть ли не в приятельских отношениях. Берлинских улиц я

Линден, свернули налево, на Вильгельмштрассе, и почти сразу же остановились у одного из немногих сохранившихся здесь (или реставрированных) домов. Это оказалась гостиница – то ли ЦК партии, то ли Совета министров. Моя комната была заранее оплачена. Меня уже ждал германист – доцент Берлинского Гумбольдтовского университета, который должен был помочь мне осмотреться в Берлине. Мы пошли обедать в ресторан при гостинице. Обед был отмененный, в соответствии с рангом закрытой гостиницы. И стоил удивительно мало. Затем мы вышли. Невдалеке от гостиницы, по направлению к Бранденбургским воротам, виднелся уцелевший обрубок серого многоэтажного здания. Лишь с трудом я узнал в нем то, что осталось от прославленного отеля Адлон – лучшего берлинского отеля прежних лет, мимо которого я так часто проходил в 20-е годы.

А дальше была стена – Берлинская стена. Белая, казавшаяся издали не очень высокой. Перед ней полоска газона. Газон был и перед Бранденбургскими воротами. Запретный газон. Но перед ним, составляя как бы завершение Унтер ден Линден, стояло несколько скамеек, обращенных к Бранденбургским воротам. И когда бы я ни подходил к этим скамейкам, я всегда находил на них нескольких молодых людей, очень по-разному одетых. Но сидели они всегда в похожей позе. С неподвижным, упорным взглядом, устремленным на Бранденбургские ворота.

Недалеко от моей гостиницы была станция метро. Когда-то промежуточная – на линии, ведущей от Александрплаца к Шарлоттенбургу, к станции Цоо. Теперь она была тупиковой. С нее начиналась линия, по направлению к Александрплацу. Вагонов в поезде метро было, кажется, всего три.

Мне было страшно ходить по городу. Потому что то и дело вдруг, неожиданно и совсем невдалеке, возникала Берлинская стена. Она казалась вездесущей. А на Фридрихштрассе, вблизи Унтерден Линден, стояло несколько пустых коробок до-

Когда я прощался с доцентом, сопровождавшим меня по Восточному Берлину, я сказал ему о моем потрясении. Вместо ответа он помолчал. А затем сказал: "Здесь остались только трусы. Все, кто посмелее, бежали на Запад. Я – трус". Но я вспомнил о молодых людях на скамейках перед Бранденбургскими воротами и подумал, что вряд ли мой собеседник полностью прав.

А через год я снова оказался в ГДР. Вместе с женой, Тамарой Сильман. Мы приехали читать лекции – в Восточном Берлине и в Лейпциге. В Берлине нас встречал тот же доцент. Но жили мы теперь в другом отеле – недалеко от вокзала Фридрихштрассе. Воспользовавшись этим, я стал искать Элите-отель, тот отель, в котором я дважды жил. Но отеля не было. От него не осталось никаких следов. Более того, ни один из обитателей этих берлинских мест, которых я спрашивал, не мог припомнить даже, чтобы отель с таким названием когда-нибудь существовал. Отель оказался напрочь стертый из памяти. Хотя не прошло и полувека. Правда, эти полвека были особые.

А в остальном все повторилось. Такие же молодые люди с таким же неподвижным, упорным взглядом сидели на скамейках перед Бранденбургскими воротами. Так же неожиданно возникала всюду при прогулках по городу Берлинская стена. Она встретилась нам даже когда нас повезли за пределы Берлина – в Потсдам, знаменитую резиденцию Фридриха Великого. Берлинская стена вынырнула и там – кажется, где-то за озером. И нам было так же страшно, как страшно было мне во время моего первого приезда в Восточный Берлин.

### 1987

Я – в Западном Берлине. Гласность и перестройка сделали свое дело: я могу свободно ездить на Запад. И принял приглашение прочитать лекцию и выступить со стихами в Свободном берлинском университете – новом (притом гигантском) университете, созданном в Западном Берли-

\* Так мы называем это (нем.).

не. Прилетел я, правда, в гэдэровский аэропорт Шенефельде – прямого сообщения между СССР и Западным Берлином, как прежде, нет. Но в здании аэровокзала есть незаметная боковая дверь. Она ведет на маленькую пустую площадь, обнесенную забором. Регулярно сюда приезжает западноберлинский автобус. После краткого ожидания он появляется и, подхватив меня и одну западноберлинскую супружескую пару, выезжает с площади – и тут же останавливается. Пограничник производит весьма беглый просмотр наших документов – и мы спокойно едем дальше. Уже по Западному Берлину, который, как оказалось, подступает к самому Шенефельде. На конечной станции автобуса за мной приезжает профессор Клаус-Дитер Земанн из Свободного берлинского университета и везет меня в университетскую гостиницу для приглашенных профессоров.

Город спокосен и подобран. Следов войны нет. Мы едем не через центр. В Далеме, новом районе Берлина, где расположены многие здания университета, господствует тишина. Прохожие встречаются редко. Несравненно реже, чем автомобили. Целые улицы, как в маленьких немецких университетских городах, состоят из двухэтажных домиков, предназначенных для одного семейства. При каждом домике есть хотя бы крохотный садик.

Я знаю, что Западный Берлин был центром ожесточенных студенческих волнений в 60-е годы, что и сейчас в нем происходят беспорядки, преимущественно молодежные. И связанные с самовольным заселением пустующих квартир. Но мне не довелось присутствовать при событиях подобного рода. Как и в других городах Западной Германии, а я уже успел побывать во многих из них, обращение людей друг с другом – на улицах, в метро, в магазинах – предельно доброжелательно. На вопросы даются обстоятельные ответы. И нередко улыбка. Тепло встречают оба моих университетских выступления.

Больше всего мне хочется взглянуть на те места, где я жил в Берлине в 20-е годы. И в первый же вечер меня везут на машине в центр города (его главная улица – Курфюрстендамм, который теперь называют Кудаммом). Все знакомее становятся улицы и площади. И вот Виктория-Луизе-Плац. Посередине тот же маленький сквер и станция метро. Только в колоннаде стало меньше колонн. И другие стали дома. За исключением одного – как раз того, который носит номер 9. Он уцелел. Скорее, уцелела его коробка. Потому что теперь это не многоквартирный жилой дом, а банк. Но все же я узнаю, что дом этот – тот же, в котором я жил. И выясняется, что берлинским славистам он уже давно известен – как дом с тем пансионатом, в котором когда-то жили Андрей Белый и Владислав Ходасевич.

А затем выясняется, что сохранилось и немало других прежних домов. На своем месте стоит Кауфхаус дес Вестенс. И возвышается темная Гедехтнискірхе. А на ее фоне тем блистательнее выглядит начинающийся вблизи нее Кудамм.

Как ни странно, в Западном Берлине я почти не натыкаюсь на Берлинскую стену. Но специально еду на Фридрихштрассе – и подхожу к контрольному пункту – теперь уже с другой стороны. И долго смотрю на эту границу – границу посреди улицы. Не подозревая, что я смотрю на нее в последний раз.

## 1991

Вновь я в Берлине. Вновь по приглашению Свободного берлинского университета. Но Берлин этот уже другой – не Западный, а просто Берлин. И когда я прилетаю в Шенефельде, не надо выходить боковой дверью на маленькую площадь. У главного выхода, в толпе встречающих, меня ожидает университетская преподавательница и везет меня прямо в университетскую гостиницу.

Берлин стал единым. И тема Берлина, его истории, его культуры становится модной. Вероятно, по случайному совпадению, но очень кстати как раз в это время выходит в свет книга Юргена Шеберы о кафе, излюбленных людями искусства в Берлине 20-х годов. Я с интересом просматриваю книгу – и с удивлением замечаю, что в ней опущено кафе Фильмэк. Газета "Тагесшпигель", одна из популярнейших газет сегодняшнего Берлина, охотно печатает мою заметку, заполняющую этот пробел. На высшем уровне еще не решено, какой город станет столицей Германии – Берлин или Бонн? Но берлинцы убеждены: Берлин.

ГДР больше нет. Коммунистическое правительство пало. Тому много веских причин: экономических, политических. В немалой мере и наша перестройка, гласность, новое мышление. И все же система ГДР не рухнула бы так стремительно, если бы за те двадцать лет, которые прошли после моих посещений ГДР, народ в этой стране не изменился. Гэдэровские немцы перестали быть трусами. В них вырел внутренний протест. И поэтому десятки тысяч людей – без предварительной организации, без подготовки – смогли выйти в едином порыве на площади городов и заявить: "Мы – народ!". Ментальность людей стала другой. Как и в странах Восточной Европы.

Далем встречает меня неизменившийся. Не изменился и Кудамм. Он по-прежнему главная улица Берлина – теперь уже единого Берлина. Потому что Унтер ден Линден и Фридрихштрассе даже поблекли по сравнению с концом 60-х годов. Печать упадка с них еще не удалена. И те же черты упадка заметны всюду, когда оказываешься на других улицах и площадях бывшего Восточного Берлина.

Но внешняя граница старательно стерта. Я хожу по Фридрихштрассе, по тому месту, где улицу переграждал контрольный пункт, – и не уверен, что я действительно нашел это место. Потому что следов не видно. Берлинскую стену разобрали старательно и фундаментально. Сохранилась лишь небольшая ее часть – в стороне. И, может быть, совсем маленький ее отрезок будет сохранен на память, как исторический урок. Мне дарят небольшой кусочек камня, выломанного из стены. Это необычайно модный сувенир. Даже имеющий рыночную стоимость. Подаренный мне кусочек особенно ценен. Потому что он выломан из стены у Бранденбургских ворот. И я, может быть, издали видел его, когда двадцать лет тому назад сидел на скамейке, стоявшей перед газонном у Бранденбургских ворот, – сидел вместе с молодыми людьми, упорно глядевшими, не отрываясь, на ворота.

Эти молодые люди теперь уже не малы. Что стало с ними? Удалось ли им пробраться на Запад? Или они погибли

при попытке преодолеть Берлинскую стену? Или жили, взрослея, привычной жизнью гэдэровских людей, пока не настали воодушевляющие дни осени 1989 года? И не вспыхнули ли тогда их юношеские порывы? Потому что именно накопившаяся в течение десятилетий сдержанная энергия порывов неприятия, порывов протеста, порывов гнева и привела к тому непреложному сдвигу в ментальности народа, который смел ГДР.

В бывшем Восточном Берлине новую ментальность ощущаешь явственно. Презрение к прошлому, к ГДР звучит искренним. Тем более искренним, что новая действительность воспринимается с озабоченностью, порой даже с тревогой, а иногда и с недовольством. Слишком медленным кажется преодоление разрыва между богатством ФРГ и бедностью бывшей ГДР. А в газетах пишут – сам я никогда не сталкивался с этим – о росте агрессивных националистических настроений.

Да, новой ментальности, вызревшей на Востоке Европы начиная от Эльбы, предстоит великие испытания на прочность. Сталкиваясь с экономическими трудностями, с несбывшимися ожиданиями стремительного счастья, возвышенный душевный порыв ослабевает, загасает, может иссякнуть. Но может и выстоять. Должен выстоять. О, как важно для него, куда повернутся в ближайшие годы – нет, даже в ближайшие месяцы – судьбы человечества. И куда двинется наша страна.

Ведь приход новой ментальности – это явление эпохальное. И любопытно, что я ощутил ее приход еще до событий, преобразивших Восток Европы, до бархатных революций. В конце 1988 года, завершая книгу об историческом синтаксисе немецкого языка, я вдруг почувствовал потребность перевести мои стихи на немецкий язык. И в недолгий срок не только перевел на немецкий несколько десятков моих стихотворений, но и стал писать немецкие стихи. Мне уже прежде довелось этим заниматься – во время войны, когда я написал множество немецких стихотворений для пропаганды среди немецких войск. Но то были стихи пропагандистские, хотя я и писал их со всей отдачей. А теперь они создавались как бы по собственной воле, и в них, неожиданно для меня, возникла тема наступающей новой человечности. Думаю, что за этим стояло предчувствие, неосознанное предчувствие тех событий, которые меньше чем через год произошли. И когда в начале этого года в немецком журнале "Die horen" вышла подборка моих немецких стихотворений, я снабдил ее предваряющей заметкой под названием "Новая человечность". И мне представляется, что движение к новой человечности – это одна из важнейших составных частей общего эпохального сдвига в жизни человечества – сдвига, завершающего XX век.

P.S. Я написал этот очерк в середине августа 1991 года. За неделю до переворота – и его крушения. И то, что демократия в нашей стране выстояла, то, что Борис Ельцин смог бесстрашно организовать героизм москвичей, то, что безоружные люди преградили путь сталинистам с их танками и БТР, сила духа петербуржцев – все это и многое другое показывает, что и у нас возникла новая ментальность людей, что и у нас вышлана сцену новая человечность.

24 августа 1991 г.

9 ноября 1988 года Берлинская стена рухнула наконец, не выдержав натиска восточных немцев. В тот день я находился в США и выступал с докладом в одном из американских университетов. Узнав об историческом событии, я не мог не выразить свою радость, — и тут слушатели задали мне вопрос: а когда появится у немцев большой роман, темой которого будет падение Берлин-

игнорируют, не считая нужным о них говорить. Но одного психологического объяснения в нашем случае явно недостаточно.

Попробую рассказать всю историю с самого начала. Строго говоря, это не одна история, а две редакции одной и той же истории, поскольку она трактовалась по-разному в зависимости от того, где проживал рассказчик — в восточной или в западной части разделенного города. Начну же со своей редакции.

В Западном Берлине я живу

ским мотивам: иначе жизнь в разделенном городе была бы невыносимой. Невозможно изо дня в день с утра и до вечера негодовать из-за одной и той же несправедливости, кроме того, со временем тускнеют даже самые благородные чувства, и, что еще хуже, они становятся смешными. В правой шпирингеровской прессе аббревиатура ГДР неизменно печаталась в кавычках; левая западноберлинская интеллигенция реагировала на это неприязненно, между тем боннские политики и западные государственные дея-

## Ханс Кристоф Бух

ятельствам гражданам ГДР разрешалось съездить в Западный Берлин. Поездки эти, правда, сопровождались массой сложностей — заблаговременное получение виз, унижительные личные досмотры, проверка багажа, — тем, кому особенно не везло, приходилось

раздеваться донага или по винтикам разбирать автомашину. И все-таки положение было сносное. Стена пропускала людей, если те могли предъявить кто-либо заграничный, а кто простой общегражданский паспорт и визу, меж тем охотников пользоваться такой замечательной возможностью становилось все

# БЕРЛИНСКАЯ СТЕНА И НЕМЕЦКАЯ ЛИТЕРАТУРА

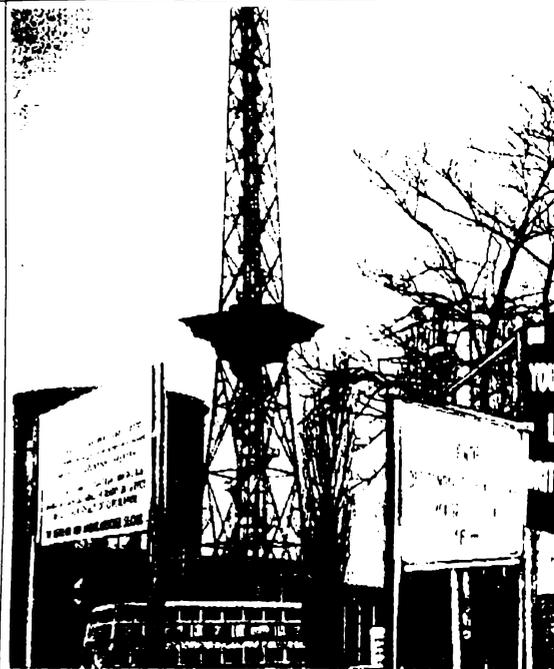
ской стены? Не лежит ли у меня в портфеле готовая рукопись такого романа? Увы, пришлось разочаровать аудиторию. Нет у нас пока что большого романа о Берлинской стене, как нет, кстати, и романов о Великой французской революции или о студенческих волнениях 1968 г. И вполне возможно, что такой роман никогда не будет написан. Подобным историческим событиям писатели-летописцы не нужны — они говорят сами за себя, в форме интервью или рассказов очевидцев, которые публикуются в прессе и передаются по телевидению. И в этих свидетельствах — своя поэзия, та же, что и в листовках, транспарантах, плакатах и лозунгах вроде "Власть — фантазии!" или "Мы — народ!"

Итак, несмотря на то, что Берлинская стена, как и Великая Китайская стена, представляет собой уникальное сооружение, которое можно видеть из космоса, — а может быть, именно в силу этой уникальности, — ее существование не оставило достаточно четкого следа в немецкой литературе. Астронавты, находившиеся на борту "Шаттла", могли видеть стену невооруженным глазом — литературному критику приходится надевать очки и учиться читать между строк: лишь тогда он разглядит тень стены на книжных страницах. Парадоксальная ситуация, однако же она имела свои причины. Берлинцы видят свой Берлин совсем не таким, каким видится этот город, например, англичанину или американцу, автору шпионского романа. Наверное, людям вообще свойственно не замечать чего-то, что изо дня в день стоит у них перед глазами, подобные вещи люди

с осени 1963 года. К середине семидесятых я вполне привык к серой бетонной стене и видел в ней лишь одно — досадное препятствие на пути, когда, объездив пивные в Кройцберге, возвращался под хмельком домой. Дорожная полиция не слишком строго следила за соблюдением правил — зачем же отпугивать туристов? И вот однажды, когда я так ехал, на миг настало прозрение — в свете фар я вдруг словно впервые увидел серую бетонную стену, которая в те годы еще не была испещрена рисунками и надписями. Я протер глаза. Что это, сон или, чего доброго, галлюцинация — вследствие неумеренного употребления алкоголя? Или настал конец света? Только увидев впереди щит с надписью на нескольких языках: "Вы выезжаете из американского сектора" — я снова вернулся в реальный мир. Из-за опьянения на какую-то долю секунды застопорилась работа защитного механизма психики, с помощью которого в сознании происходило вытеснение мысли о существовании стены и абсурд воспринимался как нормальное явление. Алкоголики и наркоманы иной раз обретают дар ясновидения. Спустя миг защитный механизм снова заработал, однако чувство дискомфорта осталось. Прошли годы, прежде чем я стал воспринимать серую бетонную стену так же, как воспринималась она людьми там, по другую сторону, — как стену тюрьмы. Никакого откровения тут не было, однако раньше я всегда с легкостью отмахивался от неприятной мысли, как и большинство моих друзей в Западном Берлине, и происходило это не столько из-за политики, сколько по чисто психологиче-

тели проливали крокодиловы слезы у Бранденбургских ворот во время своих ритуальных посещений Берлина. Но что сделали эти политики и их правительства, чтобы не допустить раздела Европы? Не они ли бросили в беде Венгрию в 1956 году и Чехословакию в августе 1968 года? И в самом деле, разве не явилось гарантией мира тогдашнее status quo, надежное защищенное бетонными плитами? По всей видимости, не было альтернативы политике малых шагов, провозглашенной Вилли Брандтом и основанной на международном признании стены и заграждений из колючей проволоки.

Вот так или примерно так привыкла рассуждать меньшая часть интеллигенции и большая часть всех жителей Западного Берлина, несколько оправившись после шока, который вызвало строительство стены. К тому же и правила въезда и выезда после четырехстороннего соглашения 1972 года приобрели мало-мальски приемлемый вид. Конечно, жизнь в городе, окруженном стеной, имела массу неудобств, но благодаря политике разрядки эти неприятности уменьшились до сносных размеров. Жителям Западного Берлина позволили навещать родственников и друзей в Восточном Берлине, а при особых семейных обсто-



меньше и меньше. По ту сторону бетонной преграды лежала ничья земля, труднодоступная, но не слишком привлекательная, там не удавалось даже с толком истратить деньги, те самые, обмен которых производился в обязательном порядке. Немцы из Западного Берлина предпочитали ездить не в ГДР, до которой было рукой подать, а на Канарские острова, в Грецию, в Париж или Прагу; в Москве и то побывать было проще, чем в Восточном Берлине.

Граждане ГДР находились в совершенно иной ситуации. Покинуть свою страну они не могли — это расценивалось как бегство из республики и каралось исправительными работами, тюремным заключением, если же перебежчик был схвачен in flagranti\*, ему гро-

\* В момент совершения преступления (лат.).

зил смертный приговор. Само слово "стена" было табу, причем цензуре подлежали не только средства массовой информации, но даже и частные разговоры. Функционеры "реально-го" социализма якобы ведать не ведали о реально существующей стене. В официальных выступлениях и сообщениях неизменно говорилось лишь о каком-то "антифашистском оборонительном рубеже" или о "западной государственной границе". "Современные средства обеспечения безопасности" этой границы были самой секретной и самой дорогостоящей строительной программой ГДР, которая поглотила миллиарды марок, не считая расходов по эксплуатации и охране стены.

В целом ситуация сложилась такая: одни люди жили в доме, где любые разговоры о домашних порядках были запретными, оставить свой дом они не имели права под страхом жестокого наказания. Другие люди каждый день ходили по улице мимо этого дома и даже не замечали его обитателей, которые отчаянно подавали им знаки из-за оконных решеток. В конце концов прохожие просто забыли, что это за дом. Грязно-серый бетон раздражал художников -- однажды они его разрисовали, на стене появились окна и двери, цветы и лестницы, политические лозунги, фривольные граффити. В результате стена превратилась в произведение постмодернизма. Бывалые путешественники сравнивали граффити на стене с рисунками в парижском метро и нью-йоркской подземке. Разрисовывать стены и портить фасады не разрешается, однако домоуправ не чинил препятствий художникам: ведь фантастические картины отвлекали внимание от безотрадной действительности, которая была за раскрашенным фасадом.

В этом смысле стена свои функции выполняла исправно. Капиталовложения приносили доход. То, что запрещалось в Восточном Берлине, было табу и в Западном. Политическая реальность разделенного города подлежала идеологической цензуре, в обеих его частях те, кто выступали с критикой status quo, в общественном мнении были окружены загородкой.

Шизофреническая действительность разделенного города нашла свое отражение в литературе. Но здесь обнаруживается еще ряд парадоксов. Тема стены была запретной, но тем не менее, а может быть именно поэтому, стена незримо присутствует в произведениях многих писателей ГДР, даже тогда, когда речь идет о совсем других вещах. Самолет

проносится над домом, дети играют в обнесенном стеной дворе, псы травят кроликов, трескается и взламывается лед на озере, -- подобные сцены в пьесах и кинофильмах, в романах, повестях и рассказах восточные немцы с легкостью расшифровывали и прочитывали скрытый политический намек или иносказание. Авторы же ожидали неприятности с цензурой -- или необойчайно высокие тиражи произведений... Иногда и то и другое. Некоторые писатели даже ухитрились прямо говорить о стене, и это сходило с рук: никто их не запрещал и не высылал на Запад, лишь гражданства ГДР, как это случилось с Вольфом Бирманом, автором-исполнителем песен протеста; в своем сборнике "Арфа из проволоки" он сравнил струны гитары с клоушей проволокой. Так, Клаус Шлезингер в сборнике рассказов под характерным заглавием "Берлинское сновидение" описывает как очень простое и обыденное дело поездку на метро из Восточного Берлина в Западный. В более раннем рассказе, опубликованном, кстати, и в ГДР, Шлезингер писал о строительстве стены иначе -- это ночной кошмар, когда хочешь и никак не можешь проснуться. Такая проза как бы лавировала между тисками политической цензуры и совестью художника, представляла собой своего рода искусство канатоходца, которое не допускает жульничества или головокружения. Но чем закончится такой цирковой номер, до последнего времени никто не мог предсказать, в целом же все действительно походило на бегство в Западный Берлин по проволоке, натянутой высоко над городом.

Цензура орудовала соответственно принципу "разделяй и властвуй", то, что было дозволено именитым авторам, скажем, Кристе Вольф или Хайнеру Мюллеру, для менее известных писателей оборачивалось конфликтами с властью или арестом, даже если для критики подбирались самые осторожные выражения. Когда-то, вступая в высокую должность, Эрих Хонеккер пообещал, что ни в искусстве, ни в литературе больше не будет запретных тем, однако исход критически мыслящей интеллигенции, начавшийся высылкой Вольфа Бирмана, продолжался до самого конца эры Хонеккера. С 1976 года страну покинули не десятки и не сотни писателей -- и сегодня очевидно, что культурная политика коммунистов ГДР была политикой уничтожения культуры.

Многое из того, что было непозволительным в Восточной Германии, было мало прием-

лемым и для Запада. Со временем западногерманская общественность свыклась с разделением Берлина, имя этого города исчезло с первых полос газет, теперь оно появлялось на них лишь в сообщениях о студенческих демонстрациях. Средства массовой информации перестали заниматься проблемой стены -- она интересовала только закоснелую правую прессу, по-прежнему не оставлявшую идеи крестового похода против коммунизма. За исключением немногих западноберлинских литераторов, к которым принадлежит и автор этих строк, никто из писателей не нарушал молчания, не желая прослыть сторонником холодной войны. Нечто подобное наблюдалось и по другую сторону железного занавеса. В ГДР даже те авторы, которые сочувственно относились к целям социализма, считали необходимым держаться в стороне, подальше от косноязычной пропаганды правящей партии. Писателям, как правило, чуждо такое чувство, они гуляют сами по себе -- не в меру рьяные приверженцы режима по обе стороны демаркационной линии оказались в проигрыше и утратили свой престиж.

Примером неконформизма интеллигенции может служить позиция Гюнтера Грасса. Он никогда не шел на уступки идеологии сталинизма и вместе с тем выступал с беспощадной критикой в адрес близоуких политиков Бонна и Вашингтона, не щадил Грасс и более приемлемую для него политику СДПГ и своего друга Вилли Брандта. В ГДР же не только партийные стихотворцы, например Стефан Херmlin, в пятидесятых годах писавший гимны во славу Сталина, но и критически мыслящие писатели, та же Криста Вольф, тот же Хайнер Мюллер, хотя и отдалялись порой от руководящей линии, но до последнего времени все еще искали оправданий "реальному" социализму.

До сих пор мы говорили о политической позиции писателей в общественной жизни. А какое место занимала проблема стены в их творчестве? Здесь следует упомянуть молодых авторов, Петера Шнайдера, для которого разделение Берлина -- драма абсурда ("Прыжок через стену"), и Ульриха Пленцдорфа, чей герой, двойник гетевского Вертера, кончает жизнь самоубийством в Восточном Берлине. Но если выделим творчество Уве Йонсона. Он родился в 1934 году в Померании, уехал из ГДР еще до сооружения стены, скончался в 1984 году недалеко от Лондона. Уве Йонсон вошел в историю литературы как со-

здатель исторической хроники раздела Германии. Его творчество -- начиная с романа "Третья книга об Ахиме" и кончая тетралогией "Годовщины" -- представляет собой эпическую летопись холодной войны, от падения фашистского рейха в мае 1945 года и до ввода советских войск в Прагу 21 августа 1968 года. Центральный вопрос в творчестве Уве Йонсона -- это вопрос коренной для всей послевоенной немецкой литературы, главной темой которой является анализ нацистского прошлого Германии, вопрос о личной и коллективной вине, вопрос: "Как такое могло случиться?" Уве Йонсон избегает скороспелых обобщений и расхожих языковых штампов, не доверяется тусклой оптике воспоминаний. Метод писателя схож с трудами археолога, который вновь и вновь подвергает проверке полученные результаты и таким образом шаг за шагом восстанавливает картину прошлого.

В той же традиции критического подхода к слову, которую мы наблюдаем в творчестве Уве Йонсона, пишет и высланный из ГДР в 1977 году Ханс Иоахим Шедлих. В сборнике рассказов "Попытка сближения" ("Versuchte Nahe") и "Восточно-Западный Берлин" ("Ostwestberlin") он обращается к белым пятнам в новейшей истории Германии. В историческом романе о прусском полицейском агенте по имени Тальховер ("Тальховер") Шедлих показал, что казарменное полицейское государство непрерывно существовало в Германии с 1848 года и до года основания ГДР. В творчестве Йонсона и Шедлиха превосходно выступает исторический фон -- тот фон, на котором только и возможна реалистическая оценка как моментов риска, так и шансов на воссоединение Германии.

Май 1990 г.

**В** недавнем вышедшем путеводителе по Ленинграду есть адрес плавательного бассейна "Водник", что на Невском проспекте, д. 22-24. Можете искупаться – если захотите. Пришедший сюда любитель плавания будет немало удивлен: оказывается, вход в бассейн представляет собой не что иное, как обрамленный колоннами портал здания бывшей церкви с двумя неороманскими бан-

на уверил нас, что горсоветом принято решение о возвращении церковным общинам храмов, расположенных на Невском проспекте. Но малочисленная лютеранская община, объединяющая в основном пожилых людей, не в состоянии сохранить и тем более реставрировать сильно пострадавшее от сырости здание церкви св. Петра. И все же осенью 1990 года был создан опекунский совет храма, в который вошли представители различных организаций. Совет ведет просветительскую работу, распростра-

цифры: 1720-1915-1958: годы постройки и позднейших перестроек.

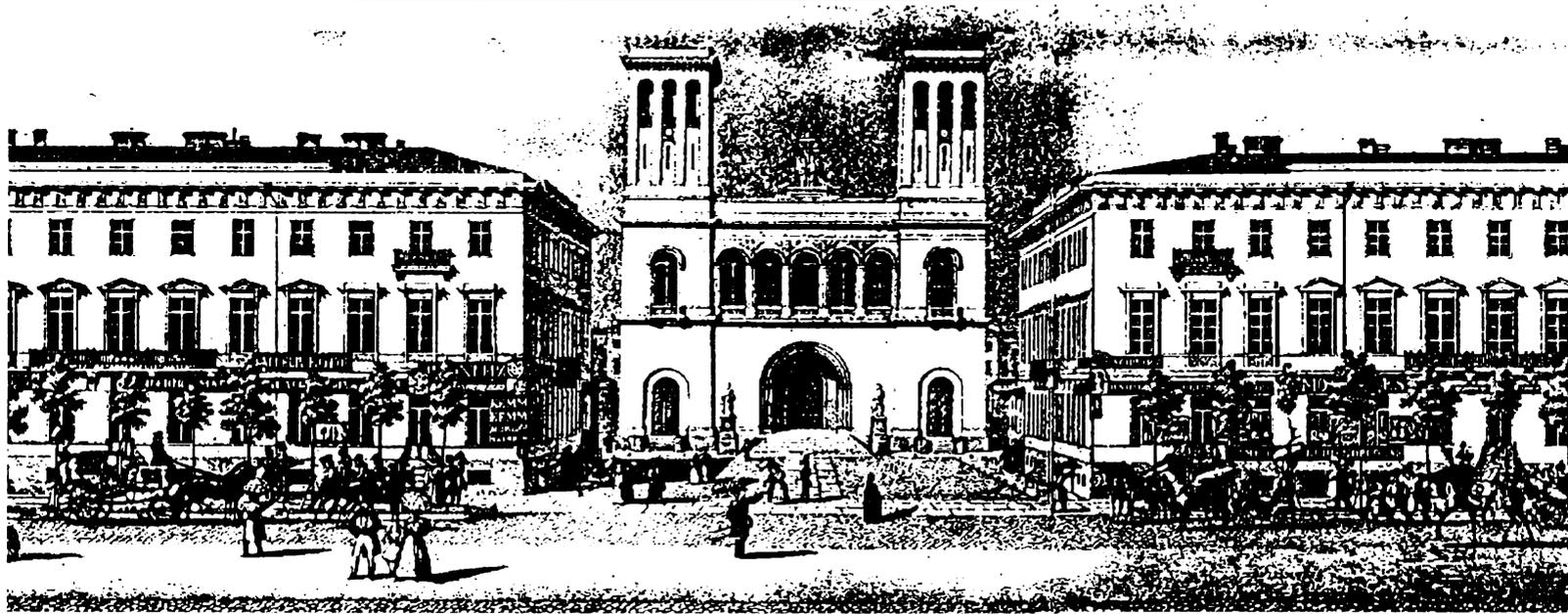
Михаил Салтыков-Щедрин – писатель радикального направления, который, впрочем, не стеснялся получать от самодержца недурное жалованье, будучи вице-губернатором Твери и Казани. Его имя носит улица, начинающаяся недалеко от здания КГБ и идущая мимо кинотеатра "Спартак", бывшей церкви. Юрий Фельтен, немецкий архитектор, которому, между прочим, Санкт-Петербургу обязан свои-

## Майнрад фон Ау

Анненшуле. Согласно доске над входом, сейчас здесь школа №239. Раньше, до 1924 года над входом был девиз: "Timor dei initium sapientiae" – "Страх Божий – начало мудрости". В здании шел ремонт, поэтому войти в актовый зал нам не удалось, его двери были заставлены лицами с материалом

# ДЛЯ КУПАНЬЯ – В ХРАМ!

Дома – свидетели истории: по старым немецким адресам Петербурга



ниями. "Памятник архитектуры, охраняется государством" – скупко сообщает нам доска на его стене. А ведь это здание немецкой лютеранской церкви св. Петра, старинного храма с богатыми традициями. В нынешнем виде он был построен в 1832-1838 г.г. по проекту Александра Брюллова.

Сегодня "не работают" ни церкви, ни бассейн. Церковь закрыта в 1930 году, в бассейне стоит вода, отчего здание разрушается день ото дня все больше. Там, где когда-то был алтарь, воздвигнута десятиметровая вышка для прыжков в воду, в боковых нефах – места для зрителей и болельщиков. Убранство церкви уничтожено, настенная живопись закрашена, орган куда-то увезен в 60-е годы, когда здесь устроили плавательный бассейн. Лишь алтарной картиной кисти Брюллова повезло, она попала в Русский музей.

В Ленинграде мы познакомились с г-ном Райна, церковным старостой церкви св. Серафима и в то же время депутатом городского совета. Г-н Рай-

ня знания об этом памятнике архитектуры, и ищет возможности и средства для его реставрации.

До Октября 1917 года в российской столице было четыре евангелических общины – три лютеранских и одна реформатская. Их поддерживали зажиточные немецкие купцы, чиновники и ремесленники, а было их тогда в Петербурге немало. Каждая община имела сиротский приют, школу, гимназию, девичий институт. В 1914 году в немецких церковных школах обучались пять тысяч детей, имелись, кроме того, частные немецкие школы и гимназии. Дома, расположенные поблизости от храмов, были собственностью церковных общин, арендная и квартирная плата материально обеспечивала церкви. За церковью св. Петра на участке между Большой и Малой Кошпенными улицами находится здание школы Петершуле, некогда составлявшей гордость петербургских немцев. Сейчас здесь школа №222. На фронтоном пятиэтажного здания

ми набережными из финского гранита, построил здесь в 1771-1780 годах церковь святой Анны. Земельный участок, где она стоит, когда-то подарил лютеранской общине Петр I, повелев выстроить здесь первую в городе немецкую церковь. Бирюзово-голубые стены здания в позднеклассическом стиле прекрасно отремонтированы, классические гирлянды окружают даже надписи: кинотеатр "Спартак". Но внутри этот архитектурный шедевр разграблен, от церковного убранства ничего не осталось. Стены увешаны плакатами и фотографиями из фильмов тех времен, когда в "Спартаке" разрешалось крутить только фильмы о светлом будущем да героико-патриотические ленты. Куда ни глянь – всюду Ленин: на фотографии, в гипсовой скульптуре или же в актерском воплощении. У входа женщины продают билеты и торгуют за прилавком, который почти целиком занимают – нет, не товары, а допотопные весы. Рядом с церковью св. Анны – здание основанной в 1736 году

и инструментами. Когда-то в дни школьных праздников в этом зале игрались пьесы Гете и Шиллера. После Октябрьской революции учителя, учащиеся и их родители привели в порядок запущенное и обветшавшее здание, и, несмотря на холод, голод и отсутствие электрического освещения, уроки возобновились. Недоверчивая государственная власть для надзора над учебным процессом учредила совет, в который вошли 24 фабричные работницы. В 1922 году у детей появились назначенные по приказу свыше шефы – одна из частей ГПУ. Предполагалось, что солдаты будут воспитывать детей в пролетарском духе, а те, со своей стороны, будут способствовать духовному развитию шефов. Со смешанными чувствами водили учителя девочек на танцы в казарму ГПУ, находившуюся поблизости от Анненшуле. Годом позже школу закрыли.

Морская, ныне улица Герцена. Она пересекает Исаакиевскую площадь с Исаакиевским собором и Марининым

дворцом и ведет к набережной Мойки. Ближе к концу улицы стояла немецкая реформатская церковь, теперь ее здание перестроено, в нем находится Дом культуры работников связи. На углу Морской и Исаакиевской площади возвышается здание Германского посольства, построенное архитектором Петером Беренсом в 1911-1912 годах. Это один из виднейших памятников эпохи прорыва в архитектуру модерна XX века. Здание посольства достойно завершило монументальный ансамбль петербургской площади. В наши дни нет, правда, скульптур на крыше, прежде венчавших здание посольства. В 1914 году, когда разразилась война с Германией, они были сброшены разъяренной толпой. Эмблема "Интуриста", нынешнего хозяина дома, едва ли может служить достойной заменой. Немного дальше по улице Герцена тихо дремлет в тени деревьев здание бывшего представительства Баварии. После 1871 года оно заняло сном спящей красавицы – ведь с этого времени в политике и дипломатии тон задавала Германская империя. Позже, с гибелью монархий, баварское представительство и вовсе оказалось не у дел.

На другом берегу Мойки на Пироговской улице стоит дом союза "Пальма". Вот где жизнь кипела – в этом доме часто собирались и весело проводили время петербургские немцы. Здание в форме подковы и сегодня выделяется среди однообразных фасадов своими стройными пропорциями и свежепокрашенными желтыми стенами. Безупречное состояние дома объясняется просто – на фасаде укреплен мраморный камень, сообщающий, что здесь в декабре 1917 года на Первом Всероссийском съезде военного флота выступил В.И. Ленин. На наш звонок открыла старушка-пенсионерка, она показала нам здание "Пальмы", с трудом передвигаясь на костылях, какими пользовались, должно быть, еще инвалиды первой мировой войны. Внутри дома не было и подобия той заботы и ухода, которых удостоился в память о Ленине парадный фасад. Можно было подумать, будто ходишь по зданию, предназначенному на снос. Штукатурка осыпалась, двери, уцелевшие со времен постройки, не закрывались, пол во многих местах был кое-как залатан.

Изредка можно кое-где обнаружить выложенные мозаикой инициалы "AR". Высокий зал, где устраивались концерты и спектакли, не был предоставлен для праздников рабочему классу. Его разгородили грубы-

ми дощатыми переборками и оборудовали в клетушках рабочие места чертежников-конструкторов, – в доме "Пальмы" находится одно из конструкторских бюро Военно-Морского флота. На потолке – желтые пятна, очевидно, протекает крыша, сквозь грязно-серую дерюгу на полу проступает рисунок паркета. Две огромные люстры из латуни и богемского стекла провисели в зале добрую сотню лет, но теперь они тут ни к чему, ведь конструкторы во время работы пользуются лампами дневного света.

Дом "Пальмы" далеко не последнее здание Невской столы, исторически связанное с жизнью петербургских немцев. На Васильевском острове было две немецкие больницы и лютеранская церковь св. Екатерины, занимаемая сегодня студией звукозаписи государственной фирмы "Мелодия". Была в Петербурге и евангелическая больница, где за больными ходили дьяконицы, сегодня в ее здании туберкулезный институт. О бедняках, сырых и убогих пеклись немецкое благотворительное общество, приют для бедных и Обитель св.Эммануила для идиотов и эпилептиков. Как видно, никого не пугало ее откровенное название.

Много было немецких лавок, фирм, приемных докторов-немцев на аристократическом Невском. Их список открывает дом под номером 1. Здесь находились фирма "Артур Коппель, строительство железных дорог" (сегодняшнее имя фирмы – "Оренштайн и Коппель"), оптика Рихтера и фотография Бургера. В доме 7 немец Боллин занимался наймом гувернанток и бонн для семей высшего круга. В доме 20 Излер держал немецкую библиотеку, в доме 88 был прокат роялей и пианино, заведение Газенфуса. В доме 20 находилась редакция газеты "Санкт-Петербургер Цайтунг", одного из девяти выходивших тогда немецких периодических изданий. Дом 54 занимал магазин богемского хрусталя графа Гарраха. В доме 60 был магазин парикмахера Шумана, в доме 76 – мастерская бандажных изделий Гербера.

Сегодня, спустя 70 лет, на Невском вновь открылось немецкое предприятие, это совместное советско-германское бистро "Невский, 40". Немецкая реклама "Ешь, пей, веселись!", помещенная на фасаде дома, доступного лишь тем, у кого есть валюта, при том, что полки продовольственных магазинов города пусты, никак не может свидетельствовать о такте и деликатности хозяев нового предприятия.

**СОКРАТ:** Куда так спешно?

**ФРЕД:** На теннис!

**СОКРАТ:** А где же ты играешь?

**ФРЕД:** В лучшем клубе города, разумеется.

**СОКРАТ:** Тебе известно, стало быть, какой из них самый лучший?

**ФРЕД:** Конечно.

**СОКРАТ:** Мне это интересно. Я задавал себе напрасный вопрос относительно многих вещей, что именно в них позволяет им считаться хорошими. Счастлив, что нашел человека, которому это известно, хотя бы по теннису. Значит, можно спросить?

**ФРЕД:** Пожалуйста.

**СОКРАТ:** Скажи, почему твой клуб самый лучший?

**ФРЕД:** Потому что там обзаводишься самыми лучшими связями.

**СОКРАТ:** Какими связями? Для игры в теннис?

**ФРЕД:** Да нет, вообще связями.

**СОКРАТ:** Но скажи мне, разве ты ходишь в теннисный клуб не для того, чтобы играть в теннис?

**ФРЕД:** Конечно, и играть тоже.

**СОКРАТ:** В таком случае ответь мне, пожалуйста, почему твой клуб для твоей игры в теннис самый лучший?

**ФРЕД:** Потому что там лучшие игроки.

**СОКРАТ:** Это убедительный ответ. И тем не менее: а что, дружище, если все игроки там лучше тебя? Ты хоть однажды в жизни видел, чтобы лучшие игроки вдруг захотели сыграть с худшими?

**ФРЕД:** Нет, конечно.

**СОКРАТ:** Быть может, в таком случае разумнее посещать клуб, в котором игроки похуже тебя?

**ФРЕД:** На первый взгляд, это так. Но при таком подходе ничему не научишься.

**СОКРАТ:** Это верно. Итак, самое лучшее, пожалуй, посещать клуб, игроки которого равны тебе по силе.

**ФРЕД:** Очевидно.

**СОКРАТ:** Но что значит – равны? Они сами так думают или таковыми являются, хотя себя считают и лучше тебя?

**ФРЕД:** Сами так думают и таковыми являются, потому что другие при таком подходе опять-таки не стали бы играть со мной.

**СОКРАТ:** Боже мой, что ты такое говоришь? Ты разве когда-нибудь встречал, чтобы некто, кто по силе является равным кому-то, не считал бы, что он лучше?

**ФРЕД:** Это верно.

**СОКРАТ:** Такой игрок, следовательно, с тобой играть не захочет. С кем же ты, в таком случае, станешь играть, если те, кто по силе тебе равны, считают, что для тебя они слишком хороши?

**ФРЕД:** С более слабыми, которые считают, что они мне равны.

**СОКРАТ:** Но, в таком случае, ты опять-таки ничему не научишься. И кроме того, когда они заметят, что они похуже тебя, они уж никак не будут стремиться к тому, чтобы играть с тобой, потому что им ведь хочется, чтобы их считали равными по силе.

**ФРЕД:** Разумеется.

**СОКРАТ:** Следовательно, дорогой мой, твой клуб лучший не благодаря игрокам.

**ФРЕД:** Но ведь имеются списки спортсменов и отборочные игры, которые все ставят на свое место.

**СОКРАТ:** Ты разве не замечал, что подобные соревнования сеют раздоры и что проигравший всегда считает, что виноват случай или судья, а выигравший, напротив, не больно стремится сыграть повторную игру?

**ФРЕД:** Это так, но в клубе ведь имеется тренер.

**СОКРАТ:** Вот как. Значит, ты считаешь, что тот клуб является лучшим, в котором главную роль играет тренер?

**ФРЕД:** Да.

**СОКРАТ:** Ну, а если тренер ошибается?

**ФРЕД:** Я, конечно, имею в виду тот клуб, в котором лучший тренер.

**СОКРАТ:** Что же ты понимаешь под "лучшим тренером"?

**ФРЕД:** Ну, тот, который дает лучшие уроки.

**СОКРАТ:** Но что толку будет тебе от этих уроков, когда тренер себя исчерпает? Неужели ты думаешь, что он станет потом искать игроков, которым ты продемонстрируешь свои успехи?

**ФРЕД:** Конечно, это дело тренера, ведь это он составляет должным образом список спортсменов.

**СОКРАТ:** Обоже! Дружище, чем больше ты все мне объясняешь, тем более запутанным для меня становится это дело. Пожалуйста, не сердись, но объясни все же; что значит — "должным образом" составленный список спортсменов.

**ФРЕД:** Что ты имеешь в виду?

**СОКРАТ:** Я имею в виду следующее: "должным образом" составленный список спортсменов — это когда лучший игрок на первом месте, а худший игрок стоит на последнем месте?

**ФРЕД:** Именно так.

**СОКРАТ:** Но откуда это может быть известно, кто из спортсменов лучший, а кто самый худший, если не проводились отборочные соревнования?

**ФРЕД:** Это говорит тренер.

**СОКРАТ:** А ему это откуда известно?

**ФРЕД:** Ну, это-то он знает.

**СОКРАТ:** Но разве ты еще не слышал, что некоторые умные тренеры составляют не такие списки, о которых мы говорим, а списки, которые они называют тактическими?

**ФРЕД:** Слышал.

**СОКРАТ:** И если в таком списке более слабый игрок стоит впереди более сильного, не кажется ли тебе, что в таком случае более слабый будет всеми силами стараться избежать каких-либо соревнований?

**ФРЕД:** Очевидно.

**СОКРАТ:** "Умный" список спортсменов не стимулирует, стало быть, серьезные соревнования и, значит, вредит самому спорту.

**ФРЕД:** Кажется, это так.

**СОКРАТ:** Разве в таком случае не лучше иметь клуб, в котором вообще не проводить никаких серьезных соревнований, а просто тренироваться?

**ФРЕД:** Вроде бы так.

**СОКРАТ:** И ты всерьез думаешь, что это могло бы помочь? Ты думаешь, что просто тренировки никто "оценивать" не стал бы, хотя бы в раздевалках?

**ФРЕД:** Тут ты прав.

**СОКРАТ:** Самым лучшим клубом был бы в таком случае, возможно, такой, где вообще не играют.

**ФРЕД:** Ну это ты уж слишком. А зачем же тогда здесь тренер?

**СОКРАТ:** А кто, собственно, является лучшим тренером? Хотя ты только что

ответил: тот, который дает лучшие уроки. Что имеется в виду? Тот, чьи уроки считают лучшими, или тот, чьи уроки в самом деле лучшие?

**ФРЕД:** Тот, чьи уроки считаются лучшими и которые таковыми и являются.

**СОКРАТ:** Но кто так считает? Спортивный комитет? Или председатель? Или кто?

**ФРЕД:** Я, право, не знаю.

**СОКРАТ:** Я бы предположил, что те, с которыми тренер играет. Потому что они-то знают, какие он дает уроки.

**ФРЕД:** Пожалуй, можно думать и так.

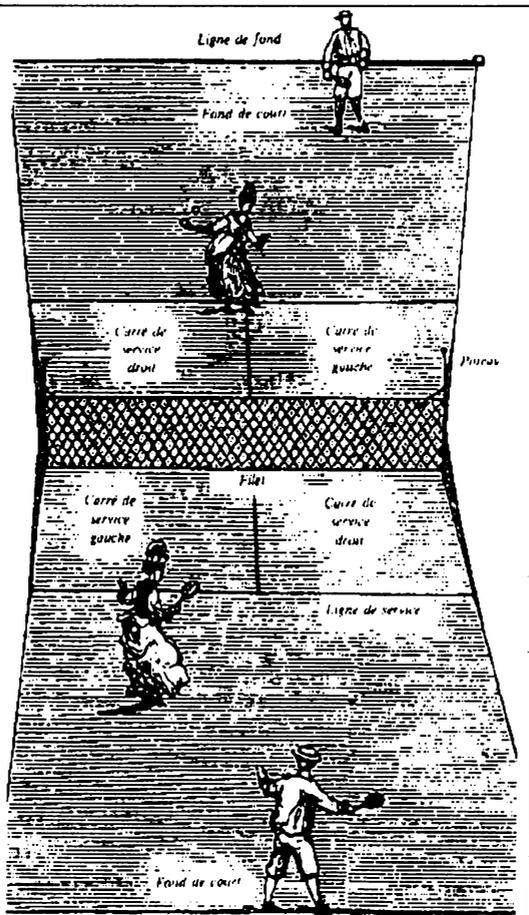
**СОКРАТ:** Но разве тренер играет с каждым одинаково? Он что, просто машина?

**ФРЕД:** Нет, когда ему кажется, что поста-

# СКАЖИ МНЕ,

## ПОЧЕМУ ТВОЙ ТЕННИСНЫЙ КЛУБ САМЫЙ ЛУЧШИЙ?

Диалог в духе Сократа



раться стоит, он дает более хорошие уроки.

**СОКРАТ:** "Более хорошие уроки", что ты понимаешь под этим?

**ФРЕД:** Ну то, что он, например, во время урока занят только делом, а не флиртует где-нибудь по соседству с девицами.

**СОКРАТ:** А ты полагаешь, что он флиртует поменьше, если играет сам с симпатичной девицей?

## Ханс Георг Гадамер

**ФРЕД:** Да нет, и здесь ты прав.

**СОКРАТ:** Самым лучшим тренером, стало быть, является тот, кто дает лучшие уроки девицам?

**ФРЕД:** Кажется, так.

**СОКРАТ:** Да, но подумай-ка. Ты что же, всерьез веришь, что тренер берет на работу ради девишек?

**ФРЕД:** Нет.

**СОКРАТ:** А кто, собственно говоря, принимает его на работу? Тебе

не кажется, что это те, кто пользуется в клубе самым большим влиянием?

**ФРЕД:** Конечно. Те, у кого толстый кошелек. Значит, прежде всего старейшины.

**СОКРАТ:** Несомненно. Следовательно, лучшим тренером можно было бы считать такого, который больше всего старается, играя со старейшинами?

**ФРЕД:** Право, даже не знаю.

**СОКРАТ:** Вот видишь, все не так просто. А кроме того, тренер — он ведь такой же человек, как все. Возможно, и в его случае все решает, не какой он сам, а какая у него жена?

**ФРЕД:** Такое вполне может быть. Я слышал, что один совершенно выдающийся тренер никак не мог добиться успеха, потому что его жена совсем не нравилась людям.

**СОКРАТ:** Вот видишь, как оно бывает. И так всегда. Даже когда речь идет о стороже спортплощадки. Кажется, этот конфликт неразрешим: если сторож в порядке, то никуда не годится его жена, а если жена симпатяга, то сторож обыкновенный бездельник. Разве не так?

**ФРЕД:** Да, кажется, это так.

**СОКРАТ:** И снова у меня вопрос: кто же, собственно, хороший сторож спортплощадки?

**ФРЕД:** Ну, это очень просто: тот, кто содержит спортплощадки в порядке.

**СОКРАТ:** Но ведь лучше всего спортплощадки сохраняются, если ими вообще не пользоваться?

**ФРЕД:** Разумеется.

**СОКРАТ:** Стало быть, лучшим сторожем является тот, кто большинство площадок закрывает или держит их закрытыми?

**ФРЕД:** Но разве он имеет право так поступать?

**СОКРАТ:** Но ведь площадки всегда то слишком мокрые, то слишком сухие. Или закрыты в связи с подготовкой к очередным соревнованиям. *Какая-нибудь* причина всегда найдется. И, следовательно, клуб, в котором большинство площадок закрыты, можно считать лучшим?

**ФРЕД:** Нет, я так не думаю.

**СОКРАТ:** Ну тогда скажи мне, наконец, какой клуб является самым лучшим. У меня в голове полная сумятица. Не тот, где обзаводишься лучшими связями, не тот, в котором лучшие игроки, не тот, в котором лучший тренер, и не тот, в кото-

ром лучший сторож спортплощадок. Какой же?

**ФРЕД:** Возможно, тот, в котором лучший председатель.

**СОКРАТ:** Возможно. Но скажи мне, кто, по твоему, – лучший председатель? Тот, которого все боятся и кто всех в кулаке держит, так что никто и пикнуть и проиграть в соревнованиях не посмеет? Или тот, кого вообще не замечают?

**ФРЕД:** Мне кажется, тот, которого вообще не замечают.

**СОКРАТ:** Но скажи мне, зачем он в таком случае вообще нужен?

**ФРЕД:** Возможно, его замечают тогда, когда его нет на месте.

**СОКРАТ:** Сейчас ты сказал нечто умное. Но у меня все равно остаются сомнения. Если замечают, что его нет на месте, значит, он незаменим, а ты думаешь, что он сам об этом не знает.

**ФРЕД:** Знает, конечно.

**СОКРАТ:** Ну а если кто-то знает, что он незаменим, он ведь обязательно воспользуется своей властью? Или ты видел, что это бывает иначе?

**ФРЕД:** Нет, не видел.

**СОКРАТ:** Стало быть, лучшим председателем является тот, который хотя и заметен, но не очень.

**ФРЕД:** Да, возможно, так.

**СОКРАТ:** А, возможно, более важным, чем председатель, является спорткомитет?

**ФРЕД:** Да, и комитет по увеселениям.

**СОКРАТ:** Почему именно он?

**ФРЕД:** Потому что клуб следует посещать для развлечения.

**СОКРАТ:** Разумеется, это верно. Но, скажи на милость, в чем, собственно, состоит развлечение в клубе? Не кажется ли тебе, что в глазах большинства лучшим является тот, который посещают самые симпатичные девушки и в котором можно отлично потанцевать, да и выпить как следует? И что, ты всерьез веришь, что лучше всего готов к соревнованию, если накапуни как следует повеселился?

**ФРЕД:** Не совсем так. Но иногда ведь это как бы вырок. Потому что если проиграться, то уже будет не до веселья, а сверх того, у тебя в руках в таком случае прекрасная отговорка.

**СОКРАТ:** Итак, в конечном итоге ты считаешь, что лучшим клубом является тот, в котором до и после игры происходят какие-либо события.

**ФРЕД:** Да, вот теперь ты высказал мою сокровенную мысль.

**СОКРАТ:** Но мы ведь вроде бы согласились с тем, что в теннисный клуб ходят ради игры в теннис?

**ФРЕД:** Да, мы так сказали.

**СОКРАТ:** Мне как-то кто-то рассказывал о каком-то клубе, забыл, где это было. Там все было по-другому. Человек поведал об этом клубе следующее: "Когда я впервые пришел в клуб, то увидел там человека, который очень хорошо играл. Но играл он не на первой площадке. Я спросил, кто это. Мне сказали, что это чемпион клуба. Я спросил, с кем он играет. Да так, с игроком из второго состава. Что, в самом деле? – спросил я и задумался. А когда немного осмотрелся в клубе, то мне показалось, что я попал в мир абсурда. А стоило мне в клуб вступить, как тотчас назначили дюжину игр, чтобы выяснить, как я играю. И тренер тоже частенько присутствовал на играх, и после каждой игры предлагал новых партнеров. Я сам видел, как он, кроме своих обязательных уроков, руко-

водил еще подготовкой всей команды. Он следил за всем очень внимательно, давал тактические советы, учил правильно подавать, комбинировал пары, и, представляешь себе, он делал это даже со вторым составом женской команды..."

**ФРЕД (перебивает):** Ну, это уж совсем невероятно! Мне казалось, что тренер по возможности избегает второго состава, я уже не говорю о втором составе женской команды.

**СОКРАТ:** Но послушай дальше, это ведь совсем еще не все. Человек рассказал далее: "Раньше я думал, что молодые люди играют старыми мячами, а старые господа играют новыми мячами. Здесь же, напротив, юниоры в подарок получали от старших товарищей почти не использованные мячи. И постоянно проводились серьезные отборочные состязания, также и среди юниоров. А когда кто-нибудь играл, то он в качестве зрителей не приводил с собой целую банду своих друзей. И в критических ситуациях он не стремился все свалить на противника. Он не утверждал ни с того ни с сего, что противник неправильно считает или что мяч был вне игры. И если, несмотря на все то, что он не делал, он все-таки выигрывал, представляешь себе, он первый спрашивал, когда проигравший хочет отыграться, и, как только противник устанавливал такой срок, они тотчас приступали к игре. Кроме того, происходило еще много интересного. Шестидесятилетние проводили свой собственный турнир. И, подумай только, они так старались при этом, что всегда справлялись со своим соперником первыми. Никто не увиливал, никто не жеманился, а каждый готов был играть в любую минуту".

**ФРЕД (перебивает):** В самом деле? Разве старые господа не такие люди, как мы?

**СОКРАТ:** Я, собственно, не задумывался. Возможно, все они полубоги. И он рассказал дальше: "Иногда я словно во сне. И в этом вся прелесть спорта, и прежде всего – теннисного спорта, где отвечаешь только за самого себя, – прелесть именно в том, что борешься против кого-то, с ним не сближаясь, не причиняя друг другу никакой боли и, конечно же, не испытывая друг к другу никакой вражды. Предвижу времена, в которые миру потребуются нечто подобное. Все больше отдельных лиц и целых групп слепо борются за свое собственное существование, вообще не замечая других – даже своих врагов. Спортивное состязание здесь – словно воспитание солидарности. В конце концов вообще больше не будет никаких клубов, которые бы не предполагали радости игры. Именно в теннисе я усматриваю рост всемирной активности людей. Не только потому, что приходят энергичные игроки из всех слоев общества. Теннисная площадка имеет к тому же то преимущество, что ее собственные размеры великолепно поддаются охвату размерами телевизионного экрана. Поэтому я верю, что в конце концов придут миллионы, которые будут следить за этими состязаниями с искренним участием, они заразятся теннисом. Ибо перед ними разыгрывается борьба, которую мы все знаем по самим себе, в которой самосознание начинает колебаться и проигрывает, а другое самосознание учит, как собраться, и побеждает. И млад и стар будут брать пример с такого состязания, и в воспитанности или невоспитанности своих любимцев они будут узнавать соб-

ственное колебание и победоносную стойкость. И если они действительно будут при этом, то самосознание своих друзей подкрепят овациями, и, несмотря на это, они научатся безупречному поведению – аплодировать мастерству и везению другого. Они научатся понимать, что не стоит мешать игрокам своими аплодисментами, пока игра не закончена. Они не станут аплодировать двойной ошибке другого, а в случае, если мяч заденет сетку, они не станут неистовствовать. При споре с игроками, с судьями на линии или арбитрами они станут желать спорящим сторонам, чтобы те, как бы они ни болели за игру, не забывали, что ошибаться – это так по-человечески и что ошибаются и они сами. Иной в душе хотел бы стать Борисом или Штеффи, и все же мы знаем, что именно спорт дарует всем нам прекрасные часы истинного самозабвения. Выступая за самого себя и бываясь вознагражден победой, которая воодушевляет, а в случае проигрыша учишься не вешать нос. Разве этого не достаточно, чтобы видеть и познавать себя таковым – как в игре? Или это мои фантазии?"

## Кто читает "Lettre internationale" в Европе?

Результаты опроса 1991 года  
(некоторое время тому назад)

Немецкая редакция *Lettre internationale* недавно провела опрос читателей, и, может быть, вас заинтересуют его результаты: 70% читателей – люди моложе сорока лет (40% моложе тридцати), у 55% есть высшее образование; 44% живут в городах с населением более 500 000 жителей; лишь 15% зарабатывают от 12 до 16 тысяч франков и 12% более 16 тысяч франков против 52% с доходом менее 8 тысяч франков; 56% читают *Lettre internationale* в поезде, 20% в самолете, 50% во время отпуска и по выходным, 20% во время деловых поездок.

17% читателей прочитывают журнал полностью, 27% читают от одиннадцати до двадцати материалов, 36% от пяти до десяти.

Из них 97% считают, что чтение *Lettre internationale* требует напряжения; по мнению 69% читателей это прекрасный журнал; 89% находят его космополитичным, 86% информативным, 91% расширяющим кругозор.

Из них 57% считают *Lettre internationale* "европейским", или "международным" журналом, а 68% авангардным.

91% читателей полагают, что *Lettre internationale* стоит своей цены.

99% читателей читают книги; из них 49% считают себя творческими читателями, 60% любят музыку, 41% кино, 97% страстные читатели, 66% служащие, 20% студенты, 81% покупает дорогие книги.

27% читателей являются обладателями кредитных карточек, 30% компьютеров, 13% дорогих компьютеров, 18% пьют крепкие алкогольные напитки, 88% вино, 43% шампанское.

Надтреснутое рондо

*Я не хочу, чтобы моя взяла:  
Ущербна и дареная победа,  
И вырванная в драке... Вот от бреда  
Передохнуть и взяться за дела  
Хотелось бы. Но наша не взяла.*

*Мне жалко победителей всегда.  
Пуškai грезит убожество их пира,  
Выигрывает лишь хозяин тира,  
А посетитель целит не туда...  
Но мы не победили, господа.*

*Не победили и не проиграли,  
И непонятно, как сюда попали  
Все те, кто не стрелок и не лишень...  
Фигурки ставят, музыка играет  
Развязная, и тихо умирает  
За ржавой стенкой петербургский день.*

*Ты не стрелок и не лишень -- покуда.  
В свидетели наменного чуда  
Тебя позвали -- вышла дребедень.  
Но фокусника жалко: он старался,  
Он деньги брал вперед, и вот! -- сорвался,  
И пьжкится, и не уходит в тень.*

*Заврался, может? Но с него по счету  
Спросить и жаль, и, в общем, неохота.  
Покамест не стреляют по толпе,  
Пошли отсюда, да, пошли отсюда.  
Среди чиновного и злого люда,  
Как привиденья, равные себе.*

*Мы не поедем в Царское Село,  
Мы не узнаем золотой латыни,  
Ни тамарисков, ни прогретой сини...  
Пока над Летой не блеснет весло,  
Мы не поедем в Царское Село.*

\*\*\*

*Живем в пыли, в неверном свете  
И верность пугаем с привычкой --  
Такие преданные дети  
Садистки и алкоголички.*

*Родителей не выбирают,  
Родителей не предают...  
А если дети -- вымирают,  
Ну что ж, кладбищенский уют.*

*Стоит от века над Россией,  
Чьи очи -- телная вода.  
Малина, лесиво, мессия  
И птица-тройка в никуда.*

*А в жизни -- ходики с кукушкой:  
Разгул и гробовая тишь.  
И вновь ты пьяной побиружкой  
У входа в Азию стоишь.*

*А мы ведем себя достойно,  
А мы с тебя снимаем вишей,  
Покуда в кураже запойно  
Ты нас не выгнала взащей.*

*И верил в то, что к нам с любовью  
Склонится плачущая мать,  
И белый тюль у изголовья,  
Как парус, будет отплывать.*

дали. Осуждалась также и курдская проблема. Особое впечатление произвело выступление сербского писателя в изгнании Райко Джурича, который был вынужден эмигрировать в Западный Берлин, так как жизнь его и его семьи стала подвергаться опасности после того, как он выступил с осуждением политики своего правительства. Добавляла напряженности и одновременная с Конгрессом Конференция по Ближнему Востоку в Гааге, но уже одно то, что ни в Гааге, ни в Вене не взрывались бомбы, надо считать достижением...

Преимущественное наше внимание было сосредоточено на важнейшей, как мы полагаем, стороне деятельности ПЕН-клуба, связанной с защитой писателей-заключенных. Если в каждом отдельном случае усилила специального Комитета ПЕНа по этой проблеме не всегда приводит к немедленным результатам, то уже одной своей неотступностью

## ВЕНСКИЙ КОНГРЕСС МЕЖДУНАРОДНОГО ПЕН-КЛУБА

Аксенов. Хотя выступление нобелевского лауреата, читавшего стихи сначала на английском языке, потом на русском, было назначено на 9 утра ("такое может быть только в Вене"), оно было, несомненно, пиком литературной программы всего Конгресса. Я наблюдал, как после чтения поэта обступили собиратели автографов, благо в холле продавалось шесть его книг, вышедших в немецких переводах в издательстве "Фишер" (между прочим, четыре из них по-русски не издавались). Те же, кто протягивали для автографа клочок бумаги, получали ответ: "Я не футболист и не кинозвезда, я надписываю только книги..." Тогда же Бродский дал интервью австрийскому радио и телевидению, несколько шокировав слушателей своей симпатией к Австро-Венгрии Габсбургов. Между прочим, именно в Вену поэт прилетел, когда был изгнан из России в 1972 году, и с тех пор больше никогда здесь не бывал. На следующий день Бродский выступил перед студентами-славистами в Университете, где выступал и в первый свой приезд. Те, кто слышали его тогда, почти 20 лет назад, считают, что манера чтения у него несколько изменилась -- она действительно стала менее напевной.

В качестве почетного гостя был приглашен также председатель русского ПЕН-клуба Андрей Битов, но он на Конгресс не приехал. С большим интересом было встречено и выступление на английском языке Василия Аксенова, который озаглавил его "Крылатое вымирающее". Аксенов, хорошо знающий и советский, и западный мир, говорил, в частности, о выработанной современным обществом поразительной способности превращать в стереотипы даже бунтарство и отщепенство. "Звездами Конгресса оказались русские писатели из Америки", -- заметил генеральный секретарь Международного ПЕН-клуба Александр Блок, кстати, тоже выходец из России...

Деятельность Конгресса проходила на нескольких уровнях. За парадной его стороной: выступлениями знаменитых писателей, балами в старинной городской ратуше и средневековом монастырском городе Клостернойбурге, за приемами и толчеей в холлах Хилтона -- скрывались будни ПЕН-клуба. Каждый день по утрам собирались рабочие ассамблеи официальных делегатов, работали Комитеты мира и защиты политических заключенных. Усилила ПЕН-клуба всегда были направлены на борьбу с любыми формами насилия, за права и свободы писателей, и не только писателей, на всем земном шаре. Естественно, что ни освобождение стран, входивших в состав бывшей советской империи, от коммунизма, ни развал самой этой империи не могли пройти мимо внимания Конгресса. Труднее, чем можно было ожидать, оказалось выработать резолюцию по вопросу гражданской войны в соседней с Австрией Югославии -- дело осложнялось присутствием на Конгрессе сербской, хорватской и словенской делегаций, а также упомянутого черногорского наблюдателя, чьи оценки событий далеко не совпа-

они, несомненно, подтачивают тот камень тирании, на котором зиждется монополия на слово. Несомненно, что и в Советском Союзе политические заключенные были выпущены на свободу в 1987 году отнюдь не в воде течения "перестройки", тогда еще не созревшей для подобных свершений, а под давлением Запада. Эта незаметная, непрерывная, трудоемкая и почетная работа, которую годами ведут Амнисти Интернэшнел, ПЕН-клуб и другие подобные организации, мало-помалу производит в мире не столь бросающиеся в глаза, но очень важные сдвиги.

В принятых Комитетом документах содержались подробные сведения о писателях-заключенных во всем мире -- от Вьетнама и Кубы, которые остаются чемпионами по насильственному преследованию инакомыслия, и до различных частей бывшей Советской империи. Если в России писатели пользуются сегодня практически полной свободой слова, то этого, к сожалению, нельзя сказать о Грузии или среднеазиатских республиках. По данным Комитета, число писателей и журналистов, находящихся сегодня в тюрьме во всем мире, достигает 323 (из них 80 -- в Китае). 94 журналиста подверглись в течение последних 6 месяцев краткому тюремному заключению, а с января по сентябрь 47 журналистов были убиты в связи со своей профессиональной деятельностью. 16 журналистов погибли и двое пропали без вести после начала гражданской войны в Югославии

Нам было бы труднее рассказать в подробностях о проходивших в рамках Конгресса чтениях, где писатели выступали на четыре заданные темы -- "Мир литературы и современный мир", "Не-я и новые структуры свободы", "Я" и "Всемирность литературы". Хотя здесь прозвучало немало выступлений и интересных, и изящных, однако лично нас такие темы, как "Литература в эпоху телевидения" или "Проступающая реальность и сфера культуры: необходимость уточнения взаимосвязи", ставят немного в тупик. Заметим лишь, что многие выступления затрагивали проблему национализма и правых тенденций, ставшую актуальной даже в благополучных странах Центральной Европы, в том числе в Австрии, где недавно появилась детская компьютерная игра "Концлагерь" и где с тревогой ждали результатов проходивших в те же дни выборов.

И, наконец, нельзя не упомянуть о двух великих тенях, сообщавших особый колорит Венскому конгрессу -- Моцарта и Кафки. Профиль композитора был избран эмблемой конгресса, проходившего в год Моцарта и в его столице, а помимо специальной экскурсии по местам, хранящим память об авторе "Процесса" и "Замка", его литературные уроки, столь актуальные сегодня, вспоминались не раз в эти дни. Тень же третьего венца, Фрейда, которого вспоминали, может быть, даже чаще, чем Кафку, мы тревожить не будем...

Ноябрь 1991 г. МИХАИЛ МЕЙДАХ  
Петербург--Вена

**Б**иографию составляют впечатления. Впечатления нам готовит судьба. Как она это делает – неизвестно; никогда не знаешь, что она выкинет. Вот если б мне в отрочестве кто-нибудь сказал, что я буду служить на подводных лодках, я бы очень хохотал, но так захотелось судьбе, и судьба взяла меня за тонкошкурное образование в районе холки и повела меня на подводную лодку путем крутым и извилистым.

Чтоб впечатления от дороги оказались наиболее полными, судьба привела меня сначала в Военно-морское училище, где она и оставила меня на пять лет набираться впечатлений на химическом факультете.

# АВТОНОМНОЕ ПЛАВАНИЕ

ПОВЕСТЬ

На химическом факультете нас учили, как стать военными химиками. И все-таки самые яркие впечатления этого периода моей биографии я вынес не из химии, я вынес их с камбуза, с этого царства тележек, мисок, тарелок, лагунов, котлов, поварих, поваров, кладовых, душевых, официанток, раздевалок, с неперменным подглядыванием в поисках пищи неокрепшему воображению; с бесчисленных столов кормильных рядов с алюминиевыми бачками – один бачок на четверых.

Когда сидели за столами, кто-то всегда бачковал, то есть разливал по тарелкам варево, а остальные в этот момент следили за ним, сделав себе равнодушные взоры, чтоб он случайно мясо себе из бачка не выловил.

Мясо делилось по справедливости. Все помнили, кто его ел в последний раз.

Неважно, что то мясо напоминало разваренную мыльную ветошь, это никого не интересовало, интересовало другое: интересовал сам факт – есть мясо или его нет.

Мясо на камбуз попадало из морозных закровов Родины, а по синей отметке на ляжке мы, стоя в камбузном наряде, узнавали год закладки и, если он совпадал с годом нашего рождения, говорили, что едим ровесника.

И ели мы его с удовольствием, потому что очень есть хотели.

Когда мы обедали, в зале играла музыка. Она помогала вырабатывать желудочный сок.

Шли мы на камбуз строями, молодецкато чеканили ножку, и все говорило о том, что мы служим и эти годы зачтутся нам в пенсию.

Перед камбузом на табуретках – по-морскому, на баночках – стояли лагуны с хлоркой, куда мы на ходу ныряли руками вперед.

И потом очень долгое время запах хлорки не позволял разделить впечатления от пребывания на камбузе и в туалете.

А еще я вынес впечатление, как мы ели сгущенку. В государстве тогда было много сгущенки, и мы ее ели:

## Александр Покровский

покупали банку, делали в крышке две дырки и, припаявшись к одной из них непорочными, дрожащими губами, запрокидываясь, делали могучий всос, и сгущенка в один миг наполняла рот сладкой мукой. И хотелось в тот миг, чтоб она никогда не кончалась.

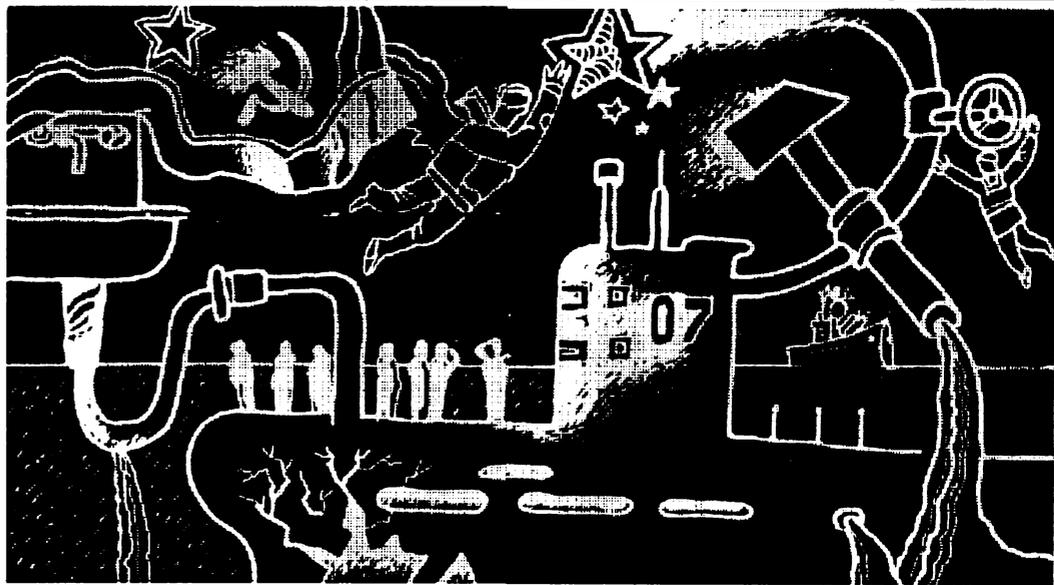
Общение со сгущенкой требует известного интима; если же интима не получалось, то хорошим тоном считалось оставить другу последний глоток.

Только один раз в месяц – в день курсантской полочки – мы ели до отвала; мы ели сгущенку банками, колбасу – метрами, а пиво пили пожарными ведрами, для чего носили его тайком через забор; на младших курсах мы носили его тайком ночью, а на старших – тайком днем, и во время экзаменационных сессий мы носили его тайком прямо в класс через плац.

Однажды один наш, идущий через плац с двумя ведрами, попался дежурному по училищу. Военно-пожарное ведро отличается тем, что его нельзя поставить; оно сделано конусом.

Когда дежурный по училищу увидел, как тот, несущий, с превеликими муками пытается поставить конусное ведро на плац, чтоб отдать воинскую честь ему, дежурному по училищу, он милостиво кивнул, даже

ПАВЕЛ ЖУРАВЛЕВ



не любопытствовал, что за пенообразующий огнегаситель тот волочет изгибаясь.

Во время экзаменов пиво наливалось только демократичным преподавателям, и они его выпивали, удивляясь торопливо.

Недемократичных преподавателей пытались выводить из строя, подсовывая им лимонад в запотевшем графине, с предварительно растворенным в нем химическим веществом – пургеном.

А Барону, преподавателю вычислительной техники, кроме заветного графина в карман тужурки удалось впрыснуть органическую кислоту, запах которой по своей сложности мог бы соперничать только с ее названием.

Вообще-то кислота была аварийным средством. Барон должен был опоздать к началу экзамена: специально посланная группа должна была еще ночью заклеить эпоксидкой замок бароновского гаража, чтоб он утром не вывел из него свою машину.

Группа заклеила, перепутав, замок соседу, Барон появился вовремя, и пришлось обратиться к кислоте.

Пахло сильно и хорошо. Барон не знал, куда деваться, от смущения он непрестанно пил настойку пургена в лимонаде, говорил, что в аудитории спертый воздух, и бледнел. Вскоре он надолго вышел, и мы одним махом сдали экзамен.

А еще я лежал в санчасти. Я любил лежать в санчасти: там можно было выспаться. Я не высыпался с семнадцати лет, с тех самых пор, когда нежный слух мой впервые поразила команда: "Рота, подъем!"

В санчасти кормили теми же органическими веществами, что и на камбузе. Положительное зерно состояло в том, что здесь давали добавку.

Бигус не ели даже легкораненные.

Бигус! Это блюдо сделано врагами человеческих желудков из картошки, тушенной с кислой капустой, заправленной комбижиром и жалкими кусками желтого поросячьего сала. Боже, какая это была отравка!

Поковыряв вилкой бигус, я выходил в коридор между палатами, припадал к стенке и звал утробно:

– Сестра ... сест-ра ... сестр-ра...

– Что тебе, милый? – вылетала сестра.

– Спасибо, сестра, – говорил я томно и шел в палату.

Артистизм! Вот что должны преподавать будущим офицерам. Как же без него стоять перед строем подчиненных, ведь они смотрят на тебя и жаждут получить с тебя твой артистизм. Им же не важно получить команду, им же важно, как ты ее подаешь. Им важно, какое у тебя при этом лицо, как ты держишь руки и в каком состоянии у тебя ноги; им важно, сколько души ты вкладываешь в команду "равняйся!" и какая капля интеллекта капает с тебя во время команды "смирно!".

Почему-то считается, что если ты ничего не можешь, то ты можешь воспитывать людей.

Сколько раз меня воспитывали в строю, и сколько раз я убеждался – оказывается, достаточно сильно крикнуть идущим людям: "Четче шаг! Отмашку рук! Выше ногу! Не слышу ногу! Петров! Едрена корень!" – и ты уже воспитатель.

И тут появляется он, твой новый командир роты. На лице у него, как это ни странно, написан ум, а в глазах написано то, что он только что с флота, что он ни черта не боится, и еще там написано, что у него есть выслуга лет и что он не будет хвататься за службу, как нищий за подол прихожанки.

– Я утомлен высшим образованием, – говорит он, и с этой минуты ты начинаешь изучать его речь, его лицо, его походку, его манеру держаться и соблюдать себя.

Он учил нас тому, что не прочтешь ни в одном учебнике, что не получишь в руки при выпуске, тому, что можно набрать только пропустив через себя; он учил нас тому, что называется – жизнь.

## Выпуск!

Сегодняшний, ты ли это, вчерашний! Сколько блеска в глазах и в белье! А сверху на белье надет кортик, а из-под каркаса фуражки капает, а брюки черные, шерстяные, всепогодки, а под ними взопревшее тело, а в подмышках жмет, а в ботинках трет – столько сразу всего.

Но ты всего этого барахла не замечашь. Ситец на улицах – май в душе! Сегодня твой день, сегодняшний. Счастлив ли ты? Ты счастлив! Благослови тебя небо.

## Север

Отпуск промелькнул, как чужое лицо в окошке, и через месяц, все еще окрыленный, просветленный, ненормально радостный, я улетел на Север за назначением.

...Север, Север, Северный флот ...

Сопки, сопки, ртутная вода ...

Неужели та вода навсегда?

Север, Север, Северный флот ...

Гуси потянулись на север, бабы потянулись на юг – лето наступило ...

Появились молодые лейтенанты – лето кончилось. Лейтенанты, лейтенанты, вы роняете в душу лепестки вечности. После вас в душе наступает сентябрь...

Интересно, почему только на Северном флоте бакланы летают над мусорными кучами, а вороны над морем?

Потому что Страна Наоборот.

Жила-была Страна Наоборот. Утром ложилась,

вечером вставала. Удивительная это была страна – Страна Наоборот...

– Куда вы хотите? – спрашивают лейтенанта в отделе кадров Северного флота. – В поселок Роста или в порт Владимир?

Не знакомый с современной северной географией лейтенант выбирает себе порт Владимир и уезжает туда, где три покосившихся деревянных строения, обнявшись, хором предохраняют цивилизацию от сдува.

Обманули дурака на четыре кулака...

Места для меня сразу не нашлось. Лейтенанта ждут, конечно, на Северном флоте, но не так интенсивно, как он себе это представляет.

После двухнедельных мытарств печаль моя нашла свое временное пристанище в отдельном дивизионе химической защиты, именуемом в простонародье "химдымом".

Если матрос на флоте не попадает в тюрьму, то он попадает в химдым. Так, во всяком случае, было. Больные, косые, хромые, глухонемые; хулиганы и пьяницы; потомственные негодяи и столбовые мерзавцы, носители редких генетических слепков.

– Не бойсь, лейтенант, – говорили они мне, – мы детей не бьем.

И я не боялся, слово они держали. Но сына замполита они вешали на забор. За лямки штанишек. Как Буратино. Шестилетний малыш висел и плакал...

... Пятнадцать нарядов в месяц. Через день – на ремень!

– Что, товарищ лейтенант, в сторожа записались? Терпите, все через это прошли ...

Кубрик, койки, осклизлый гальюн ...

Через месяц после того, как я – хрупкий цветок Курдистана – был высажен в бедные суперфосфатом почвы этой страны слез – химического дивизиона, мне захотелось выть болотной выпью.

Эта славная птичка несколько напоминает военнослужащего: чуть чего -- она замирает по стойке смирно в жалких складках местности, а если достали -- орет, как раненый бык.

Я орал. Вернее, орала моя дивная душа отличника боевой и политической подготовки. Она орала днем и ночью. Она орала до тех пор, пока мысль об атомных лодках не сформировалась полностью.

Я поделился ею с начальством. Начальство было удивлено стойкостью моего отращения к текущему моменту. Оно назвало мое состояние "играми романтизма" и высказалось относительно места проведения этих игр со всей определенностью. Потом оно сказала, что для того, чтобы стать подводником ("а это не так все просто, юноша, не так все просто"), мне нужно как можно чаще "рыть рогами и копытами" ("и носом... главное, носом").

С этого дня я не служил, я рыл, я рыл рогами, копытами и носом... главное, носом; и глаза мои с этого дня на полгода соплились к переносице. Не лейтенант, а хавронобык!

Надо сказать, что в химдивизионе было где рыть, было! Поразительные вокруг были просторы. Справедливость требует отметить, что кое-что было вырыто и до меня.

В те дни, когда я не рыл, я возил бетон и заливал его в ямы.

По утрам со мной любил разговаривать замполит. Он брал в руки газету, поднимал палец вверх и в таком положении читал мне речитативом передовицу. Каждый день. Это у нас с ним называлось: "индивидуально-воспитательная работа".

Я смотрел ему в рот. Вернее, не совсем в рот: я смотрел на те два передних зуба, которые торчали у него изо рта и были расположены строго параллельно друг другу и матушке земле.

Я называл их "народным достоянием".

Он говорил мне былинно: "Н-а-р-о-д-о-х-о-з-я-й-с-т-в-с-н-н-ы-е-п-л-а-н-ы..." – а я думал при этом: "Кто ж вам зубы отогнул?"

А жил я здесь же, в части: в учебном классе поставили коечку...

## 31 декабря!

31 декабря я стоял в наряде – дежурным по части. 31 декабря в части был абсолютно трезвый человек – это был я. Остальные перепились и передрались, и в те минуты, когда из телевизора неслись поздравления советскому народу, у меня в кубрике то и дело в воздух бесшумно взмывали табуретки. Они взмывали и неторопливо кроили народ.

А я разнимал дерущихся. Вернее, пытался это делать.

Завонил телефон. Я добрался до него через груды тел и машущих рук. Я снял трубку и представился. Звонил замполит.

– Ну, как там?

– Нормально, – сказал я, – идет массовая драка!

Я назвал себя, сказал, кто я и что я, откуда я и зачем. а напоследок спросил: что ж это такое, если приходится столько стоять и ждать.

Наверное, я спросил что-то не то, потому что у адмирала выпучились глаза и он, откинувшись, сказал громко и четко:

– Сут-ка-ми бу-де-шь сто-ять! Сутками! Если понадобится.

Я не мог не ответить адмиралу, – я ответил, что готов стоять сутками, но не выстаивать.

Что-то с ним после этого произошло, что-то случилось: он дернулся как-то особенно, а потом наклонился к моему лицу и сказал раздельно и тихо:

– Следуйте за мной...

И я пошел за адмиралом. Через секунду нашелся начальник отдела кадров, потом – флагманский химик и командир ПКЗ. Все они меня окружили, и было

такое впечатление, что все они мои родственники и пляшут вокруг только затем, чтоб меня обнять.

Еще через пять минут я уже знал, где находится моя каюта, а через десять минут я уже был подстрижен.

И стал я жить на ПКЗ.

О ПКЗ стоит сказать несколько слов. На первой палубе этого корабля с винтом размещался штаб, на второй, третьей и четвертой -- жили экипажи, ниже размещался трюм, где с потолка капала вечность, торчали кабельные трассы и жили крысы, огромные, как пантеры.

Жили они в трюме, а бродили везде. Если крыса шла по коридору мимо моряков, моряки цепенели. На крыс кидались только самые отважные.

Однажды утром на камбузе кок обнаружил в пустом котле целый выводок этих тварей: он открыл крышку котла – и они посмотрели на него снизу вверх.

Кок захлопнул крышку и помчался на свалку. Там он в один миг отловил

большущего бродячего кота и в тот же миг доставил его на камбуз.

Кок бросил кота к крысам и загерметизировал котел. Кот отчаянно выл. Когда через пару минут вскрыли котел, кот вылетел пулей. В котле лежали трупы. Кот задушил всех. Его можно было понять, он дрался за свою жизнь.

Кок выкинул крыс, вымыл котел и сварил обед.

ПКЗ у нас финской постройки. Финны строили такие ПКЗ для наших лесорубов. Подводники – вот они те самые лесорубы, ради которых в Финляндии приобретались такие плавучие казармы.

ПКЗ шли из Финляндии на север своим ходом. На них были: хрусталь, светильники, ковры, посуда, смесители в умывальниках, краники, различные шильдики, ручки и даже туалетная бумага в туалетах.

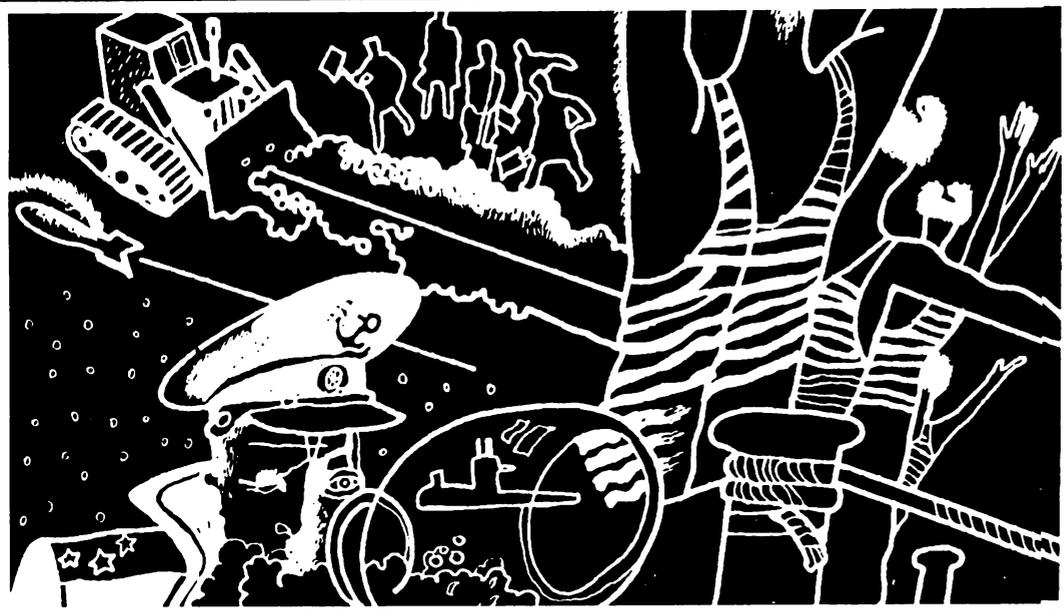
Как только они ошвартовались, с них украли все, даже бумагу в туалетах. Последними украли из кают цветные занавески. Занавески были из стекловолокна. Матросики сшили из них плавки. С чудовищно распухшей, мохнатой промежностью, они вскоре заполнили госпиталь.

Кстати, на нашем флоте на плавказармах иногда годами живут не только подводники, но и их семьи, жены, дети и коляски.

Однажды стратегический атомоход перегоняли с севера на восток в новую базу. Жены, побросав все, примчались туда путем Семена Дежнева. Ну и, как это бывает, база уже есть, то есть сопки вокруг есть, а домов еще нет... пока.

Лейтенантам отвели нижние кубрики. Двухъярусные койки. Она сверху, он снизу, и наоборот. Отделились простынями. Белыми. И поехали. Сначала стеснялись, а потом повсюду стоял чудесный скрип...

Север... Север... Северный флот...



– Ну, они там не слишком себя уродуют?

– Нет, что вы...

– Когда устанут и свалятся, постройте всех и передайте им мои поздравления...

Я так и сделал: когда свалились, я их поднял, построил и передал поздравления...

31 декабря 1975 года. Именно в этот день был подписан приказ о моем назначении на атомоходы.

## Лодки... лодки...

Не прошло и месяца со дня подписания приказа, как я уже стоял в коридоре штаба дивизии атомоходов. Штаб помещался на ПКЗ. Я стоял целый час и ни у кого не мог спросить, как же мне пройти к начальнику отдела кадров.

Я просто не успевал спросить: так быстро вокруг мелькали, порхали, прыгали и проносились. Но одного я все-таки отловил. Это был лейтенант. Я придавил его и гаркнул:

– Как пройти к начальнику отдела кадров?

– А черт его знает! – заорал он мне в ухо с сумасшедшим весельем, и, пока я соображал, как это он не знает, он уже вырвался и убежал.

– Ком-диввв!!! – раздался по коридору влажный крик. Этот крик послужил сигналом: захлопали двери, и все пропали, – абсолютно все пропали, и остался один я.

В коридоре слышались шаги. Я не успел подумать и увидел генерала, – то есть, я хотел сказать, адмирала, – но вид у него был генеральский.

Адмирал подошел ко мне и задержался.

Когда так задерживаются рядом со мной, я не могу, я начинаю отдавать честь. Я ее отдал. Он смотрел на меня и чего-то ждал. Я не могу, когда на меня так смотрят. Я начинаю говорить. И говорю я все подряд.

\* ПКЗ -- плавказарма.

## Экипаж

Мой экипаж появился на ПКЗ через месяц. Он приехал после учебы. Экипажи в те времена делились на экипажи, которые все время учились, экипажи, которые все время ремонтировались, и экипажи, которые все время выполняли боевые задачи.

Это было очень удобно: нужно послать экипаж на учебы – пожалуйста; нужно сгонять корабль в ремонт – ради бога; в автономку нужно послать кого-нибудь – пошли, родимые.

Но иногда экипажи мучительно переходили из одного состояния в другое. Например, наш экипаж приехал в базу затем, чтоб мучительно перейти и стать боевым экипажем.

Разместился он на том же ПКЗ, где я квартировался, и однажды я обнаружил, что живу в одной каюте с замполитом корабля. Семьи у него рядом не было, и он сказал мне:

– Ну что ж! Годковщину на флоте никто еще не отменял, а посему полезай на верхнюю полку.

С тех пор я жил на верхней полке двухъярусной койки, а подо мной жил Иван Трофимович.

Иван Трофимович – это единственный замполит, которого я бы приветствовал стоя, остальных – я бы приветствовал сидя, а некоторых – даже лежа.

Сказать, что все остальные замполиты у меня были ублюдками, значит погрешить против правды. Нет, ублюдками они не были, но и говорить о них как-то не хочется.

## Зима и весна

Зимой и весной все подводники, мечтающие перейти в боевое состояние, от мала до велика берут в руки лом, лопату и скребок и яростно кидаются на снег и лед. Они скалывают его и отбрасывают в сторону. Так постоянно растет их боевое мастерство, и так они, совершенствуясь, совершенно безболезненно переходят в боевое состояние.

"Три матроса и лопата заменяют экскаватор", – это не я сказал, это народ, а народ, как известно, всегда прав.

Однако не надо думать, что только матросы у нас ежедневно баловались со снежком; и седые капитаны третьего ранга, плача от ветра, как малые дети, я бы сказал, остервенело хватались за скребок и – ы-ы-ы-т-ь! – сдвигали дорогу в сторону.

При такой работе организм от неуклонного перегрева спасает только разрез на шинели сзади – он обеспечивает вентилирование в атмосферу и необходимый теплосъем.

Это очень мудрый разрез. Сложился он так же исторически, как и вся наша военно-морская шинель. Шинель – это живая история: спереди два ряда пуговиц, сзади на спине складка, хлястик, и ниже спины, я бы сказал, еще одна складка, переходящая в разрез.

Разрез исторически был необходим для того, чтоб прикрывать бока лошади и гадить в поле. Для чего нужно на шинели все остальное, я не знаю. Знаю я только одно: шинель – это то, в чем нам предстоит воевать.

Конечно, можно было попросить у Родины бульдозер. (Я все еще имею в виду очистку дороги от снега. Когда я слышу слово "воевать", помимо моей воли перед моим внутренним взором возникает лом – этот флотский карандаш, – а потом возникают снежные заносы, и я начинаю мечтать о бульдозере.)

Конечно, можно было попросить у Родины бульдозер, но ведь Родина может же спросить: "При чем здесь бульдозер? Зачем вам, подводникам, бульдозер?" – и Родина будет права.

Значит, тогда так, тогда молча берем в руки лом и молча долбаем. Без бульдозера.

Бульдозер доставали на стороне. Просто ходили и доставали. Был у нас на дивизии секретчик, матрос Неперечитайло. Это было чудо из чудес. Он мог запросто потерять секреты, уронить целый чемодан с ними за борт, а потом мог запросто их списать, потому что у него везде и всюду были свои люди – знакомые и земляки – такие же матросы.

Правда, чемодан потом всплывал, и его выбрасывало в районе Кильдина на побережье, но все это происходило потом, когда Неперечитайло уже находился в запасе.

У него были голубые невинные глаза.

Комдива просто трясло, когда он видел этого урода. Он останавливал машину, подзывал его и начинал его драть. Драл он его за все прошлое, настоящее и будущее. Драл он его так, что перья летели. Драл на виду у всей зоны режима радиационной безопасности, где стояли наши корабли, где была дорога и где были мы с ломами.

Неперечитайло стоял по стойке смирно и слушал весь этот вой, – а когда он утомлялся слушать, он говорил комдиву:

– Товарищ комдив! Разрешите я бульдозер доставлю?!

– Бульдозер?!!! – переставал его драть комдив. – Какой бульдозер?!

– Ну, чтоб зону чистить...

– Что тебе для этого нужно? – говорил комдив быстро, так как он у нас быстро соображал.

– Нужно банку тушенки и вашу машину...

Комдив у нас понимал все с полуслова, потому-то он у нас и был комдивом. Он вылезал из машины, брал у Неперечитайло чемодан с секретами и оставался ждать.

Неперечитайло садился на место комдива и уезжал за бульдозером. По дороге он заезжал на камбуз за тушенкой.

Через тридцать минут он снова появлялся на машине, а за машиной следовал бульдозер, нанятый за банку тушенки.

## Дуст!

Наконец пришло для вас время узнать, что всех химиков на флоте называют "дустами".

За что, позвольте спросить?

Извольте: за то, что они травят народ!

Сидя на ПКЗ, я проводил с личным составом тренировку по включению в ПДУ – в портативно-дыхательное устройство, предназначенное для экстренной изоляции органов дыхания от отвратительного влияния внешней среды.

Первые ПДУ на фло-



те называли "противно-дышащим устройством" за то, что кислота пускового устройства ПДУ, которая должна была, по идее, стимулировать регенеративное вещество этого средства спасения на выдачу кислорода, иногда поступала сразу в глотку ожидающего этот кислород.

Я видел только одного человека, который продержался при этом более двух секунд. Это был наш старший лейтенант Уточкин, оперуполномоченный особого отдела.

Я его честно предупредил о том, что возможны, сразу же после включения, некоторые осложнения и что проявления терпеливости, в этом конкретном случае, с большим сомнением можно отнести к признакам воинской доблести.

– Жить захочешь – потерпишь! – сказал он мне.

Против этого я не нашелся чем возразить; он включился и показал мне знаком, что все идет как по маслу. Когда все идет как по маслу, я обычно запускаю секундомер и, вперясь в него, снимаю норматив.

Через пять минут я оторвался от секундомера, посмотрел на испытуемого и заметил, что глаза у опера Уточкина чего-то лишились.

Пронюх еще десять секунд, и Уточкин, чмокнув, откурил рот. Из рта у него повалил белый дым.

– Ну его на хер, – сказал опер Уточкин, взяв завершением фразы верхнее си, – не могу больше!..

## Лето

Наступило лето; жены уехали, и поселок опустел; период весенне-летнего кобелирования окончательно вступил в свои права, и по поселку светлыми почвами уже пляхались неприкаянные...

Ну кто на подлинном флоте работает летом? Летом никто не работает. Ну, разве что в поселке подобрать окурки и плевки, а так сидишь на пирсе с восточным безразличием: расслабление и вялость в членах; тупорыльность и оскудение в желаниях, в мыслях и в генах; апробация и культивирование поз...

И вдруг – комиссия Министра Обороны! Вместе с главкомом!

Все вскочили, побежали, как со сна; озеро вычистили, дерн выложили, деревья там воткнули, бордюры и траву покрасили; лозунги, призывы, плакаты – повесили, и на дома со стороны комиссии обратили особое внимание.

Комиссия на флоте – это время, когда все живые, не калеки, мечтают уйти в море.

– Когда и на чем они будут?!

– На вертолете через два часа.

– А вертолетную площадку довели до ума?!

– Довели...

– А люди там расставлены?!

– Так точно!

– Ну, тогда ждем сигнала...

Через два часа, не дождавпись сигнала:

– Ну?!

– Пока не ясно...

Ясно стало через десять минут:

– Все отставить, они будут катером!

– А-а-а-а!!!..

И потом уже в диком вальсе:

– Фалрепные!.. Нужны фалрепные на фалы... От метр восемьдесят и выше!

– Что? Фалы?

– Что?!

– Фалы, говорю, от метр восемьдесят?!

– Нет, фалрепные!

И еще нужен трап с ковром.

– Слышь? И еще нужен трап с ковром!

– И где он обитает?!

– А черт его знает, на ПКЗ где-то...

– И эту... как ее... тумбу под главкома не забудьте...

И тумбу под главкома. Чтоб он не спрыгнул с трапа, персбив ноги, а сошел, как подобает, сначала на тумбу, потом на пирс...

Все оказалось закрыто на замок: и трап, и тумба, и ковры... и ключ вместе с заведующим утерян...

– Давайте-ломайте!!! Давайте-ломайте!!!

Дали-сломали – па!!! – а там ничего нет.

– Все ломайте!!!

Сломали все. Перевернули и нашли в самом дальнем углу.

Фу! Ну, теперь все!!!

Нет, не все: еще нужен оркестр, офицер в золоте и машина.

Секунда – и все это есть! Все есть, кроме фалрепных.

– Они ж только что были?!

Да, были. И их даже послали куда надо, но там старшим был молодой мичман, и их перехватили и отправили на свалку: там тоже надо было срочно убрать.

– А-а-а!!!... – это кричит начальник штаба, затем он мечется по коридору и лично собирает где попадет новые фалрепные. Он строит штабную команду. На худой конец, и эти сойдут. Конец действительно худой. Самый мощный из них тянет на метр шестьдесят шесть сантиметров. Начштаба нервничает – одного не хватает. Последним влетает в строй гном-самописец – полтора вершка! Начштаба не выдерживает – докопал: он хватается самописца за грудки так, что тот повисает безжизненно пожатками, и орет ему:

– Па-че-му!!! Па-че-му та-кой ма-ле-нь-кий!!!

Все! Встретили!

Встретили, подхватили, потащили на руках.

И лизали, и лизали в двадцати местах...

Нагрузили, проводили стройною гурьбой.

Дали, дали, дали им, дали им с собой...

...И снова лето настало. Снова благодать разлилась. Солнце снова, и опять красота; расслабление, расслабление, растягивание членов и тупорыльность поз...

Сопки-сопки, ртутная вода...

## Корабль

*("Получили мы корабль – надругались над собой...")*

Корабль получили осенью. Наш прекрасный корабль...

Плавтюрьма!

Кто это сказал?! Это никто не сказал. Это не у нас. Это у них. У англичан. В английском языке слово *confin* с одинаковым успехом обозначает и замкнутый объем подводной лодки и тюрьму. И поэтому, когда по телевизору показывают, что колония малолетних преступников ходит теми же строениями, в тех же ватниках и постелье же песни, я не верю своим собственным глазам и все время думаю, что тут что-то недоразумение.

Конечно, есть отдельные, неразумные, потерявшие терпение и кое-что из морали подводники, которые пытаются назвать плавтюрьмой наши славные подводные корабли за то, что они стоят в дежурстве по полгода, а дома бывают только раз в месяц, пенком и после 23 часов, но я считаю, что это неправильно. Я считаю, что Родина о них заботится и что эта забота выражается так часто, так часто, что не увидишь ее может только слепой.

Но вернемся к кораблю.

Это просто чудо какое-то! Я тут же, как только мы его получили, спустился вниз и пропелся с носа в корму. Слов нет. Просто чудо. Неужели все это сразу плавает? Неужели оно погружается и всплывает больше, чем полтора раза? – Да, представьте себе! – А по моему, оно должно утонуть тут же прямо у пирса вместе с нашей профессиональной подготовкой! – Нет, представьте себе. – Это грандиозно!...

Открываешь французский прибор и – японка мама: одна плата из Японии, другая – из Швеции, третья – ФРГ, четвертая – США, пятая – Франция – весь мир на ладони...

Открываешь наш прибор, а там – Узбекистан, Кыргызстан, Ленкорань, Ленинкап, Уфа, Ухта, Кзыл-Орда! Весь Союз с тобой. И Господь тоже. Иди в море. Родимый.

И идут. И плавают. Годами. На чем они плавают? Они плавают на силе. Высокого мастерства и высокой идейности.

И вдруг одна утонула, потом – вторая и сразу третья...

Ай-яй-яй! Как же так?! Неужели?! Вот это да! А мы и не ожидали. – А вот вы ожидали? – Нет, мы тоже не ожидали. – А вы? – Мы не ожидали, потому что у них пройден весь курс боевой и политической подготовки. – А-а-а... ну тогда шапки долой...

Шапки долой – венки по воде; звучит траурная музыка...

Позвучала – хватит, а теперь остальных выгнать в море, чтоб покрыть недостачу.

– А знаете, у оставшихся в живых мы интересовались, и они все, как один, хотят служить на подводных лодках...

– Это грандиозно!

Флот, флот...

Что такое флот? – Флот – это люди. – А еще что? – Флот – это железо. – А еще? – Флот – это люди, вросшие в железо.

– Что бы им такое пожелать?

– Пожелайте им здравствовать...

## Автономка

Автономка как женщина: если она у тебя первая, то запомнится надолго.

Отдых перед автономкой ворован, как кусок хлеба со стола помоечным пасюком.

Погрузки, проверки, ракеты, торпеды...

– Кровь из носа, товарищи, это нужно сделать! Кровь из носа...

И кровь идет из носа...

Перед автономкой бывает контрольный выход для проверки готовности. Лодку выгоняют в море, и она десять суток ходит там туда-сюда, а внутри у нее сидят люди, преимущественно по тревоге. И тревоги через каждые два часа, и часто так бывает, что одна тревога целуется с другой...

Там я научился спать стоя. Стоишь стоя и спишь. Просыпаешься тогда, когда грудью падаешь в прибор, а под глазами такие синяки вырастают, будто в глаза пустой стакан ввинчивали. После этого так хочется в море, просто не описать. Без удержу хочется...

Только пришли, и опять – разгрузки, выгрузки, погрузки...

– Большой сбор! Построение на пирсе...

– Внимание, товарищи! Экипаж будет опущен только тогда, когда на пирсе не останется ни одной коробки!!!

Будет опущен, будет, кто же спорит. А за сутки до отхода всех посадят на корабль, а на корне пирса выставят вооруженного вахтенного, чтоб никто не сбежал, а то ведь черт их знает, шалопаи, прости господи...

## Отметим коротко!

Отметим коротко, лирически отступив, что в те времена флот пил, и пил он спирт, и пил он его неторопливо и помногу. Это сейчас всем запретили, а тогда – о-го-го...

В общем, были отдельные личности, которые, несмотря на сторожей и проделанную работу, ускользали с корабля в ночь перед самым отходом, и потом за ними гонялись по всему поселку.

Обессилев, они сдавались, их сажали на детские саночки и привозили на пирс. По дороге они засыпали, и их грузили на корабль на таях. Приходили они в себя на третьи сутки, вдали от родных берегов.

Но были и такие, которых не находили, и тогда в последний момент брали кого попало прямо из патруля. Так взяли одного молодого лейтенанта, и его жена потом его искала, но искала она не там, где надо искать, поэтому она искала его несколько дней.

## Ах, море, море...

Вышли в море и пошли, отошли подальше, встретились и взялись за изучение материальной части.

Только наши подводники могут выйти в море, отойти подальше, а потом начать изучать то, на чем они вышли в море: всем выдаются зачетные листы и все одновременно начинают учить устройство корабля – ходят по отсекам, как в Лувре, и ищут клапана. Лодка плывет, а они учат. А что делать?

Матчасть на нашем родном флоте можно изучить только вдали от Родины. Вблизи Родина тебе просто не даст ее изучить. Родина, она вблизи что-нибудь да придумает: снег придумает, астрономическое число нарядов или рытье канав.

Если лодка утонет, то тут Родина поделится на две большие части: та часть, которая придумала снег, наряды и канаву, будет молчать, а та, другая часть Родины, тасрочно пододвинется поближе и спросит у оставшихся в живых со всей строгостью.

И это навсегда. Это не изменить. Некоторые пытались, но это навсегда.

Да и мы уже привыкли так учиться своему военному делу. Мы до того привыкли, что, разреши нам на берегу не рыть, а учить, мы сядем и будем сидеть, уставясь в точку, отсылая всех к матери Ядвиге; будем сидеть и ждать выхода в море, чтоб там приступить однозначно.

Когда мы вышли в море, я тоже получил зачетный лист по устройству корабля и тоже учил до тех пор, пока с глаз моих не спала пелена и пока все эти трубы, свитые в узлы, не стали мне родны и понятны.

После того, как я сдал все зачеты, я долгое время не мог отделаться от мысли, что ткну нашу лодочку в бок -- и она тихо утонет.

Нет, конечно, мы будем бороться за живучесть, будем бегать по отсекам, загерметизируемся, дадим внутрь сжатый воздух, всплывет и – тыр-пыр-Мойдодыр, – но все равно она утонет: не сразу – так потом.

Не знаю почему, но после сдачи экзаменов по устройству корабля эти мысли преследуют тебя особенно сильно. Правда, со временем впечатление от устройства слабеет, но сначала от полученных знаний просто кожа пузырится.

Я не буду больше говорить о том, что подводная лодка может утонуть. Я тут несколько раз уже сказал об этом, но сказал я об этом только для того, чтобы больше не говорить.

Тем более, что не так уж часто мы и тонем, как могли бы.

## Ну как там?

Меня часто спрашивают:

– Ну а все-таки, как там?

– Где? – спрашиваю я.

– Ну, в автономке, под водой...

– Да нормально вроде: вахта-сон, вахта-сон, а в промежутках – командир и зам; если им некогда, то – старпом и пом. Так и плывешь, окруженный постоянной заботой. Пришли в район – устроили митинг и заступили в дежурство, и при этом шли с чем-то по отсекам, заменяющим вечный огонь.

Женщин обычно интересует, видно ли в иллюминаторы рыбок. Они очень удивляются, когда узнают, что на подводной лодке нет иллюминаторов.

– А как же вы плывете без иллюминаторов, не видно же?

– А так и плывем зажмурясь, периодически вытаскиваются специальные выдвижные устройства, с помощью которых лодка себя ощущает в пространстве. Ощутили -- спрятали и поехали дальше.

– Да-а?... – говорят женщины задумчиво, и со стороны заметно, что они полностью находятся во власти внезапно возникших ассоциаций. Немного подумав, они многозначительно замолкают. Только самые коварные из них интересуются:

– А как же вы справляетесь там со своим естеством... так долго? – При этом они делают себе такие глаза, что невозможно не догадаться, какое из всех наших естеств они имеют в виду.

– Видите ли, -- говорю им я, -- чтоб однозначно дать выход естеству, для подводника регулярно устраивают политинформации, тематические вечера, диспуты,

утренники, лекции, лирические шарады, прослушивание голосов классиков, наконец, первоисточники можно конспектировать.

Обычно после этого от меня отстают, и я, оставленный, всегда вспоминаю своего старпома. На двадцать третьи сутки похода он всегда входил в кают-компанию и говорил медлительно:

– Женщина... женщина... женщина... она же – баба... – после чего он садился в кресло и требовал, чтоб ему показали фильм с бабой.

Старпом относится к самым любимым моим литературным героям. Когда я смотрю на старпома пристально, я всегда вспоминаю, что и у стада павианов есть свой отдельный вождь.

Своего старпома в этой автономке я периодически сажал на газоанализатор. У меня газоанализатор напротив двери, а дверь моего боевого поста такой величины, что ею мамонта уложишь и не заметишь, не то что старпома.

Стоит развод, зам его инструктирует, а мимо, в центральный, протикивается старпом, и тут я дверь зачем-то открываю, и она, как шитом, безо всяких усилий, трахает старпома. Старпом улетает бездымно в газоанализатор и там садится на специальный штыр солнечным сплетением и замирает там, как жук на булавке. Висит старпом, булькает, воздуха у него нет, слезы из глаз.

Потом зам командовал разводу: "На защиту интересов родины заступить!", а старпом, сползая, добавлял тонко: "Ой, бля!.."

Ну и влетало мне!

Кстати, некоторые считают, что старпом – это заповедный корабельный хам, хам в законе, хам по должности, по природе и по вдохновению.

Я с этим не согласен. Просто хамство экономит время: через хамство лежит самый краткий путь к человеческой душе. А когда у тебя этих душ целых сто, и общаться с ними надо ежедневно по три раза на построениях, где приходится доводить до каждого решение вышестоящего командования, то тут уж, простите, без хамства никак не обойтись.

На корабле старпом отвечает за то, чего нам постоянно не хватает: он отвечает за организацию. Старпом – это страх организации. Исчез старпом с корабля – через секунду вслед за ним пропадает организация. Организация без старпома долго на корабле не держивается.

Так они и живут: старпом и его организация, – сидят, уставясь, и караулят друг друга. Ну как тут не озвредить!

Но всему бывает конец. Я имею в виду не старпома с его организацией, я имею в виду автономку: автономка кончается, как все в этом мире.

Время – великий пешеход. Подводное время – это тоже пешеход. Только сначала оно тянется медленно, а потом уже несется не разбирая дороги.

Так вот, чтоб этот пешеход с самого начала легче перебирал лапками, для подводника, кроме служебных чудес, придумывают всякие развлечения.

Ну, отработку по борьбе за живучесть (когда ты, подтянув адамовы яблоки к глазницам, как нашатыренный, носишь по отсекам с этим ярмом пудовым на шее – с изолирующим дыхательным аппаратом 1959 года рождения) очень условно можно отнести к развлечениям, а вот концерты художественной самодеятельности, викторины, стенгазеты, вечера вопросов и ответов, загадок и разгадок, дни специалиста, праздники Нептуна и пение песни "Варяг" на разводах, а также прочую дребедень, превращающую боевой ко-

рабль в плавдом кочующих балбесов, – можно отнести к развлечениям с легким сердцем.

И придумывает все это зам. Наш веселый. Массовик с затейником. Мальчик с пальчиком. Это он веселит один народ руками другого народа.

Мой стародавний приятель, большой специалист по стенгазетам, стихам и дням Нептуна, отзывался обо всем этом так:

– Боже! Сохрани нас от инициативных замов! Огради нас, Господи, от этих мучеников великой идеи! Дай нам, Господи, зама ленивого, сонного дуралея, но и его лиши, Господи, активных вспышек разума, а лучше сделай так, чтоб он впал в летаргический сон или подцепил какую другую заразу!

Вы бы видели при этом его лицо.

– Саня, – говорил он мне, слегка успокоенный, – отгадай загадку: какая наука изучает поведение зама на



ПАВЕЛ ЖУРАВЛЕВ

корабле.

Я отвечал, что не знаю.

– Паразитология! Господи, – причитал он, – и чего я пошел в механики. Вот дурак. Пошел бы в замы и сидел бы сейчас где-нибудь... мебелью...

Знаете, я не стал его осуждать. Просто устал человек от веселья.

К этому времени Иван Трофимович, самый наш светлый, уже ушел от нас в страну вечного солнца – перевелся служить в большой город, на большую землю, чуть ли не в районный центр, – а нам на автономку дали нового зама (это был такой тритон, от общения с которым молоко скисало даже в семенниках). Этот родственник царя Гороха обожал развлечения, и мы его развлекали как могли: пели, плясали, отгадывали загадки – так время и летело.

## Наконец!

Наконец наступил конец. Я имею в виду конец автономки. Я уже один раз имел это в виду несколько выше, но теперь, как говорил наш зам, я имею в виду это непосредственно.

## Домой!

Только повернули к дому, и сразу же расхотелось идти домой. Странное это чувство, но объяснимое. В море, несмотря на обязательный кретинизм боевой подготовки и развлечения, все-таки день налажен, и ты в принципе знаешь, что будет сегодня, завтра и послезавтра, а в базе ты не знаешь, что ты будешь делать вечером и куда ты побежишь через минуту. Отсюда уныние, применяющееся к радости прихода.

Норадость побеждает, и особенно последние метры его полны.

– По местам стоять к вспытию! – подается коман-

да, и вот уже по отсекам загулял горький морской воздух.

К пирсу лодка швартуется с помощью буксиров. Они волокут ее под локотки, как внуки нагулявшуюся слепую старушку. А на пирсе – оркестр, начальство, а за забором – жены, целой толпой.

Мы еще не опшвартовались, а оркестр уже отыграл и ушел, повернувшись к нам задом, и создалось такое ощущение, что он играл лодке в целом, а не людям в отдельности.

На пирсе осталось начальство.

– Ну-у, – сказала начальство нам, когда мы вышли и построились, – пока вы там отдыхали, мы здесь служили, а теперь вам предстоит... – И дальше мы узнали, что нам предстоит: погрузка запасов до полных норм, перегрузка ракет и выход в море на торпедную стрельбу, так что сегодня не выводимся, а становимся к стац-пирсу, грузим ракеты и далее, далее, далее... и прочая, прочая, прочая куча удовольствий.

Самые глупые спросили: а домой? – на что им хамски расхохотались, но жен поцеловать у забора разрешили.

## Жена

Ежедневные постоянные общения с собственной женой можно сравнить только с морозящим дождиком, который капает тебе за воротник. Ты приходишь домой ежедневно, а оно капает: в 20 часов – капает; в 22 – капает и в 24 – тоже капает; ложишься в постель – капает в постели.

Можно, конечно, научиться и не слышать, как оно капает. Но пока ты учишься, сколько придется себя истерзать.

Другое дело, если тебя не бывает дома. Другое дело, если ты ходишь в море. Женщины море не выдерживают. Ты приходишь, а тебя встречает любовь; реки любви: потоки любви огромных размеров; и глаза гасели, а в них – слезы; а голос ласковый, нежный, как полевой колокольчик; а руки теплые, и уже припала к груди, положила головку, затихла, как мышка, и молчит, молчит...

За это можно отдать жизнь... А как они бегут навстречу...

Я стоял и смотрел, как они бегут. В тот период я мог только стоять и смотреть, потому что в тот период я был холостой; а когда ты холостой, ты стоишь на ветру на пирсе как собака – обдуваем и бездомен, бездомен, бездомен...

Но, слава Богу, есть друзья, и, слава Богу, друзей много.

Когда наши мучения получили временную передышку и мы все-таки ощутили под ногами земную твердь, мои друзья сказали мне:

– Бери, Саня, свои манатки и иди к нам жить.

И я забрал то, что не успели еще украсть из моей каюты на ПКЗ и пошел к друзьям, несмотря на то, что у них были жены и дети. И почесал я "по друзьям" в течение многих и многих лет. Положишь ночью чемоданчик свой на саночки и переезжаешь от друга к другу.

В те времена можно было получить ключ от чьей-нибудь квартиры, хозяйка которой находилась в отпуске, и жить там месяц-другой, несмотря на то, что хозяйка эти тебе совершенно не известны. Так было принято, и я, когда получил квартиру, тоже устраивал к себе жить порой совсем незнакомых людей.

– Чего загрустил, лейтенант? – спрашивал я, когда видел лейтенанта с женой и ребенком, сидящих часами на чемоданах в ДОФе. Отзовешь его в сторону, и лейтенант говорит, говорит, а потом ты ведешь к себе это семейство и не знаешь, куда себя девать от благодарных глаз.

Свою квартиру я получил лет через шесть. Как ни странно – холостяком. Одиннадцать квадратных метров.

– Слушай! Пусти пожить, – говорили мне, – ты же все равно в море, – и я отдавал ключи.

– Слушай! – говорили мне потом, когда я приходил с автономки. – Не гони. Ты же сейчас в отпуск, так? А я... куда я по морозу с дитем, поживи где-нибудь еще, а? – и я шел жить еще где-нибудь.

Офицерское братство, такое ли ты сейчас, как в дни моей юности?

Эта квартира была у меня полтора года, и я не жил в ней ни одного дня; а когда мне намекнули, что я холостяк и в то же время имею жилье, а это несправедливо, и что надо иметь совесть, когда в экипаже есть бесквартирные женатые люди, я почувствовал угрызения совести и отдал ее женатым людям.

## Отпуск!

Отпуск для подводника – это не то, что Родина ему смогла дать, отпуск – это то, что он сумел у нее взять и уйти невредимым. И когда ты получишь с Родины все, что тебе причитается, ты изойдешь мелким длительным смешком, результатом которого может явиться кома. Только не надо среди отпуска вспоминать о возвращении на службу, от этого тоже можно внезапно неизлечимо заболеть. Дали тебе – беги и не думай!

В первый отпуск я еще съездил как все люди, а в



последующие как-то было принято оставлять меня с личным составом: офицеры и мичманы экипажа едут в отпуск, а ты остаешься на это время с матросами. Чудесное времяпрепровождение. А потом, когда все приезжают, тебе дают догулять. Не совсем, правда, все, но кое-что; а потом досрочно втягивается твое тело на веревке, а ты сопротивляешься, не хочешь, дергаешься, заарканенный, но тебя уже волокут по земле, и ставят тебя вертикально, и спрашивают с тебя по всей форме.

"Да вы что?!" – спрашивают с тебя, и ты понимаешь, что виноват, и, как всякий нормальный офицер в таких случаях, говоришь: "Больше не буду!" – и делаешь себе придурковатость.

Вообще-то придурковатость на флоте поощряется и как-то хорошо смотрится. Прилично как-то со стороны. Нехорошо смотрится собственное достоинство, ум, тонкость духовной организации и ее девичья ломкая хрупкость. Отвратительно смотрится честность, если только она не задняя часть все той же придурковатости.

## После отпуска

Получили корабль и добренько так взяли его, японский городской, и отремонтировали!

А корабли у нас разовые. Это значит: один раз сделали корабль – и все. У нас, может, чего другого разового нет, а корабли есть! И зип<sup>\*</sup> есть – годами возим. Возим годами, но не то, и то, что мы возим, можно сразу же выбросить и никому больше не показывать, а то, что нам надо, – это днем с огнем не сыщешь и не достанешь ни за какие деньги, вот разве что за спирт, но в огромных количествах. А вы там, наверное, думали, что мы сами все пьем, – как бы не так!

И все это годами, годами, годами...

У меня двенадцать автономок. Чаще всего по две в году. Чаще всего через "бегот – стоять!", когда в "сжатые сроки", "любой ценой"; когда на ветру, и грузишь сначала на себя, потом – на собственном горбе, потом с себя, и на санях, и голыми руками, и в мороз; когда не спишь вовсе; когда злоба трясет, душит и пена изо рта; когда можешь упасть и не встать, или можешь молотить по твердому безо всякого для себя вреда, и когда успокаиваешься только в море и далеко, и далеко не сразу...

## Взгрустнулось вам?

Ну, ничего. Сейчас я вас развеселю. Сейчас я вам расскажу, как я переводился с лодок. Это весело.

Помните, когда я захотел попасть в подводники, мне сказали, что нужно рыть носом и остальными частями тела, – и я рыл?

Ну так вот, а теперь, через восемь с половиной лет, когда я впервые захотел уйти с корабля на большую землю, мне сказали, что мне нужно снова рыть носом, и теперь они будут наблюдать и оценивать, как я рою, и в случае, если я буду рыть хорошо, тогда они будут ходатайствовать перед вышестоящим командованием...

Так что флот у нас перерыт. Народ наш роет с флота и днем и ночью с диким визгом без стыда. А такие чудки, как я, роют дважды: сначала на флот, а потом – с флота.

Решение навсегда урыть с флота пришло ко мне как-то сразу. На параде по случаю Дня Победы. Как сейчас помню: стоим в строю, готовимся к торжественному маршу, а на трибуне стоят вожди нашего поселка. Посмотрел я на них, подумал про себя: "Саня, чистое ты существо, с кем ты служишь!" – и решил перевестись.

Кстати, о празднике: в праздник нас легче всего пересчитать. Это я о военных. Наших же сусликов никто еще не считал по-серьезному. А в праздник у нас все в строю. Посмотришь на страну сверху – и все в строю. Вся страна. Вот и считай. – А зачем это? – Ты сначала посчитай, а там поймешь, зачем.

На следующий день после праздника было воскресенье, и командир, прямо в строю, объявил нам на завтра рабочий день, а тут как раз Зимбабве, по-моему, на днях освободилось, ну и сказали мы командиру:

– Товарищ командир! Да что ж это такое? В это воскресенье даже негры в Зимбабве на работают.

– Это почему?

– Освободили их... от белых колонизаторов...

– Вот черт! – сказал командир и объявил на завтра выходной.

К начальнику отдела кадров я пошел в понедельник. Я пошел и сказал ему, что со вчерашнего дня мечтаю перевестись.

– Неужели?! – обрадовался он. – И куда же это?

Я сказал, что знать "куда" я не должен. Это он должен знать "куда", а меня он должен встретить на пороге, извиниться за то, что я до сих пор капитан третьего ранга, и с благоговением предложить мне то место, где я, приняв грушевидную форму, целых десять лет буду думать о своем воинском долге с девяти до пяти, с перерывом на обед, целых пять дней в неделю.

\* Запасные части.

– Это безумно интересно! – сказал он. – Жаль только, что вы до сих пор не знаете, как у нас переводят офицера.

– Знаю, – сказал я, – его никак не переводят.

– Верно, – сказал он, – все-то вы правильно понимаете. Неизвестно только, откуда у вас берутся такие дикие мысли: "с благоговением", "должны"... Восемь тысяч офицеров Северного флота выслужили установленные сроки службы. И все они подлежат переводу. Восемь тысяч! А вы будете восемь тысяч первым...

И тут я начал говорить, поскольку чуть-чуть вышел из себя; я сказал этой древесной лягушке, что в его "восемь тысяч" я охотно верю и что если переводить офицеров так, как их сейчас переводят – по одному офицеру в год, – то это восемь тысяч лет, а если переводить по одному в день – то это двадцать лет...

Расстались мы холодно. Шлепнув дверью...

Конечно, лучше иметь в стране не двадцать лодок, а двести, а еще лучше – две тысячи. И чтоб они плавали, плавали, плавали в мировом океане, как клецки в бульоне. И ничего, что они по старости еле ходят. И ничего, что они режут на весь белый свет, как раненые; их у нас столько... и мы как выйдем все, как заре в е м! – и америкосы оглохнут; уши у них отвалятся, у америкосов... обомлеют они... и в этом акустическом бардаке нас никто не отыщет, а мы подберемся к ним, да как ахнем в нужный момент и снесем все до Скалистых гор...

А кстати, а чего это они у нас режут, как раненые, эти наши лодки? А они не могут не реветь! Должны реветь, кстати, потому, что их раненые делали.

У нас все раненые. У нас же нормальных нет. И различаемся только степенью ранения: легкораненые и тяжело... Чем выше, тем тяжелее...

И боятся нас только потому, что мы раненые. Сильны мы своей раненой непредсказуемостью. Непосредственностью своей. Походкой пьяного исполина...

А чтоб это подводное дерьмо еще и плавало, в нем еще и подводник внутри должен сидеть. И чем дольше он сидит, тем лучше. Так приковать его там на десять календарных лет, и пусть сидит.

И сидим... И мы же это дерьмо спасать будем, голыми руками, когда оно тонуть начнет.

Единственный флот, который спасает дерьмо...

Заканчивая этот этюд о дерьме, я бы вернулся к дерьму изначальному – начальнику отдела кадров. Эта тыловая, деревянная жаба, перед моим его покиданием, объяснила мне, что для того, чтобы перевестись с флота, нужно иметь как минимум десять подводных календарных лет ("а у вас только восемь с копейками"). Только после этого с тобой как-то разговаривают. Только после этого ты подаешь рапорт по команде о включении тебя в списки для перемещения. Приказ о включении в списки появляется на свет только раз в год, в декабре, а это значит, что ты служишь уже одиннадцать лет, но можно в первый же год подачи рапорта, по разным причинам (улыбнулся, гад), не попасть в приказ – значит, уже двенадцать лет... и потом, ты здоров, а это не основание для перевода; вот если ты болен, тогда... тогда существует специальный перечень болезней, например, болезнь мозга, но чтоб получить подтверждение на такую болезнь, нужно взять пункцию спинного мозга ("а это не просто, больно это") в клинических условиях города Североморска. Да, кстати, а вы знаете, что офицер место службы не выбирает, и по переводу вас могут засандалить в Магадан?..

Мне захотелось его удавить, но я еще не спросил его об академии.

В академию? Можно и в академию. Но на этот год вы уже пролетели, а на следующий придете в следующем году. Вот так!

Я посмотрел на его горло и вспомнил, что я еще не поинтересовался про адьюнктуру. Я поинтересовался.

В адьюнктуру? Редко, но бывает. Так что не стоит обольщаться.

В общем, я сказал: "Живи, жаба", – и шлепнул дверью...

Три года я переводился с Северного флота. Я пытался уйти в академию, в адьюнктуру, в командиры роты и в ученые; я звонил и бегал, проходил медкомиссии и подписывал характеристики; я отправлял свои личные дела и встречал их; я переделывал представ-

ления, я печатал списки родственников, я звонил и уточнял их девичьи фамилии...

А ушел я в Северодвинск вместе с кораблем. На вечное захоронение. В Северодвинске явился в политотдел, когда наступила осень и сквозь вскрытый лодочный корпус стало прохладно жить, и спросил: где мой угол, в котором буду я и моя семья?

К этому времени биологическое чудо свершилось: я женился. Год мы мыкались, а потом в нашем Клондайк-Сити мне дали квартиру: построена суровыми руками рудокопа-шлаковщика-воина-строителя -- по стенам течет, батареи перемерзают и взрываются, как бутылки на морозе.

Но все же это была квартира. Хоть плохонькая, но своя. Конура конурой, постоянно согретая батареей в одно женское тело.

– Ну и где же мое жилье? – спросил я у замначальника этого полит-пардон-отдела бригады кораблей.

– Видите ли, – начал этот полномочный представитель нашего светлого будущего на земле и в воздухе, – жилфонд нашей бригады рассчитан на пять, ну на семь, максимум – на десять экипажей, а вас тут – двадцать четыре, и потом... – и потом, – сказал он мне, – сдайте сначала там квартиру, и тогда мы начнем с вами разговаривать.

Я поехал и сдал, приехал и стал с ними разговаривать. Говорили мы год, но так и не договорились, и квартиру мне не дали; мне даже справку не дали о том, что не дали квартиру.

В последней беседе этот первый полномочный у корыта даже заявил:

– Слушайте, ну в конце-то концов, мужчина вы или нет! Что вы все время ходите: "хочу жену, хочу жену"? Зачем вам в Северодвинске жена? Кто сюда свою жену привозит? Ну кто? Не страдайте вы. Выйдите на улицу. У нас так все делают...

Действительно, что может быть проще: выйди ты на улицу... А на улице прямо на столбе висело объявление: "Сдается комната одинокому молодому человеку" – и кое-что от этого объявления было уже оторвано.

Семьсот офицеров и мичманов, холостых постоянно и временно, сходило вечером с кораблей нашей бригады, и город впитывал их, как губка. Ни один не валялся под забором, – все где-то тихо лежали, и не на открытом воздухе...

Но наступило эпохальное время. Наступило время эпохального 27-го съезда, и в это время я оказался в отпуске. И, находясь в отпуске в столь историческое время, я вдруг вспомнил (просто озарение какое-то), что лучше всех на этой земле обетованной живут склочники. Я пошел и голосом своей мамы подал телеграмму съезду. Я не стал его поздравлять, я просто спросил у форума коммунистов: почему мой сын до сих пор не переведен никуда, в чем его вина, и если вина есть, то почему на подводных лодках служат только виноватые.

И форум коммунистов ответил маме, что ее сын, – этот редкий природный экземпляр подводника, этот бутон благоуханный военно-морской, – скоро будет переведен в город-герой Ленинград, где постоянно оседают все герои.

– Начним! А у вас есть справка о жилье в Ленинграде?

Так теперь в строю, с удручающей периодичностью, обращался ко мне мой старпом.

И я ему, с той же периодичностью, очень терпеливо и толково объяснял, что я дитя своего времени, что у меня мое только то, что на мне и с собой, и что ни один город Советского Союза, а тем более такая колыбель, как Ленинград, не может похвастаться тем, что я его почетный гражданин.

– А-а... – говорил старпом и отходил.

К тому времени все были уже извещены, что я редкая сволочь, "писатель", и что пишу я во все концы, а особенно обожаю периоды съездов, и что я перевозжусь, видимо, и, видимо, навсегда. И я опять строчил на себя характеристики, представления, вставлял в них, как я отношусь к пьянству, к политике партии, как я изучаю последнее текущее наследие, как я провожу их в жизнь; потом я бежал и отправлял все это, потом оно возвращалось и снова уходило, и снова я носился с ним, носился, носился...

– Начним! – говорил старпом время от времени. –

А справку о прописке в Ленинграде ты уже достал?

В двадцатый раз я не выдержал и прямо в строю диалектически переложил учение Дарвина о происхождении птичьих видов с английского сразу же на монголо-татарский; я переложил его несколько раз и каждый раз был по-своему интересен, поскольку сопровождал его рядом оригинальных манипуляций и артикуляций.

Наступила тишина. Строй слушал как замороженный.

Затем раздался голос старпома:

– Ну, а орать-то зачем? Что, уже и спросить нельзя?

Потом начался хохот, и хохотали все: и офицеры, и мичманы, и матросы – весь мой экипаж. Ну, и я в том числе. После этого стало легче, и я поверил, что я действительно уйду...

.....

Приказ был в июле. Выписка из него шла от Москвы до Северодвинска три месяца, что на десять суток длиннее знамени того путешествия вокруг света во времена Жюль Верна...

– Капитан третьего ранга Михайлов!

– Я!

– Выйти из строя!

– Есть!

– Внимание, товарищи! Сегодня от нас уходит капитан третьего ранга Михайлов. Наш начальник химической службы. Он прослужил на лодках более десяти лет. У него двенадцать автономок... – "От нас уходит" – как о покойнике. А впрочем, верно: ушел, что умер. – ...А теперь... по традиции... он с нами попрощается...

Я обходил строй, жал руки и улыбался. Меня обнимали, пихали в плечо и говорили: "Держись, Саня..." – и я держался...

А дальше?

А дальше – Ленинград, проспекты-светофоры, и на службу на автобусе, и двенадцать нарядов в год, и с "десяти до пяти", и два выходных в неделю, и по выходным – семья, семья, семья...

1990

\* Прописка – основное деловое качество офицера, его кошмар и надежда, его пробковый пояс, его бревно, его соломинка... есть у тебя прописка – и ты человек, нет? – извини...

**Р**оссия сейчас окутана мраком. Странно противоречивы крикливые голоса монополистов слова, которые только и слышны отсюда. Страна молчит, и мы даже не знаем, есть ли ей что сказать, или двадцатилетнее молчание убило уже всякую потребность в слове. Что сказала бы Россия, если бы вдруг клин выпал из ее рта? Мы наблюдаем совершающиеся на поверхности процессы, социальные сдвиги и соответствующие им переломы в сознании. Но затрагивают ли эти процессы самую глубину народной жизни? Нам ясен, более или менее, правящий слой: его новая культура, его вождельствия, его октябрьский национализм. Мы знаем, что этот слой вышел из народа, связан с народом более тесно, чем, скажем, старое русское дворянство и интеллигенция.

Но этого недостаточно, чтобы ставить между ним и народом знак равенства. Мы видим ясно, как выделяемый народом слой знатных людей обособляется от народа, строит свое благополучие на страданиях вышеслойной его массы. Можем ли мы быть уверены, что эта масса, страдания которой не удаются никак скрыть новым властителям жизни, разделяет их оптимизм, их волю к жизни, их упоение строительством культуры? Вопросы, на которые мы не можем дать ответа. А между тем от решения их зависит правильное понимание будущего России. Обрела ли она в революции национальную цельность, крепка ли она, выдержит ли удары внешнего врага, или первый толчок обнажит внутренние противоречия, разрушит непрочное единство и превратит ее снова – и на это раз в обстановке бесконечно более трагической – в человеческую пыль?

Россия знает грозящую ей опасность. Правящий слой делает усилия, чтобы встретить войну не только технически, но и морально подготовленным. В спешном порядке куется национальное сознание, так долго разрушавшееся. Восстанавливается частично, кусками, старая русская культура. Делаются попытки примирить массы с властью разными податками, побрякками, смягчением рабства. Но и отсюда видно, что уступки недостаточны, восстановление медлительно. Время не терпит. Успеют ли перестроиться, примириться, когда пробьет двенадцатый час?

В этой перестройке есть участок, самый отсталый и безнадежно запущенный, на котором хотелось бы остановить внимание. Вернее, даже не участок строительства, а сам строитель. Каков его нравственный облик, или, выражаясь по Ключевскому, нравственный капитал, с которым он стоит перед лицом тревожной и запутанной жизни? Этот облик есть самое неуловимое, ибо самое изменчивое, в современной России. Мешает пониманию и различие социальных слоев и типов, и чередование противоречивых социальных заказов литературе, призванной отра-

жать нового человека. Уж очень она, эта литература, изолгалась за долгие годы потаканья и приспособления. Конечно, это зеркало, но зеркало совсем кривое, и мы не знаем, в какой мере кривизна его обусловлена законами художественного преображения и в какой мере требованиями заказчика. Но мы чувствуем, что человек – это самое важное в современной России (как, впрочем, всегда и везде), что в нем только ключ к пониманию настоящего и будущего. Не видим его, не знаем, но должны знать и видеть, чтобы не потерять всякое чутье России. Остается ловить даже не тени, а как бы запахи живой, но во мраке протекающей жизни. Остается гадать, склеивать мозаику из случай-

# ТЯЖБА О РОССИИ

ных фрагментов рассыпающейся картины. Вести с собой вечную тяжбу за Россию, проверяя себя и себе противореча; на каждое "да" искать "нет". Это честнее, чем догматическое утверждение России чаемой, прекрасной мечты, которой, может быть, не соответствует никакая реальность. Россия нам не любовница, а законная жена. Вспомним, как Садко в поэме А. Толстого отнесся к прелестям подводных красавиц, и вместе с ним сделаем свой выбор – за "рябую девку", за живую женщину, за Альдонсу.

1

Трупным воздухом тянет сейчас из России. При желании можно найти тьму отрядных вещей для утешения и надежды. Но эти струйки тления сейчас заглушают все. Это не значит, конечно, что весь воздух в России отравлен. Но сейчас ветер несет именно эту струю, и было бы лицемерием начинать речь с чего-нибудь другого. Подуло этим ветром с зиновьевского процесса, и многие утешают себя тем, что гниет, собственно, коммунистическая партия, а не Россия, что нам нужно радоваться ее разложению. Политически, может быть, это и так. Но мы собираемся говорить только о моральном балансе России. А здесь дело обстоит иначе. За двадцать почти лет революции партия слишком срослась с телом России, слишком обросла попутчиками, активистами, "беспартийными большевиками", чтобы ее разложение не заражало всего, что вокруг. Это разложение началось давно. Имморализм присущ самой душе большевизма, зачатого в холодной, ненавидящей усмешке Ленина. Его система – действовать на подлость, подкупать, развращать, обращать в слякоть людей, чтобы властвовать над ними, дала блестящие результаты. Но до последнего времени гниль революции была прикрыта угольками революционного энтузиазма. Все новые поколения молодых энтузиастов сжигали свою жизнь и совесть на костре революции. Они совершали чудовищные преступления, но их жертвенность заставля-

## Георгий Федотов

ла прощать многое. Этот неподдельный энтузиазм, а не только декорации московских режиссеров, обольщал столько чужестранных гостей, даже самых честных, но скудных собственной верой, с благоговением касавшихся земли новой мессианской религии. Но вот энтузиазм умер – по крайней мере, энтузиазм революции – и иностранцы больше не обманываются. Все чаще возвращаются отсюда разочарованные. И это несмотря на бесспорные достижения последних лет, на возрастание сытости, довольства, внеш-

ней цивилизации. Режиссерам стало трудно добиваться эффектов внушения. В "седое утро" пореволюционного похмелья все отчетливее выступает та система всеобщего полицейского сыска и провоз-

кации, которая лежит в основе управления страной. В тех грандиозных и поистине неслыханных в истории формах, которые приняла эта система, она развращает не только аппарат власти, но и весь народ. Как велико сейчас число людей, которые, вольно или невольно, не носят маски, надетой на них полицейским режиссером? Не лгут, не клеветают, не требуют казни для своих друзей, не оговаривают невинных – или даже самих себя. Разные могут быть меры и степени. Не все – немногие оказываются в положении 16, но лгут все. Вот страна, где сейчас никто, ни один человек, не может сказать правды. До последнего времени меньшинство – революционная молодежь и активисты – имели монополию правды; их оптимизм, до известной степени, спасал Россию. Теперь петля затянута и на их шее. Ложь стала всеобщей повинностью, и в каких извращениях! Чтобы отвлечь подозрения, чтобы "украсть жизнь у тирана", люди, особенно ненавидящие его, должны больше других лгать ему и доказывать свою верность реальными поступками. Сейчас революционер-антисталинец, вероятно, должен иметь наилучшие связи в ГПУ, а чтобы иметь, он должен заслужить их. Злейшие враги социализма пролезают к власти, не уставая клясться именем Маркса и пролетариата, для того чтобы держать в тюрьмах и казнить защитников угнетенных рабочих и крестьян. Ленинская (или нечаевская) мораль перестает быть отравой партийного отбора; обобщаясь, национализируясь, она грозит стать всенародной. Что будет с нацией, которая вот уже 20 лет как положила в основу воспитания своих граждан, с самого нежного детства, подражание Иуде?

Годы идут, а душу застенка все сгущается над Россией. Сейчас оно более, чем когда-либо, отравляет культурную жизнь. Власть хочет сама строить культуру новой России, строить ее по-новому, не по марксистским трафаретам. Она, в сущности, сама не знает как. Но по-прежнему командует, раздает директивы, ежедневно противоречащие друг другу. Про-

водить их теперь обязаны не партийцы, не испытанные марксисты, а работники культуры, для которых их ремесло, их искусство – все. Вчера они были пассивным объектом воздействия, сегодня они должны проявлять активность, угадывать веления начальства. Трудно представить себе что-либо более отвратительное, чем собрания квалифицированной интеллигенции наших дней, – по крайней мере, по отчетам "Известий". Поэты, ученые, художники напереерыв выступают с унижительными покаяниями, с клеветой и доносами друг на друга. Клянутся в верности деспоту и отрываются от идеи, которыми служили всю жизнь. Совсем недавно на собрании художников Рудзук – т.е. просто сталинский унтер – осмелился учить Юона, как надо рисовать и в какой манере воспитывать молодых художников. Теперь требуется "социалистический реализм", и этот лозунг развязывает наглость невежд. Подражая пушкинскому сапожнику в роли критика, Рудзук находит, что нарисованная кем-то лошадь не похожа на живую, – в лошадях он, вероятно, знает толк. И серьезные люди, артисты, старый мастер Юон не только должны выслушивать эту дичь, но оправдываться, давать обещания исправиться... Можно представить себе, как задыхались они от унижения и бессильной злобы в своих постелях в ту ночь. От партии, интеллигенции, спускаясь ниже, по ступенькам социальной лестницы, в России очень определенной, – на заводах, в деревне мы находим ту же атмосферу злобы и предательства. Испортить машину, пырнуть ножом выскочку-стахановца, сбивающего заработок, угрюмо проголосовать резолюцию о расстреле каких-нибудь вредителей и мечтать о войне, которая покончит со всеми притеснителями, – вот общественная жизнь пролетариата, все еще, по имени, господина страны. Рабочий вредительствует на фабрике, крестьянин в колхозе, не только пассивной забастовкой, но порой, за спиной начальства, уничтожает жатву, чтобы избавить себя от лишней барщины. Он ведет упорную, партизанскую борьбу с властью – но каким оружием! Покорный на собраниях советов, он убивает выстрелом в спину председателя или секретаря; чтобы отомстить директору совхоза, он не останавливается перед тем, – мы читали и это, – чтобы проломить головы его детям. Нечистая, ползучая борьба, где, сцепившись с удавом, человек сам принимает в себя что-то змеиное. Он ненавидит власть, но, когда несчастный, вконец замученный беглец из концентрационного лагеря приближается к границе, окрестные крестьяне принимают участие в погоне, не столько из страха ответственности, сколько ради обещанной награды – за куль муки. Куль муки – цена крови (30 сребреников). Мучительно хочется знать, сколько их еще в России – тех, которые не прельстятся такой наградой за жизнь человека.

2

Поскорее отвернуться от этой картины из дантовского ада. Есть другие изображения современной России, более утешительные и нарисованные свидетелями столь же достоверными. Это образы здоровья, кипучей жизни, бодрого труда и творчества. Здесь в эмиграции они хорошо известны. Последние годы мы на

них отдыхаем от сталинских кошмаров. В этих положительных образах трудно лишь выделить моральную сторону, интересующую нас. Россия, несомненно, возрождается материально, технически, культурно. Народ, теперь почти уже грамотный, весь прошедший через школу, жадно тянется к просвещению. Он выделяет из себя молодую, огромную по численности интеллигенцию, которая, не щадя себя, не боясь никаких жертв, вгрызается в "гранит науки", идет на заводы, в поля – строить новую Россию, счастливую, богатую, великую. Героическая мечта этого поколения – завоевать воздух, пустыни, полярные льды. Бесстрашие русских летчиков и полярных исследователей вызывает изумление во всем мире. Сколько талантов родит русская земля во всех областях творчества: изобретателей, музыкантов, чемпионов. Как хороша русская молодежь в массовых спортивных состязаниях. Какая слаженность, какое единство координированных движений и усилий. Люди, смотревшие русские футбольные команды за границей, отмечали, что сила русской игры не в отдельных достижениях, не в атлетических талантах, а в согласованности и дисциплине. Это ново и поистине удивительно. К русской одаренности мы привыкли. Но знаем так же хорошо и русский анархизм, неохоту и нелюбовь к социальной и трудовой дисциплине. Новое поколение преодолело эту распушенность, наследие мягкого русского барства. Конец обломовщины! Впечатление здоровья и силы, идущее от русской молодежи, не рассеивается тем, что мы узнаем о ее сексуальной жизни. В этом отношении она не хуже всякой иной молодежи нашего времени. Одно время можно было бояться, что сознательное разрушение семьи и идеала целомудрия со стороны коммунистической партии загубит детей. Мы слышали об ужасающих фактах разврата в школе, и литература отразила юный порок. С этим, по-видимому, теперь покончено. Разврат детей оказался накипью революционных лет, подобно хулиганству рабочей молодежи и детской беспризорности. Сейчас нельзя уже обобщать этих мрачных явлений. Беспризорные дети перемерли в лагерях смерти. Хулиганство сублимировалось в танцевальный запой. Школы подтянулись и дисциплинировались. Власть поддерживает моногамную семью, борется с абортными, с половой распушенностью. Нет, с этой стороны русскому народу не грозит гибель. Еще не истощены физические резервы расы. Она размножается с поразительной и даже опасной для народного хозяйства быстротой.

На этом физическом здоровье и крепости строится, правда, очень элементарное, но уже нравственное воспитание. Порядок, аккуратность, выполнение долга, уважение к старшим, мораль обязанностей, а не прав – таково содержание нового пореволюционного нравственного кодекса. Нового в нем очень мало. Зато много того, что еще недавно клеймилось как буржуазное и что является общечеловеческим. В значительной мере реставрировано десятистолетие. Правда, по-прежнему с приматом социального, с принесением лица в жертву обществу, но и лицо уже имеет некоторый малый круг, пока еще плохо очерченный, своей жизни, своей этики: дружбы, любви, семьи. И тот коллектив, которому призвана служить личность, уже не узкий коллектив рабочего

класса – или даже партии, а нации, родины, отечества, которые объявлены священными. Марксизм – правда, не упраздненный, но истолкованный – не отравляет в такой мере отроческие души философией материализма и классовой ненависти. Ребенок и юноша поставлены непосредственно под воздействие благородных традиций русской литературы. Пушкин, Толстой – пусть вместе с Горьким – становятся воспитателями народа. Никогда еще влияние Пушкина в России не было столь широким. Народ впервые нашел своего поэта. Через него он открывает собственную свою историю. Он перестает чувствовать себя голым зачинателем новой жизни. Будущее связывается с прошлым. В удушенную рационализмом, технически ориентированную душу вторгаются влияния и образы иного мира, полновзвучного и всечеловеческого, со всем богатством этических и даже религиозных эмоций. Этот мир уже не под запретом. Вечное заглядывает в глаза, через прошлое стучится в настоящее. Советский звереныш становится человеком.

Эти образы новой России, собранные из документов, из книг, с чужих слов, подтверждаются опытно и, так сказать, зрительно, когда мы случайно сталкиваемся с советской молодежью – студентом, инженером, ученым, – приезжающими за границу. Грубоватые, внешне малокультурные, они почти всегда производят симпатичное впечатление. От них веет здоровьем и силой, и притом не злой, а сдержанной, скорее скромной, хотя и уверенной в себе силой. Разве такие бывают глаза у провокаторов и убийц? Когда мы глядим на них, нам не страшно за Россию. Мы готовы верить в ее будущее.

3

Как примирить непримиримое? Как согласовать эти два портрета советской России, которые оба зарисованы множественством надежных свидетелей? Простейший выход из апории – принять один и отвергнуть другой. Для большинства из нас вопрос решается не исследованием, а верой. Изначальное "да" или "нет" современной России создает в нас могущественную апперцепцию, которая перемалывает впечатления жизни. К сожалению, это правило относится, почти без исключения, к молодежи, которая ради немедленного действия избавляет себя от труда мысли. Здесь вопрос ставится так: с Солоневичами или с возвращенцами? Между этими слепыми или ослепленными флангами эмиграция все более раскалывается пополам.

Каков же выход для зрячих? Для тех, кто не хочет брести в потемках? Нужно изокрыть критическое восприятие жизни. Нужно учиться интерпретировать источники. Исследователь современной России поневоле становится историком. Да и на самом деле, она труднее поддается пониманию, чем многие древние, канувшие в Лету культуры.

Было бы слишком легко отделаться от проблемы, укрывшись за необозримую сложность жизни. В России есть все (как и в любой стране). Цельного образа построить нельзя. Можно лишь копить факты и наблюдения. Такой эклектизм не пригоден даже для истории, чем же он может помочь в лабиринте жизненных противоречий? Мы хотим найти ориентировочные вехи в хаосе явлений, отме-

тить существенное, усмотреть общие контуры и направление событий...

Попробуем наметить некоторые из этих возможных вех. Начнем с внешне-го, — так сказать, территориального. Быт Солоневичей (или Чернавиных) зарисован в каторжном лагере. Героический быт имеет своей территорией вузы, студии, учебные мастерские молодежи. В концлагерях, по грубым подсчетам, томится (или томилось) до 73-х миллионов человек. Может быть, столько же бодро и весело думают строить новую жизнь. Одни начинают свою карьеру, другие, по незадачливости или случайности, ее окончили — сброшены с быстро мчащегося поезда. Те, что в вагоне, не обращают внимания на исчезающих спутников. Они слишком заняты разглядыванием волнующих новизною пейзажей. Завтра, может быть, придет и их черед. Но сегодня они веселые путешественники, строители и патриоты социалистической родины.

Быт лагерей и вузов понять нетрудно. Но 6 миллионов еще не Россия. С кем же страна: со строителями или с мучениками? Вот на что нелегко дать ответ.

Конечно, Солоневич прав, когда говорит, что в концлагере он видел в сгущенном виде то же, что происходит во всей России. Колхоз и фабрика тоже места принудительного, крепостного труда. ГПУ, которому принадлежат лагеря, хозяйничает над всей страной. Повсюду мучают людей, расстреливают без суда... Но ведь так же повсюду, а не только в вузах, люди учатся и работают с увлечением, строят, а не только халтурят, и даже веселятся. Люди сживаются со всем: с нищетой, с недоеданием, даже с перспективой насильственной смерти. Вуз и концлагерь только фокусы, только центры лучеиспусканий, откуда снопы белых и черных лучей прорезают всю Россию. Лучи скрещиваются, переплетаются, картина ни белая, ни черная, а очень пестрая...

Попробуем идти дальше и спросим себя, где, в какой среде, преобладают концлагерные и где вузовские цвета. Во всех профессиях есть удачники, талантливые и сильные люди, которые овладели нелегким искусством приспособляться к настроениям власти. Они искренне любят свое дело и легко соединяют личную карьеру с заботой о благе страны. Таких людей, вероятно, много в армии, в авиации, среди инженеров, ученых, художников. Вузовский тип расширяется, охватывая, конечно, не всю, — но значительную часть советской интеллигенции. Режим каторги вне лагерей всего полнее осуществляется для трудящейся бедноты деревни и города. Колхозник и чернорабочий всего более придавлены государством рабочих и крестьян и всего более деморализованы им.

Не забудем осложняющих поправок. И в колхозах и на заводе, как и в концлагере, есть своя аристократия, свои удачники: стахановцы, ударники, активисты. Строить карьеру можно начиная с самых низших ступеней. Стахановцам должны быть присущи социальный оптимизм и веселая мораль господ. С другой стороны, повсюду так легко оступить и упасть. Сколько людей, в разгаре головокружительной карьеры, останавливаются в холодном поту, чувствуя, что незримая рука приближается к горлу. Не сегодня завтра позвонит "с вещами".

Можно было бы сказать, пожалуй, что вуз и каторга в России приобретают зна-

чение классовых дифференциаций. Господа жизни, вновь созданные революцией, с одной стороны, — а с другой поработенные массы. Тогда свет и тени распределялись бы ярко, как в древнем рабовладельческом обществе. Внизу эргастерий с прикованными рабами. Наверху триклиний, где Петроний принимает своих утонченных гостей. Или, поближе к русской действительности, крепостная девичья и гостиная 40-х годов. Но эти параллели грешат двумя неточностями: во-первых, в современной России культурный уровень разных классов несравненно однороднее, чем в любом историческом обществе. Во-вторых, классовые различия еще неустойчивы. Лично завоеванное положение легко гибнет. Неравенство — и притом вопиющее — не приобрело стабильного характера. Бедность еще не унижительна, и богатство не дает прав на уважение.

Возможно ли подойти к интересующей нас дифференциации с количественным критерием? Кого больше: счастливых или угнетенных? У нас нет никаких данных для ответа, кроме самых априорных. Несчастливых всегда больше, чем счастливых, аристократия, отбор — по самому понятию — есть меньшинство. Однако это меньшинство может быть весьма значительным, а главное, при его активности и повышенной культурности, именно оно представляет современную Россию и определяет ее судьбу. Так, конечно, и в прошлом — не крепостная необозримая масса, а тонкий слой дворянства и интеллигенции творил историю России. Однако, до какой-то черты. До 1917 года.

Не забудем и "болото" — обывателя, зощенковского героя, — того, который не организует, не душит, но и не чувствует себя на каторге; изворачивается в нелегкой борьбе за жизнь и хочет кое-как скрасить свое существование. Таких, вероятно, большинство. Социалистическому обществу не удалось избежать своего мещанства. Оно выполняет даже положительную морально-санитарную роль. Не участвуя в гражданской войне и лишь пассивно в бесчеловечном строительстве, эта вялая, рыхлая масса смягчает, как подушка, жестокость сильных и ненависть слабых. Здесь находят свое последнее убежище жалость. Эта бытовая бескостная масса связана одной стороной с господами, другой — с рабами. Без нее общество — всякое общество — расколосилось бы на враждующие классы. Схематические изображения современной России слишком часто забывают о значении этой аморфной, нейтральной среды.

4

До сих пор мы пытались, ощупью, установить если не классовое, то психологически-бытовое расслоение России. Не забыли мы по дороге о нашей теме — о морали? Разве символические категории вуза и концлагеря покрывают нравственные категории добра и зла? Конечно, нет, и здесь-то и начинается самая болезненная часть исследования.

В нашей условной классификации "концлагерь" включает в себя и палачей и жертв. Нам трудно, невыносимо покрыть одной моральной категорией чекиста и терзаемую им жертву. К тому же русская интеллигенция всегда была склонна идеализировать добродетели угнетенных. Но

мы знаем — знали всегда, и современная Россия дает нам новые, ужасные подтверждения тому, — что рабство развращает. Есть степень насилия, которая, при отсутствии героического или святого сопротивления, уничтожает личность человека, превращает его в лохмотья, лоскутья человека. Конечно, совершенно разный стиль гнусности — палача и жертвы. Пусть безмерно более тяжка ответственность первого, но Иуда-то получается из жертвы. А также тот низкий мститель, который убивает детей за грехи отца... Вот почему в наших надеждах на моральное возрождение России не будем рассчитывать на миллионы сталинских рабов. Поскольку мученичество их не вольное и не просветленное, поскольку у них, или у большинства их, нет Бога в сердце и христианской силы прощения — их страдания искажают и губят в них все человеческое и оставляют грядущей России тяжелое наследие цинизма и злобы. Поскольку... Но к этому мы вернемся.

Обращаемся к верхнему, чистому этажу русской жизни. В нем-то так ли уж все чисто? И, прежде всего, так ли однороден этот слой, который мы окрестили "вузовским". Ведь из предыдущих схем наших ясно, что он включает не только энтузиастов-юношей, но и преуспевающих карьеристов, суровых господ жизни... следовательно, и палачей? Без палачей не обойтись и в красном, чистом углу России. Вообще, чтобы что-нибудь понять в ней и что-нибудь простить ей, надо раз навсегда отказаться от требований полной чистоты. Но с этой оговоркой, не насильственно ли, не произвольно ли мы объединяем в понятие единого слоя юношустудента и маститого героя гражданской войны, переменившего дюжину специальностей — прошедшего, весьма возможно, и через Че-Ка, чтобы кончить свою жизнь краскомом, директором завода и даже директором вуза? Нет, не произвольно, ибо он сам, этот юноша, не отгораживается от господ жизни, он живет с ними общей жизнью, вдохновляется примером их подвигов, ставя их себе в образец. Но и как изолировать себя от их общества, когда они повсюду занимают первые места? Знает ли юноша, сколько крови на руке знатного товарища, которую он пожимает. Знает, конечно, но это его не смущает. Знает ли он о миллионах, томящихся без всякой вины в концлагерях? Знает, — весьма возможно, не одобряет, но не очень расстраивается. Вернее, кровь и жестокость окружающей жизни не мешают ему наслаждаться своей молодостью, сознанием своей силы и радостью "творческого" (он преувеличенно подчеркивает: творческого) труда. Счастлив он, если ему самому, выросшему не в годы гражданской войны, не довелось проливать кровь. Но если он чуть-чуть постарше и участвовал в строительстве первой пятилетки (1930-й год!), то без крови вряд ли обошлось. Эта кровь его не мучит. Едва ли он вспоминает о ней. Советская литература дает нам множество примеров того, с какой легкостью переступает современный человек через кровь. Не будем торопиться причислять его к чекистам. У него такой честный и открытый вид. Он вовсе не жесток и полон самых благих намерений: по отношению к родине, народу, своему призванию. Не жесток, но, конечно, жесток — в России это высшая похвала. Его можно, не обижая его, назвать толсто-

кожим. У него мозоли не только на руках, но и на сердце. Да и как иначе он мог бы выжить и уцелеть в это жестокое время, родиться в котором он считает величайшим счастьем. С точки зрения вечной христианской и старой русской морали, у него почти нет того, что называется совестью. Вернее, она у него весьма рудиментарна. Признаем это безбоязненно, и пусть это не мешает нам любоваться его мужеством, его жизнерадостностью, его жертвенностью.

Содержание велений совести – или ее требовательность – так часто менялись во времени. В средневековье – в самые христианские столетия нашей культуры – жизнь человека ценилась очень дешево. Отправляясь в дорогу, каждый брал с собою меч или нож, чтобы обороняться от лихих людей. За такое, почти невольное, бытовое убийство совесть не упрекала... Не упрекает она и в наше время офицера и солдата, "исполняющих свой долг" на войне. Или, вернее, редко упрекает. Скажут, одно дело война, другое – революция. Не будем наивничать. Мы сами живем здесь, среди изгнанников, в большинстве участников гражданской войны. Чувствуют ли они угрызения совести за пролитую русскую кровь? Так вот, юноши в России смотрят точно так же на кровь "белогвардейцев" или "контрреволюционеров", как здесь смотрят на кровь большевиков. Она не отягощает совести.

И здесь и там, да и не только у нас, русских, – у всего послевоенного мира совесть не та, что была в блаженные годы начала века. И наших современников – не зрителей, а участников истории – справедливо мерить меркою не XX-го, а скажем, XVII века. Тогда и юный строитель советской России перестанет нам казаться нравственным чудовищем, и мы поймем, как он может иметь такие невинные, спокойные глаза.

Поймем и простим – ему, но не строю, который делает бесчеловечие (в России, как и в Германии) законом жизни. Пожалуй, труднее простить другое: ту неизбежную и повседневную ложь, которая кажется нам несовместимой с мужеством и героизмом. Но и здесь, проклиная строй, покоящийся на основной лжи, постараемся вдуматься в психологию социально-неизбежной лжи.

Каждое общество существует на известном цементе социальной лжи, называть ли ее условностью, приличием или лицемерием (*canon*). В старой монархии лесть была неизбежной формой обхождения при дворе. Ломоносов, Державин не были подданными, когда писали свои хвалебные оды. Благородные люди употребляли формулы (в Московской Руси, например), которые нам кажутся несовместимыми с человеческим достоинством, какими, может быть, потомкам покажутся и наши формы вежливости. Культ вождей в современной диктатуре гнусен, но для участников его он не отличается от монархической верноподданности. В Англии республиканцы по убеждениям участвуют на каждом шагу в монархических манифестациях, а люди, не очень твердые в вере, подписывают 39 статей англиканской церкви. В России с такой же легкостью голосуют в се предлагаемые резолюции, не смущаясь содержанием. Открытый протест невозможен и, вероятно, кажется донкихотским, несоциальным поступком. Но и в России – мы знаем это – проводят различие между добрым товарищем и

подлецом. Есть подхалимство, которого не прощают. Есть предательство, которое исключает негодя из личного дружеского общения. Понятия добра и зла существуют, хотя и сдвинуты сравнительно с христианской моралью. Делать карьеру интригой и пронырством, подставлять ножку направо и налево соперникам, выслуживаться, пуская пыль в глаза, особенно промышлять доносами, конечно, и в России мерзко, отвратительно, хотя обеспечивает нередко (как и в доброе старое время Молчалиным) легкий, если и не очень прочный, успех. Честные работники, образующие советский актив, живут в одной среде с проходимицами и провокаторами. Они ими облеплены весьма густо. Режим диктатуры, особенно на ее идеологическом ущербе, чрезвычайно благоприятен для культуры подлости. Но грани между честным и подлым активом, слава Богу, не стерлись. Подлецы время от времени разоблачаются – конечно, не все. Самые ловкие пролезают наверх, к подножию трона. Есть слои, или прослойки, по самой злосчастной природе их наиболее обезоруженные перед спросом на халтуру и подлость. Увы, к таким принадлежит профессия литераторов, которая невольно заслоняет для нас всю остальную интеллигенцию в России. Но можно быть уверенным: там, в России, видят границы, которых не смеет переступить человек, имеющий право на уважение. И, как бы ни отличались их границы от границ старой или христианской морали, и мы не можем отказать в уважении тем, кто, живя среди необыкновенных соблазнов, соблюдает скромный, неписанный, но принятый для себя закон.

## 5

И это все? Все, что мы имеем сказать в защиту России? Этим слоем толстокожих оптимистов и строителей исчерпывается все лучшее, чем жива Россия? Признаюсь, при всем уважении к этой породе, мне бесконечно больно за Россию, когда я поддаюсь малодушию видеть в них ее подлинную элиту. Эти серые герои, без Бога и без жалости к человеку, с большим вкусом к жизни и труду, – как много в них общего с молодежью Запада и Америки и как мало – со старой и древней Россией, у которой не было ни одного из их достоинств, но зато сколько им не понятного духовного благородства. Ловишь себя на сомнении: да полно, Россия ли это? Один ли язык русский и территория составляет духовное лицо России? Ведь тогда, пожалуй, и обитатели Элладского королевства тоже граждане древней, вечной Греции.

От чекистов и рабов, от строителей и мещан хочется предпринять последнее, необыкновенно трудное "путешествие в глубь ночи", окутывающей Россию. Есть еще одна категория людей, которых мы не опросили в нашей анкете и которые не могли бы дать нам никакого ответа. Ибо это категория молчащих. В них-то и таится сейчас последняя надежда России. Говоря о молчащих, надо пояснить, кого, какую категорию молчалиников мы имеем в виду. Ибо молчит, как мы сказали в начале, вся страна, за исключением строителей и подхалимов. Но у молчания есть разная глубина, разная значительность. Я бы сказал, у молчания есть разный язык. Об одном молчании мы знаем, что за ним скрывается. Мы знаем, что такое мол-

чание ненависти или скуки. И тем и другим – а это, может быть, огромное большинство в России, – в сущности, нечего сказать. Одним нужны некоторые эффективные жесты – разmozжить голову, например, – другим нужны некоторые полезные вещи – жилплощадь и кровати с шишечками. Да, в сущности, эти категории молчащих находят своих адвокатов и бытописателей. Одна в Солоневичах, другая в Зоценко. Но есть молчание, значение которого для нас неведомо. Мы знаем только, что оно существует и что звук его (звук тишины) на весах вечного бытия России перевешивает весь гром оркестра одной шестой.

Где можно подслушать это молчание? Начну с простейших примеров. Когда мы с негодованием просматриваем списки подписей под очередным иудиним письмом, всегда ли мы обращаем внимание на то, чьих подписей здесь недостает? Мы поражены, видя пропечатанным позор людей, которых привыкла любить и уважать "вся Россия". Поражены, и больше не хотим ничего знать. Ну а те, кто не подписывались, кто промолчали? Так ли их уж мало? И что означает их молчание? Оно означает если не прямую опасность для жизни и свободы, то, во всяком случае, для карьеры. Не подписавшийся человек не может рассчитывать на ответственные места; на водительство в той настоящей стройке, в которой ему, совершенно бескорыстно намерено, хочется принять участие. Не подписавшийся вычеркивает себя из списка активных, уходит в полуподполье, жертвует драгоценными годами быстро утекающей жизни, которую он мог бы отдать целиком любимому делу, России. Он, может быть, губит свое призвание, свою жизнь, чтобы не совершить этого иудина жеста. А мы не замечаем, сколько самоотвержения погребено в пустом месте, между столбцами газетного листа. На каждое из имен популярных строителей новой культуры можно назвать не одно имя, нам известное, человека, который мог бы быть в первых рядах, а кончает свою жизнь в потемках библиотеки или в канцелярии советского учреждения. Мы знаем философов, ученых, которые не пишут книг, талантливых писателей, которые вдруг умолкли. Преклонимся перед жертвой, которая скрывается за их молчанием, и не будем интерпретировать его в духе культурной контрреволюции.

Среди благородных молчалиников есть, конечно, немало людей старых традиций, которые органически не смогли принять новую жизнь и замкнулись в кругу воспоминаний. Это доживающие себя. Их значение исчерпывается поддержанием внешнего культурного преемства между поколениями, что само по себе тоже немаловажно. Но мы знаем среди людей этого круга и таких, для которых опыт грозных лет не прошел даром. Он очистил и высветлил их культурное и творческое себялюбие, открыл им источники не подозреваемой раньше духовности. Они все простили и ничего не хотят для себя. Им не жаль даже старого, и они живут, поскольку в них сохранилась искра социального служения, лишь верой в воскресение России. Качество новой, открывшейся им духовности нам не ясно, – оно, вероятно, различно у разных людей, но будем уверены, что под чудовищным прессом революции эта сдержанная, недоступная слову духовность наметается

от давления, о котором мы, говорящие и болтающие, не имеем понятия.

Одни ли старики молчат в России? Среди онемевших писателей есть люди совсем молодые, иной традиции, люди Октября, для которых пришла пора задуматься над смыслом жизни. Чудом дошедшие до нас "письма оттуда" рисуют очень молодую культурную среду, которая живет вечными вопросами духа. Может быть, это и не молчаливники в полном смысле слова. Может быть, эти юноши, каждый в своей специальности, математике или теории искусства, пишут книги, как-то выражают себя. Но не до конца. Или говорят за четырьмя стенами, в тесном кругу друзей. Чем дальше идут годы с их охлаждением революционного и вообще социального энтузиазма, тем больше число молодых и на все сто процентов советских людей, которые ставят себе вечные и такие русские вопросы: зачем жить? что делать? Эти вопросы, может быть, измучат юношу, у которого так мало сил и средств для ответа, доведут его до самоубийства. Но они свидетельствуют о проснувшейся совести. Да и ответы кому-нибудь да откроются. Не свойствен русскому человеку скептицизм. Самое замечательное то, что эти вопросы, в робкой и часто рабьей маскировке, просачиваются в литературу. Иначе быть не может. Не может вся литература великого народа исчерпываться поверхностным социальным заказом. Нужно обладать тонким слухом и свободой от предвзятых идей ("паразитов"), чтобы подслушать по этому радио голос молчащей России. С большой чуткостью и изощренным литературным слухом у нас несет эту службу Г.В.Адамович: радиотелеграфист, который ловит в океане голос России.

Есть среди молчаливников одна категория, самая многочисленная и лучше других известная: это люди верующие, "церковники", которые и платили и платят за исповедание (тоже, в сущности, молчаливое) своей веры годами, десятилетиями тюрьмы, ссылки, каторги. Признания их известного социального значения следует видеть в самом факте сохранения властью остатков культа. Но не будем преувеличивать внешнее, социальное значение этого факта. Наблюдатели России последних лет — большинство иностранцев и русских беженцев оттуда — игнорируют религиозную жизнь. Очевидно, она настолько сжалась, стала уделом такого меньшинства, и притом молчащего, что поверхностный наблюдатель проходит мимо, не замечая самого явления. Да и как увидеть духовную жизнь, не находящую выражения в слове, ничем не воплощенную социально. Ибо открытый культ может быть интерпретирован по-разному, и чаще всего интерпретируется живучестью бытовых традиций в старом, уходящем из жизни поколении.

Но мы можем быть уверены: не бытовые традиции делают людей мучениками и дают им такую силу духа, на каторге и в тюрьме, о которой изредка доходят до нас скудные свидетельства. Христианство в России снова стало той героической верой, какой оно было в Римской империи, в младенческие годы Церкви. Сколько вековой ветоши должно было сгореть в очистительном огне, как обновилось и просияло вечное!

Их мало, этих избранников, но нельзя поверить, чтобы такая вера, такое горе-

ние не имели своего лучеиспускания. Там, где горят эти потаенные огни, там смягчается злоба, расплавляется скука, по-новому освещается созидательная работа, и даже — бывало и это — кое-где опускаются руки палача.

Та жизнь духа, которая связана с Церковью, не ограничена никаким культурным или классовым кругом. В этом ее значение — если не для настоящего — то для будущего России. И, конечно, центральный вопрос духовного воскресения России в том, найдут ли утоление новые смутные духовные запросы молодой России в вечном источнике, питавшем доныне духовную жизнь народа.

\* \* \*

Здесь, в эмиграции, в наших расчетах на русское национальное возрождение, мы делаем ставку на один из двух полюсов русского общества: на рабов или на строителей. Первая ставка — на ненависть и разрушение, вторая — на примирение и созидательный труд. Этот выбор, который политически неизбежен, делает вся эмиграция. Он лежит, психологически и морально, в основе нашего разделения на пораженцев и оборонцев, которое уже начинает поглощать все наши политические группировки. По мере того, как призрак войны из темных предчувствий вступает в ясный свет исторического дня, выбор становится все неизбежнее. Родина зовет. И выбор простой и ясный. Политику не на кого больше ставить, как на один из двух основных типов русской жизни. Но когда мы углубляемся мыслью в будущее и от завтрашнего дня переходим ко дню послезавтрашнему, когда гадаем о духовном облике России, тогда вспомним о третьем: о бессильных ныне и скрывающихся по "пещерам и ущельям" советской жизни, о тех, голос которых не доходит до нас, но которых, поистине, не только Россия, но и "весь мир недостоин"; и на них, неизвестных, с полным сознанием риска поставим свою ставку: ставку Паскаля, ставку веры, — ставку, без которой не для кого и незачем жить.

1936

## Игорь Померанцев

### ВОИН ИЗ ОТРЯДА ПРЯМОКРЫЛЫХ

Странно, но во времена особого человеческого озверения хранителями культуры часто становятся звери. Почему? От ужаса самый робкий десяток рода человеческого, поэты, оборачиваются кто в муравья, кто в сокола. Стоит удариться о сырую землю, и тебе уже не страшен змей о двенадцати головах.

Еще в юности я полюбил одного поэта, который свои книги оборотил в инсектарий и террарий. Что делать, если страшно? Для начала можно сказать больным, заразно больным. Лучше не суйтесь ко мне. Я в шелушащихся корках. Я вдыхаю охру, а выдыхаю хрип. В моих легких дранка. Мои подушки — осклизлые грибы, слизи. Под когтями у меня зуд. С моих клешней стекает ржа, сода, муравьиный йод. Мне пододвигают шестом ведро со стерляжьими отжимками, и я втираю их в подшерсток, втираю кактусом. Моя конура трескается по ночам. Мой возлюбленный — гундосый кот. Мы играем на обрезках, жестянках, железках под чавканье мазурских топей. Не целуйте меня: мои губы обметаны сыпняком. А ведь тот, кто сейчас в щебне, прахе и золе, когда-то был точильщиком, стекольщиком, пыльщиком. Точил ножи конькобежцам, целовал шарманщицу в челку, заплетал проволочные лапки бабочкам, раскуривал конопляную рифму. Да, кузнецом, который от страха подался в кузнечики. Авось не заметят. Балуй себе, куй, стрекочи, трогай усом подковы. Тогда сильно чешутся надкрылья и колется ресница репейника. Ничего, ты в защитной плащ-палатке на трехвершковом гербе брусничной поляны. Душа — в коробке костяной. А это кто? Летит-по птичьей, ревет по бычьей, трет крылом о крыло. Сверчок. А кто дает стрекача? Коза русского черта, муха английского дракона. Между прочим, из отряда ложнощитокрылых. Точно: стрекоза. Все стрекала похожи на сердцебиение. Под стрекалом лопаются нежная лягушечья спинка, фасетка ока, яркострекочущее крыло подруги. Седло у кузнечика сбилося. Он стреляет по бабочкам живчиками, стоя в зеленом по колени. Душный воздух предгрозя забуривается в зобу. Пронесется цикада на колесницах, циклопы на мотоциклах. И снова компресс, скорлупки елочных игрушек, бархат малины. Подрагивает крылышко ноздри. И так всегда: или болен, или кузнечик с усом наперевес. Молодец. Продержался.

Может, эти заметки пригодятся исследователю творчества Арсения Тарковского.

1991

Лондон

**К**онстантинополь. 7 июня 1933. Я добрых десять раз встречал Гитлера в кайзеровском дворце в те времена, когда он, уже будучи канцлером, лихорадочно проводил свою избирательную кампанию. Я видел Муссолини, без усталости взиравшего на легионы юношей, которые маршировали перед ним. А однажды вечером на Монпарнасе я узнал Ганди в окутанной белым фигуре, скользившей вдоль домов

Суций Медон или Сен-Клу – но краски, как на Лазурном берегу. Пологие зеленые склоны, на которые бросают тень приморские сосны. Да это пригород! Барышни-машинистки и мидинетки грезят, устроившись в лодках, а их поклонники сидят на веслах. Торгуют шоколадом, мороженым, фотографы охотятся за прохожими, владелица тира мирно восседает за прилавком.

Расстояние между островами не шире, чем между берегами Сены. Среди зелени, громоздясь одна над другой, белеют виллы. Новая остановка. Потом еще одна. Почти все парочки уже сошли на берег.

Вот и Принкипо – остров, на котором находится дом Троцкого.

## Жорж Сименон

век. Он в комнатных туфлях и тоже без пиджака. Еще двое пьют кофе в первой из комнат, всю обстановку которой составляют стол и стулья.

Движения у всех ленивые, замедленные. Наверно, это воздух виноват. Я и сам никуда не спешу, не испытываю никакого нетерпения и даже, пожалуй, никакого любопытства.

– Господин Сименон?

Один из молодых людей приветливо приближается ко мне, протягивает руку, и вскоре мы уже сидим с ним вдвоем на

# У ТРОЦКОГО

в сопровождении молодых женщин-фанатичек.

И вот теперь ради того, чтобы встретиться с Троцким, я очутился на мосту более многолюдном, чем парижский Новый мост, соединяющем старый и новый Константинополь, Стамбул и Галату. Почему мне припомнилось погожее воскресенье где-нибудь на Сене, неподалеку от Сен-Клу, Буживаля или Пуасси? Не знаю.

Корабли вокруг путаницы причалов напоминают мне парижские речные трамваи. Размером побольше? Разумеется, побольше. Что и говорить, выглядят они как заправские морские суда, и соленая вода плещет о трапы. Но тут все дело в пропорциях. Пожалуй, обрамление пошире, да и горизонт подалее.

Один берег здесь – Европа, а другой – Азия. Вместо буксиров и барж, бороздящих Сену, отсюда под флагами всех стран мира уходят в Черное море или протискиваются в Дарданеллы грузовые суда и тепловозы.

Впрочем, какая разница? Меня преследует атмосфера погожего воскресного дня, ресторанчиков в предместье. На палубе влюбленные парочки, крестьяне, везущие в клетках кур и петухов, матросы с увольнительными на берег, заранее улыбающиеся в предвкушении удовольствий, которые им предстоят.

Троцкий? Позавчера я написал ему письмо с просьбой о встрече. На другой же день, с утра, меня разбудил телефонный звонок.

– Господин Сименон? С вами говорит секретарь господина Троцкого. Господин Троцкий примет вас завтра в четыре. Должен сразу предупредить: высказывания господина Троцкого слишком часто искажались, а посему он желал бы получить ваши вопросы заранее в письменном виде.

Я задал три вопроса. Небо над головой синее, воздух так же прозрачен, как глубокая вода, в которой колышутся темно-зеленые водоросли. Там, в Мраморном море, в часе езды от Константинополя, виднеются четыре острова, здесь о них так и говорят – "Острова", – и вот мы уже коснулись причала одного из них.

Мне помнится, ходили какие-то толки о роскошном убежище, о привольном курортном житье-бытье, о поместье, напоминающем райский уголок.

На берегу Сены тоже, по мере того как удаляешься от Парижа, повышается социальный уровень: скромные кабачки сменяются богатыми виллами, а прокатные ялики – моторными лодками.

В Принкипо и сам причал понаряднее, и в ресторанчиках вокруг белоснежные скатерти так и сверкают на солнце. Под полотняным навесом поджидают экипажи, запряженные парами низкорослых лошадей, но конкуренцию им составляют ослы, которые стоят оседланные и терпеливо ждут. На маленькой площади их скопилось полсотни, если не сотня.

В пятницу, когда в Турции день отдыха, их будут брать с бою. И везде, где только есть тень и трава, в каждой бухточке, за каждой изгородью, на каждом откосе будет кишеть толпа, раскладывая угощение, опьяняясь смехом, музыкой и флиртом.

Троцкий? Автомобиль везет меня по дороге, по обе стороны ее тянутся виллы. Многие сдаются внаем или продаются -- в Турции тоже сильно сказывается кризис. Жалюзи закрыты, но в садах полным-полно огромных, прямо-таки тучных роз. Внизу, позади домов, мелькает синяя морская гладь. Автомобиль тормозит. Шофер указывает рукой направление. Мне остается только миновать проулок между двумя оградами. Воздух, вода, листва, небо – все охвачено таким спокойствием, такой неподвижностью, что кажется, будто, проходя, я разрываю солнечные лучи.

Но вот за садовой решеткой появляется человек. Форменный китель турецкого полицейского распахнут, под ним белая сорочка; обут человек, словно мирный рантье у себя в саду, в мягкие туфли-шлепанцы.

– Господин Сименон?

Я в густом саду, размерами не больше ста на пятьдесят метров. В пыли возится небольшой пес. В кресле-гамаке – небрежно одетый молодой человек; он читает английскую брошюру и не удостаивает меня даже взглядом.

На веранде еще один молодой чело-



террасе; на другом конце сада полицейский приводит в порядок свой мундир.

Здесь можно было бы сидеть часами, ничего не делая, ничего не говоря и, быть может, без единой мысли в голове.

– Если вы не против, давайте сначала поболтаем с вами вдвоем. Потом вы увидите господина Троцкого.

Секретарь не русский. Это молодой северянин, пышущий здоровьем, розовощекий, светлоглазый. По-французски говорит так, словно родился в Париже.

– Я очень удивлен, что господин Троцкий согласился вас принять. Обычно он избегает журналистов.

– Вы знаете, чему я обязан такой благосклонностью?

– Понятия не имею.

Я тоже. Не узнаю я этого и в дальнейшем. Возможно, мои вопросы совпали с желанием Троцкого именно в тот момент высказаться на определенную тему?

Мы болтаем, а вокруг нас все неподвижно в неподвижном воздухе. Двое молодых людей в саду – гости: один из них англичанин, другой швед. Они уедут через неделю или через месяц, а на их место явятся другие, из какой угодно части света, друзья или ученики, и будут жить некоторое время поблизости от дома на Принкипо. Близость самая настоящая – в такой полной близости живут обитатели казарм.

Наверху, по дороге, проносятся машины.

– Покушений не бывает?

– Не бывает. Как видите, жизнь здесь простая. Вот в той будке, в глубине сада, живут два полицейских. Господин Троцкий навещается в Константинополь только к врачу или к дантисту. Садится на тот корабль, которым вы приехали, а полицейские его сопровождают.

К этому сводятся все отлучки из дома. Г-н и г-жа Троцкие нуждаются в советах врача.

В остальное время не выбираются даже в деревню. Да и зачем? Чтобы это понять, надо побывать здесь, на террасе, возвышающейся над садом и морем, откуда рукой подать до Азии с одной стороны и до Европы с другой.

– Хотите встретиться с ним прямо сейчас?

В комнатах голые белые стены, их отчасти разнообразят лишь стеллажи с книгами. Книги на всех языках; замечаю "Путешествие на край ночи" в затрепанном переплете.

– Господин Троцкий недавно прочел эту книгу, и она его глубоко взволновала. Между прочим, французскую литературу он знает лучше всего...

Троцкий встает, чтобы пожать мне руку, затем снова садится за письменный стол и слегка придавливает меня взглядом.

Его описывали тысячи раз, и у меня нет охоты предпринимать еще одну попытку. Хотелось бы только передать то впечатление спокойствия и безмятежности, которое он на меня произвел, того же спокойствия и той же безмятежности, что чувствуются и в саду, и в доме, и во всей обстановке.

Троцкий попросту, дружески протягивает мне машинописные страницы с ответами на мои вопросы.

– Я продиктовал их по-русски, а сегодня утром секретарь их перевел. Попрошу вас только расписаться на втором экземпляре, я его сохранию.

По письменному столу раскиданы газеты со всего мира; наверху "Пари-Суар". Судя по всему, перед моим приходом Троцкий ее проглядывал.

В оконном проеме виднеется конец сада, где пришвартован миниатюрный флот: маленький местный каик и моторка со съёмным двигателем.

– Вот видите, – улыбается Троцкий. – С шести утра я на рыбалке.

Он не упоминает о том, что вынужден брать с собой на рыбалку полицейских, но я и без него это знаю.

Он кивает в сторону покатых холмов малой Азии, до которых не более пяти километров.

– Зимой я там охочусь...

На столе рядом с газетами начатая статья.

Вот и все, вот и вся жизнь в этом доме. Раз, а то и два раза в день Троцкий закидывает удочки в спокойные воды Мраморного моря.

Остальное время он проводит здесь, в кабинете, так близко и в то же время так далеко от мира.

– К сожалению, газеты я получаю с опозданием в несколько дней.

Он улыбается. Лицо у него спокойное, взгляд ясный. Но каких усилий это ему стоит? Не приходится ли ему беречь силы? И не для того ли, чтобы продолжить свое дело, обречь он себя на это падающее существование, немного напоминающее

жизнь человека, осторожно делающего первые шаги после болезни?

А может быть, это простое благоразумие?

– Можете задавать вопросы.

Это правда. Но я обязался не разглашать того, что он мне говорит. Троцкий комментирует свои высказывания, которые отдал мне в напечатанном виде. И голос его, и движения гармонируют с окружающим покоем.

Мы долго беседуем о Гитлере. Эта тема его занимает. Я излагаю ему весьма противоречивые мнения, услышанные мною в различных концах Европы, не столько о деятельности фюрера, сколько о нем самом, о его сильных сторонах.

Полагаю, что не нарушу своего обязательства, повторив несколько поразивших меня слов, прозвучавших там, в доме в Принкипо, так далеко от Берлина:

– Гитлер делал себя сам по мере того, как осуществлял свою задачу. Он учился, поднимаясь со ступеньки на ступеньку, переходя от этапа к этапу, в процессе борьбы...

А ответы на мои вопросы? Давайте прочитаем их вместе.

## II

Я спросил Троцкого: *Считаете ли вы, что расовый вопрос будет преобладающим в процессах, которыми сменится нынешнее брожение? Или главным будет социальный вопрос? Или проблемы экономики? Или военная проблема?*

Ответ Троцкого:

– Нет, я далек от мысли, что раса станет решающим фактором в процессе ближайшей исторической эволюции. Раса есть сугубо антропологическая материя – гетерогенная, неочищенная, смешанная (*mixtum compositum*), – материя, из которой историческое развитие сотворило полуфабрикаты, называемые нациями. Судьбу грядущей эпохи решат классы и социальные группы, политические течения, рождающиеся на основе классов. Разумеется, я не отрицаю значения свойств и особенностей, присущих расам, но в процессе эволюции они отходят на задний план, уступая место технике труда и технике мысли. Раса – элемент статичный и пассивный, история – это динамика. Каким образом относительно неподвижный элемент может определять собой движение и развитие? Все отличительные черты рас исчезают перед двигателем внутреннего сгорания, не говоря уж о пулемете.

Когда Гитлер готовился к установлению государственного режима, адекватного чистой германо-нордической расе, он не нашел ничего лучшего, как заняться плагиатом, взяв за образец южную расу латинян. В свое время Муссолини в борьбе за власть использовал, хоть и опрокинув ее с ног на голову, социальную доктрину, принадлежащую немцу, вернее, немецкому еврей, Марксу, которого еще за два года до того он называл "наш общий бессмертный учитель". Если сегодня, в двадцатом веке, нацисты предлагают повернуться спиной к истории, к социальной динамике, к цивилизации и вернуться к "расе", то почему бы не вернуться еще дальше назад: ведь антропология есть часть зоологии, не так ли? Кто знает? Возможно, в царстве антропитека расисты

почерпнут самое возвышенное, самое бесспорное вдохновение, которое поможет им в их творчестве?

## Диктатуры и демократии

Вопрос: *Можно ли рассматривать группу диктатур как эллион перегруппировки народов, или это случайный, преходящий факт?*

Ответ Троцкого:

– Не думаю, что объединения государств будут происходить под знаком диктатуры с одной стороны и демократии с другой.

За исключением тонкого слоя профессиональных политиков, нации, народы и классы не живут политикой. Государственные формы – это не более чем средство для выполнения определенных задач, главным образом экономических. Разумеется, определенное сходство государственных режимов располагает к сближению и облегчает его. Но в конечном счете все решают материальные соображения – экономические интересы и военные расчеты.

Считаю ли я группу фашистских (Италия, Германия) и квазибонапартистских (Польша, Югославия, Австрия) диктатур эпизодическими и преходящими? Увы! Мой диагноз не столь оптимистичен. Фашизм вызван не психозом и не "истерией" (этим пускай утешаются салонные теоретики вроде графа Сфорца), а глубоким экономическим и социальным кризисом, который безжалостно подтачивает весь организм Европы. Нынешний циклический кризис лишь обостряет органические болезненные процессы. Циклический кризис неизбежно уступит место оживлению конъюнктуры, хотя и меньшему, чем ожидалось. Но общая ситуация в Европе улучшится ненамного. После каждого кризиса малые и слабые предприятия становятся еще слабее или совсем умирают, а сильные делают еще сильнее. Раздробленная Европа напоминает собой сочетание малых предприятий, враждебных друг другу, рядом с экономическим гигантом Соединенных Штатов. Ситуация в Америке сегодня весьма тяжелая: сам доллар пошатнулся. Однако в результате нынешнего кризиса соотношение сил в мире изменится в пользу Америки и в ущерб Европе.

Тот факт, что старый континент в целом теряет привилегированное положение, которое занимал в прошлом, ведет к безудержному обострению антагонизма между европейскими государствами и между классами внутри этих государств. Разумеется, в разных странах эти процессы достигли разной степени напряженности. Но я говорю об общей исторической тенденции. Ростом социальных и национальных противоречий объясняется, на мой взгляд, происхождение и относительная стабильность диктатур.

Чтобы пояснить свою мысль, позволю себе сослаться на свой собственный ответ, данный несколько лет тому назад на такой вопрос: почему демократии уступают место диктатурам и надолго ли это? Разрешите мне процитировать здесь дословно статью, написанную 25 февраля 1929 года.

"Иногда говорят, что в подобных случаях мы имеем дело с отсталыми или недостаточно зрелыми нациями. Едва ли

такое объяснение пригодно для Италии. Но даже в тех случаях, когда это объяснение справедливо, оно ничего не проясняет. В девятнадцатом веке считалось непреложным законом, что отсталые страны должны восходить по ступенькам демократии. Почему же двадцатый век толкает их на стезю диктатуры? Демократические институты обнаруживают неспособность выдерживать современные противоречия, то международные, то внутренние, а чаще всего в одно и то же время и международные и внутренние. Хорошо это? Или плохо? Так или иначе, об этом свидетельствуют факты.

По аналогии с электротехникой, демократию можно определить как систему переключений и изоляций, страхующих против чрезмерно сильных токов национальной и социальной борьбы. Ни одна эпоха в истории человечества не была насыщена такими антагонизмами, как наша. В разных точках европейской сети все более и более чувствуется перенапряжение тока. Под этим чрезмерным напряжением, создаваемым классовыми и международными противоречиями, демократические переключатели плавятся или взрываются. Тут и наступает короткое замыкание диктатуры. Разумеется, первыми выходят из строя наиболее слабые выключатели".

Когда я писал эти строки, в Германии у власти еще стояло правительство социал-демократов. Ясно, что дальнейший ход событий в Германии, стране, которую никто не назовет отсталой, ни в малейшей степени не могло поколебать мое суждение.

Правда, за это время революционное движение в Испании смело не только диктатуру Примо де Ривера, но и монархию. Такого рода противоположные течения неизбежны в историческом процессе. Но на полуострове по ту сторону Пиренеев еще отнюдь не установилось равновесие. Новый режим в Испании еще не доказал своей стабильности.

### Мир или война?

*Вопрос: Считаете ли вы возможной ползучую эволюцию, или видите необходимость сильной встряски? Как долго, на ваш взгляд, может продлиться нынешнее состояние неустойчивости?*

*Ответ:* Фашизм, в частности немецкий национал-социализм, вносит в Европу бесспорную угрозу военных потрясений. Глядя со стороны, я, быть может, ошибаюсь, но мне кажется, что никто не отдает себе отчета в истинных размерах опасности. Возможно, впереди еще не месяцы, а годы, — хотя, во всяком случае, меньше десятилетия, — но я считаю военный взрыв со стороны Германии совершенно неизбежным. Именно этот вопрос может иметь решающее значение для судеб Европы. Впрочем, в самое ближайшее время я надеюсь высказаться на эту тему в печати.

Быть может, вам покажется, что я оцениваю ситуацию слишком мрачно? Но я лишь пытаюсь извлечь выводы из фактов, руководствуясь не логикой симпатий и антипатий, а логикой объективного процесса. Надеюсь, мне не нужно доказывать, что нашу эпоху нельзя назвать эпохой мирного и спокойного процветания. Но моя оценка может представ-

ляться пессимистичной только тому, кто измеряет ход истории в слишком мелких единицах. Все великие эпохи казались весьма мрачными, если на них смотрели с близкого расстояния. Надо признать, что механизм прогресса весьма несовершенен. Но нет никаких причин полагать, будто Гитлер или совокупность нескольких Гитлеров навсегда или по крайней мере на десятилетия сумеют отбросить этот механизм назад. Они повредят много зубцов в шестернях, искривят много рычагов, они могут отбросить Европу назад на столыко-то лет. Но я не сомневаюсь, что в конечном счете человечество выйдет на верный путь. Порукой тому прошлое.

— У вас есть ко мне еще вопросы?

— Только один, но, боюсь, несколько нескромный.

Он улыбается и делает рукой ободряющий жест.

— Газеты утверждают, что недавно вас навестили эмиссары из Москвы, которым было поручено призвать вас назад в Россию. Так ли это?

Улыбка становится шире:

— Нет, не так, но я знаю источник этого слуха. Это моя статья, опубликованная в американской прессе месяца два тому назад. Там я среди прочего говорил о том, что, учитывая нынешнюю политику России, был бы готов вновь послужить этой стране, если ей будет грозить опасность.

Он спокоен и невозмутим.

— Вы имеете в виду активную деятельность на службе у России?

Он кивает; тем временем один из молодых людей сносит в лодку удочки — несомненно, для вечерней рыбалки.

Возвращение из Сен-Клу, то есть с Принкипо; речной трамвай.

Вечером обедаю в "Режанс". Проспект гласит: "Элегантный ресторан; здесь вас встретят русские дамы-аристократки"...

Потому что в Константинополе еще остались тысячи русских эмигрантов, и вечерами здесь, как в Париже, Берлине и других городах, царят ностальгические балалайки, пирожки, водка и шашлыки.

В этот час на острове, с которого уже разъехались мидинетки и продавцы универсальных магазинов, Троцкий спит.

## Дмитрий Бобышев

### Троцкий в Мексике

*Дворцы и хижины, свинцовый взгляд начальства  
и головная боль, особенно с утра, —  
все нудит революцию начаться.  
Она и началась, но дохлая жара...*

*В жару что ни растет — от недостатка вянет;  
в сосудах кровяных — уцербный чес и сверб.  
Коричнево висит в голубизне стервятник —  
эмблема адская, живосмертельный герб.*

*То — днем. А по ночам — поповский бред сугубый:  
толпа загубленных, и всяк — в него перстом.  
Сползают с потолков инкубы и суккубы  
и мозг его сосут губато и гуртом.*

*Опять напиться вдрызг? Пойти убить индейца?  
Повеситься, но как? Ведь пальмы без ветвей.  
Да из дому куда? А — никуда не деться:  
поместье обложил засадами злодей.*

*Те — тоже хороши. Боялись термидора,  
а бонапартишка — исподтишка, как раз, —  
(как дико голова, и нет пирамидона)...  
Французу — Корсика, что русскому — Кавказ.*

*Но каково страну, яря сословья,  
блиндированным поездом ожечь;  
не слаще ль этот рык, чем пение соловья, —  
рев скотской головы, пред тем как с плеч!*

*Мятеж, кронштадтский лед, скорлупчатое теля...  
...Боль на бельей свет... Молнийный поток.  
— Что это, что?.. А — все. Мерцающая тельмень.  
Жизнь кончена. В затылке альпеншток.*

*Милуоки, декабрь 1984*

**В**ыставка в Дюссельдорфе весной 1991 года была для меня самой большой возможностью увидеть Амадео Модильяни не отдельными его картинами, разбросанными по галереям мира, а разом, как бы целиком. В этом преимущество персональных выставок. Художник предстает в своем течении, как он менялся, в своем многообразии

музеях включить в экспозицию. И вот тогда меня поразило действие его живописи: его картины как бы убивали все соседние полотна. Это было неожиданно, и я понял, почему его так не терпела наша Академия художеств, вся эта королевская рать. Потом, однако, произошло нечто непредвиденное. Вместе с некоторыми поклонниками Филонова я продолжал добиваться открытия его персональной выставки. После долгих хлопот, наконец, удалось такую выставку открыть в Ленинграде,

мне мне картины Филонова иначе, как бы со стороны, беспристрастнее. Увидел и приуныл. В них обнаружилась монотонность. Они поглощали друг друга, сливались в строй, в шеренгу. Каждая картина в отдельности была прекрасна, радовала и чувством, и необычной манерой, но, собранные вместе, они увядали. Есть, очевидно, художники, которым выставка противопоказана. Их картины хороши в противоборстве с другими художниками. Либо каждая в отдельности, картина-одиночка.

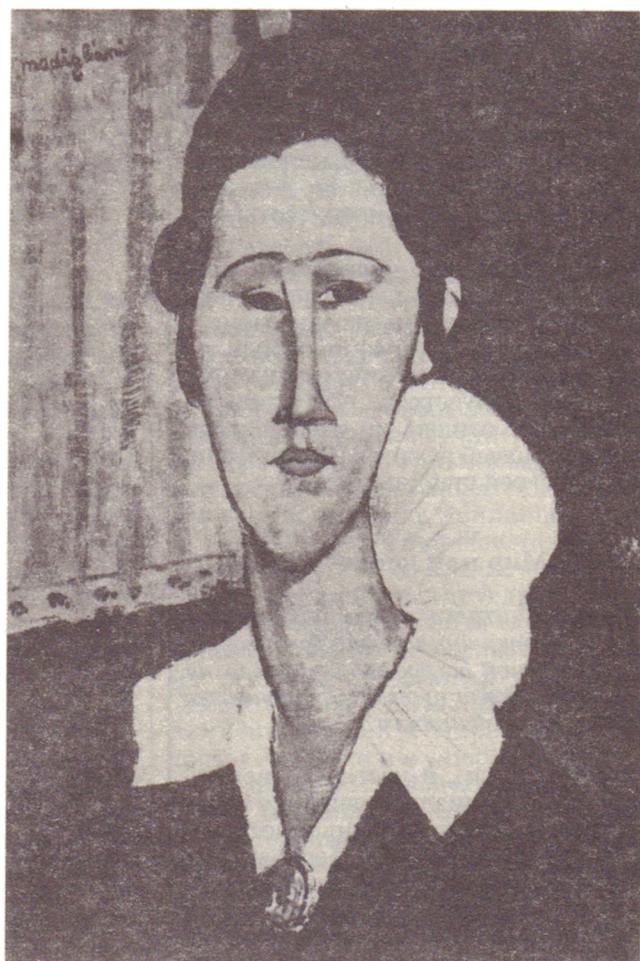
## Даниил Гранин

вились огненно-рыжими. Это от пояса, снизу они были затянуты в черные чулки. А наверху все ярче пылали -- "краски Модильяни", как говорила Анна Андреевна. Карельские сосны были прямые, высокие, тонкие. Анна Ахматова была уже в те годы грузной старой женщиной. Однако она не была старухой. В ней оставалась стройность молодых лет, глядя на нее, я видел ее такой,

# ЛЮДИ МОДИЛЬЯНИ



МАКС ЖАКОБ . 1916



АННА ЗБОРОВСКА . 1917

или, наоборот, однообразии.

Честно говоря, отправляясь на выставку, я испытывал некоторую тревогу. Я вспоминал, что произошло с выставкой Павла Филонова. Великолепный этот русский художник, совершенно отдельный, особое явление в русской живописи, всегда был под запретом, при жизни выставку его не разрешили, то же происходило и после его смерти (1941 г.). И только начиная с восьмидесятых годов удалось несколько его картин в разных

в Русском музее, собрав на ней основное наследство этого художника. Выставка пользовалась успехом, на нее повалил народ, но, как мне показалось, прежде всего на "запретного" художника, на "скандальную известность". Выставка Филонова побывала с тех пор во многих странах Европы. В Париже я пошел на нее. Она комфортно расположилась в нескольких залах центра Помпиду. И вот там, уже остывший от победного нашего торжества, я увидел знако-

Огорчение от филоновской выставки долго не забывалось, сейчас перед выставкой Модильяни я со страхом вспомнил об этом.

Я видел до этого лишь несколько его картин. Я знал Модильяни больше по репродукциям. И знал через Анну Ахматову.

Последние годы ее жизни мы каждое лето жили рядом, под Ленинградом, в Комарове. Вечерами она выходила гулять. Золотистые карельские сосны в закатном свете стано-

какой нарисовал ее Модильяни. Существовало много хороших портретов Ахматовой. Например, остро и точно написанный Натаном Альтманом. На рисунке Модильяни всего несколькими линиями каким-то чудом воплощено не только сходство, но и вневозрастная сущность поэта, портрет ее поэзии. На его рисунке величавость Ахматовой стала лебединой.

*Я лопухи любила и крапиву,  
Но больше всех серебряную  
иву.*

*И, благодарная, она жила  
Со мной всю жизнь,  
плакучими ветвями  
Бессонницу овеивала снами.*

Это из стихов, написанных в 1940 году. За двадцать пять лет до них Модильяни, рисуя ее в Париже, увидел именно эту близость.

Если бы можно было из стихов поэта сочинить его портрет, то для Ахматовой получился бы рисунок Модильяни.

На выставке Модильяни большую часть занимали портреты. Часть портретов – знаменитости, то есть люди известные, остальные же неведомы нам. Галерея портретов, написанных почти в одной манере. Такое впечатление (хотя это не так) – в одном колорите.

не похожи на обычных людей, на обычные портреты. Прежде всего глаза. Большею частью глаза на его портретах не прорисованы. Вместо зрачков там щель, в которой что-то клубится, мерцает. Голубизна, или синяя тьма, неровный, как бы непостоянный свет идет оттуда. Туда хочется смотреть. Его люди втягивают в себя. У него почти нет смеющихся, злых, суровых, бездумно-счастливых, занятых делом. Его люди меланхоличны, грустны, задумчивы и все без исключения прекрасны. "В каждом человеке должна быть жемчужина", – говорил он Ахматовой. И он приоткрывал эту жемчужность. То есть то божественное начало добра и мечты, что таится в любой душе. Пользуется он простейшими средствами. Нос небрежно упомянут треугольником, глаза – щели, брови, губы – все порой по-детски наивно обозначено.

Зборовских, на одном он уверен в себе, на другом сокрушен. Их могло быть и три, и пять. Каждый человек – постоянно меняющийся мир. Кокто, Гупацума, Липшицы, мальчик, девушка в черном, сидящая девушка, крестьянин, рыбак – все названия, даже имена в каком-то смысле условны, потому что все они похожи, они из одного племени, открытого художником. Взгляд их устремлен куда-то помимо нас; это тот миг, когда приоткрылись створки раковины и мы увидели жемчужину. Желание несбыточной любви, великой мечты, что живет в любом сердце, беззащитно предстало... впрочем, если бы можно было словами передавать живопись, то литература, поэзия давно заменили бы полотно. Не то чтобы живопись, но и чувства, вызванные ею, трудно передать другому человеку.

Через эти портреты не повторялась, чем больше их было, тем богаче становился мир, в который я погружался. Да, это был особый материк, созданный Модильяни; он создал или нашел среди нас особую породу людей. Поэтому они такие, не совсем обыкновенные, вытянутые, как побеги, как пламя свечи, плоские и открытые, как листья ахматовской ивы.

Каков был мир, который видел кругом себя Модильяни?... Гений – это способность видеть жизнь иначе. Мир Модильяни был смещен, искажен красотой. Он, по Достоевскому, спасал нашу нелепую жизнь красотой, он видел людей красивыми. "Меня поразило, как Модильяни нашел красивым одного заведомо некрасивого человека и очень настаивал на этом. Я уже тогда подумала: он, наверное, видит все не так, как мы", – писала Ахматова.

Они все исправлены, нет, выправлены, выправлены красотой. Голубые сумерки их глаз, покорный наклон головы исполнены той странной печалью, которую несет в себе совершенство. Словно бы я побывал среди людей, открывшихся передо мною в своей доброте и душевности. Это была не просто красота, а сердечная красота в ее разных ликах.

Я уже не думал о живописи, о таланте художника, я как бы наслаждался общением. В последних залах я почему-то обратил внимание на посетителей. И вдруг увидел, что они слегка приподнялись, шеи их удлиннились, словно кто-то тянул их вверх, и они тоньшались, вытягивались, становились легче. Золотисто-червонный отсвет падал на их лица. В них как бы очнулся побег Модилья-

ни, пруттик, упругая веточка, заглушенная бедами, мусором обыденности.

Можно было представить, что увековеченные художником люди были не так хороши, но он не льстил им, он показал, какими они могли быть. Может, они и сами до этого не знали, какие они. Человек увидел себя таким на портрете, как он будет дальше жить?

Когда я выходил, в кассу стояла уже длинная очередь. Почему-то я подумал, что Модильяни знал про эту очередь, про эту выставку, эти роскошные каталоги, плакаты. Подлинному таланту, наверное, дано предвидение. В короткой жизни Амадео Модильяни вера помогала сносить лишения и одиночество. Конечно, этим не оправдать слепоту современников, их неуволнимую, безымянную подлость. Судьба Модильяни символична до банальности, – как у Ван Гога, как у Филонова, но ведь и благополучная вроде судьба Шагала точно так же была несчастна, несправедлива и постыдна на его родине...



Они-то, казалось бы, более всего могли сливаться в монотонную шеренгу. Между тем я шел от портрета к портрету с нарастающим интересом. Чем больше их было, тем сильнее впечатляла индивидуальность. Его люди несхожи, хотя они изображены в одной манере: неестественно вытянутые, суженная голова на чересчур длинной шее, нет интерьера, обстановки, стен, выписанных кресел, мебели, окон, других подробностей окружающей жизни. Его люди схожи. Они

Совершенно непонятно, как из этих, как бы условных знаков возникает красочный многослойный образ человека, сокровенное внутреннее состояние.

Его женщины не красавицы, в них есть плоть, но торжествует поэтичность. Даже нагие тела, чувственные по-женски, которыми художник по-мужски любит, они в своей откровенности защищены нежностью.

Два портрета Зборовского висят рядом. Это два разных

**П**

исьма русского артиста и режиссера Михаила Александровича Чехова Марку Александровичу Алданову относятся к 1944-1951 годам; они хранятся в коллекции М.А.Алданова в Бахметьевском архиве, Библиотеке редких книг и рукописей Колумбийского университета, Нью-Йорк. (Columbia University Libraries. Rare books and Manuscripts. Bakhmeteff Archive. Ms Coll Aldanov.) В коллекции восемь писем и одна открытка.

Письма касаются нескольких тем, главные из них: литературные произведения Алданова и Чехова (исторические романы писателя и мемуары артиста); судьба книги Чехова "О технике актера"; его работа в голливудском кино.

М.А.Чехов (1891-1955), артист Московского Художественного театра и директор МХАТ второго, исполнитель ролей Хлестакова, Эрика XIV, Гамлета и др. В 1928 году он уехал в Берлин и остался в эмиграции. Последовала творческая жизнь в новой языковой и культурной обстановке: выступления в Берлине на немецком языке, студийная работа и попытка организовать интернациональный театр в Париже, спектакли и педагогическая работа в Каунасе и Риге, поездка в США с "Пражской труппой МХТ" (1935). И, в завершение театрального пути Чехова, руководство англоязычной Студией в Англии и Америке (1936-1942).

Писатель Марк Александрович Алданов (1886-1957) эмигрировал с небольшой группой социалистов правой ориентации в Париж в 1919 году. Там он выступил как автор многочисленных исторических и современных романов. Переведенные более чем на 20 языков, они пользовались широким, но непродолжительным успехом (сведения о М.Алданове, см. Вольфганг Казак. Энциклопедический словарь русской литературы с 1917 г., Лондон, 1988). Возможно, что Чехов познакомился с Алдановым еще в Париже в начале 1930-х годов. Чехов "встретил много выдающихся русских людей, живших тогда в Париже", — пишет он в своих записках "Жизнь и встречи" ("Новый Журнал", 1945, X, с. 47). Настоящая творческая встреча состоялась в США, куда Чехов переехал со своим Театром-Студией из Англии в 1938 году, а Алданов тремя годами позже. Письма Чехова к Алданову летели через американский континент из Калифорнии в Нью-Йорк: в 1943 году артист был приглашен в голливудское кино, в Голливуде он и остался до конца жизни.

Связь артиста и писателя создалась на почве литературных интересов: после закрытия своего американского театра Чехов вернулся к любимым занятиям, к работе над воспоминаниями и книгой о технике актера.

Основанный в 1943 году Алдановым вместе с М.Цетлиным нью-йоркский "Новый Журнал" начал публиковать книгу Чехова "Жизнь и встречи" в апреле 1944 года. Всего двадцать глав вышло в номерах VII-XI в 1944-1945 годах. "Жизнь и встречи" не только дополненное издание "Пути актера", опубликованного в Москве в 1928 году, и не только рассказ о театральных исканиях артиста в Европе в начале 30-х годов. Это новая книга размышле-

ний о борьбе духовных и материалистических начал в душе Чехова, в современном театре и во всем мире, пережившем катастрофу.

В период "безгласности" "Жизнь и встречи" вышли с большими купюрами в первом московском издании "Литературного наследия"; поэтому ссылки даются на первую публикацию в "Новом Журнале".

Очевидно, что поддержка, которую Алданов оказал Чехову, была и ценной и ценником артистом. Первое письмо Чехова к Алданову является ответом на весьма лестный отзыв на его записки. К сожалению, письма Алданова к Чехову нам неизвестны — их не оказалось в архиве Че-

## Лийса Бюклинг

нов не романист-археолог, а художник, изображающий основную стихию человеческого существования, сопутствующую человеку во все века и на всех географических широтах". Алданов искал "волнующую связь времени" в исторических событиях (его определение в предисловии к философской сказке "Десятая симфония"). История развития духа, воплощенного в образах, интересовала также и Чехова.

Несмотря на общность, истолкование исторического развития в романах Алда-

# МИХАИЛ ЧЕХОВ И МАРК АЛДАНОВ

хова в ЦГАЛИ; пока их не удалось найти и в США.

Одновременно возникла и обратная связь — отклики Чехова на исторические романы Алданова. Отклики эти относятся к исторической тетралогии и к романам "Истоки" и "Начало конца". Последний роман Чехов читал на английском языке, что свидетельствовало не только о его владении языком, но и о популярности Алданова у западного читателя. Наибольший интерес представляет идейная сфера тетралогии, в которую проникла мысль Чехова.

Тетралогия М.Алданова — четыре романа о Французской революции, объединенные под названием "Мыслитель": "Святая Елена, маленький остров" (1922), "Девятое Термидора" (1923), "Чертов мост" (1925), "Заговор" (1927). (В Москве романы изданы в 1989 году.) Главные вымышленные герои романов — Юлий Штааль, молодой неопытный русский авантюрист, и Пьер Ламор, старый еврейский мудрец, которые наблюдают и интерпретируют события и людей, стараясь понять смысл Французской революции. Популярность и успех Алданову создали его исторические романы. Как отмечает американский историк Марк Раев, в них центральную проблему представляет революция — применение насилия и его результаты в жизни человека. Романы Алданова — серия вымышленных и реальных эпизодов, которые создают законченное целое. Сам Алданов так характеризовал исторический роман: "Искусство исторического романиста сводится (в первом приближении) к "освещению внутренностей" действующих лиц и к надлежащему пространственному их размещению — к такому размещению, при котором они объясняли бы эпоху и эпоха объясняли бы их".

Интересно сопоставить историко-философские взгляды артиста и писателя. Общим был интерес к определяющей линии человеческого существования, или к тому, о чем историк А.А.Кизеветтер писал, характеризую Алданова: "По основным заданиям своего творчества Алда-

нова коренным образом расходилось с философией Чехова. Здесь сталкивались два основных философских течения Запада, рационализм научного мышления и религиозные искания. Чехов, по сути своей прирожденный артист и убежденный антропософ, искал в истории целесообразности и движения к высшей духовности, в противовес игре случайностей. В своих философских мемуарах, или "записках", как он называл "Жизнь и встречи", он пишет о глубоком духовном кризисе своей молодости. Причиной кризиса было увлечение Шопенгауэром и материализмом Маркса. Возникшие от отрицания Бога чувство неуверенности, страх за судьбу своих близких и ощущение катастрофичности мира сплетались воедино: "...так как Бога нет, то, что мы называем жизнью личной, социальной и исторической, — все это есть только сложная комбинация случайностей. Я мог доказать это логически. Человечество находится в опасности. Катастрофа, неожиданная и неизбежная (она-то и являлась моему воображению), может разразиться в каждое данное мгновение. Когда же я думал, что все-таки, может быть, существует разумная Мировая Душа, какой-то голос говорил мне: "А ты уверен, что Мировая Душа не сошла с ума?" ("Новый Журнал", 1944, VIII, стр. 5-6. См. также: "Лит. наследие", т. 1.) Освобождение от внутреннего хаоса пришло постепенно, с помощью учения о Христе в антропософии и с возникновением религиозного мировоззрения.

С этим связаны важные для Чехова мировоззренческие установки: идея духовного развития в микрокосмосе человека и в макрокосмосе истории, соотношение материализма и "духовной науки" Штейнера (терпимость к различным мировоззрениям), применение идей Штейнера в педагогической работе в студиях Чехова. Артист пишет о книгах Рудольфа Штейнера ("Как достигнуть познания высших миров" и др.), переходя на свое философское "верую". Они были написаны в 1943-1944 годах, когда возникла и переписка Чехова и Алданова. Цитируем

размышления Чехова, так как они не были включены в "Литературное наследие" (т. 1):

"Я узнал, например, что духовный мир с его Существами развивается и меняется так же, как и мир физический, с его существами. И с т о р и я совершается не только на земле. <...> Узнал я также, что истинной духовной науке нет надобности отрицать матерьялизма, поскольку он держится в пределах той области, куда он действительно относится, и не претендует на право быть у н и в е р с а л ь н ы м и единственно возможным мировоззрением. Узнал я также, что антропософия внесла много нового (как в смысле метода, так и содержания) в различные области науки и искусства". (Там же, с. 24-25).

В творчестве Алданова и Чехова можно установить параллелизм образов: литература и театр обратились к общим европейским символам. Одним из центральных образов и у писателя, и у артиста является "Вечный жид", или Агасфер; недаром Чехов указал на него в тетралогии писателя (см. первое письмо от 3 мая 1944 г. и комментарии к нему).

В артистической "лаборатории" Чехова мысли преобразовались в зримые образы, которые потребовали выхода в перевоплощение на сцене ("скоро в мои философские" мысли стали влетать картины и образы"). Осуществлением мечты Чехова было бы сыграть или поставить на сцене образы Дон Кихота, Короля Лира и Вечного Жида. Однако Чехову не пришлось сыграть свои любимые образы -- только "Король Лир" Шекспира был поставлен им на английском языке в Театре Чехова в США в 1941 году. "Все же образы эти и сейчас иногда посещают меня, раскрывая мне свои тайны", -- писал Чехов в Голливуде (там же, с. 8). Дон Кихот, Лир и Агасфер стали спутниками артиста, символизирующими три пути от страдания к постижению любви и веры.

В тетралогии Алданова сквозной образ, Вечный Жид, выступает в личине Пьера Ламора, старого французского философа, масона и скептика, знакомого всех политических деятелей от последнего короля Франции до Наполеона. В последней части тетралогии он появляется как дипломат в России времени Павла I. Этот фиктивный персонаж выражает критические взгляды Алданова на революцию во Франции -- и, косвенно, во все времена. С Вечным Жидом связана общая тема "Мыслителя": в прологе она возникает в образе средневекового ваятеля, который создал каменное чудовище или "дьявола-мыслителя" на башне Собора Парижской Богоматери. Повторяющийся немой образ Мыслителя означает высшую, вневременную точку зрения на исторические события (как чудовище с высоты Собора Богоматери смотрит на нелепости и зверства сначала средневекового, а затем революционного Парижа). В словесном плане ему соответствует Пьер Ламор, комментатор французской и русской истории. Общее у Алданова и Чехова -- интерес к людям в истории; различало их истолкование роли индивидуума в истории. Если темой Алданова, по мнению Г. Струве, является ирония судьбы, и для него суета сует -- лейтмотив всей истории человечества, то Чехов везде искал невидимого мирового движения к гармонии, постижения духовного мира.

Метод актерского искусства Чехова

представляли две книги, изданные в США. К творческому опыту Чехова, накопленному во многих странах, добавился еще огромный материал англо-американской студии, в которой секретарь Чехова Дейдре Хэрст стенографировала все занятия в течение шести лет. Книга Чехова "О технике актера" вышла в 1946 году на русском языке в Голливуде, за счет автора. Она посвящена С.Г. Жданову, режиссеру и другу Чехова.

В начале 50-х годов Чехов сделал еще одну редакцию своей книги на английском языке: редактором был американский режиссер Чарлз Леонард. Здесь ссылки на Штейнера исключены, появилась новая глава -- интересный анализ драмы



Артура Миллера "Смерть коммивояжера" (1949). Книга "To the Actor on the Technique of Acting" ("Актеру об актерской технике") вышла в Нью-Йорке в 1953 году и стала настольной книгой американских актеров, по сей день ее используют как учебник в театральных школах.

Если литературные и философские занятия заполняли внутренний мир Чехова в последние двенадцать лет жизни голливудского периода, то работа в кино обеспечила его с женой Ксенией Карловой материально. В Голливуде Чехов сыграл в десяти художественных фильмах; самая знаменитая из его киноролей -- доктор-психиатр Брулов в фильме англо-американского режиссера Альфреда Хичкока "Зачарованный" (Spellbound, 1945). В письмах Чехова возникает не очень радужная картина голливудской жизни конца 40-х годов. Впечатление Чехова о Голливуде подтверждается и американскими киноведами, и русскими коллегами актера. "Никогда еще в истории Холливуда не было таких мрачных дней. И когда наступит улучшение, никто сказать не может" (С.Л. Бертенсон М.В. Добужинскому, 14 октября 1948 г. Архив М.В. Добужинского. Бахметьевский архив).

Осенью 1951 года положение Чехова улучшилось, и он вновь нашел подходящие для себя роли. В своих последних картинах Чехов появился в амплуа городских европейских интеллектуалов. Это были фильмы "Приглашение" (Invitation, 1952, реж. Готфрид Рейнхардт). "Праздник для грешников" (Holiday for Sinners, 1952, реж. Джеральд Майер) и му-

зыкальный фильм "Рhapsодия" (Rhapsody, 1954, реж. Чарлз Видор).

Вскоре после переезда в Калифорнию, летом 1943 года Чехов смог зажить голливудски, т.е. купить маленький дом с садом в долине Сан-Фернандо. В 1948 году он переехал в новый дом в Беверли Хиллс. Здесь, в самом изысканном районе Голливуда и обиталище звезд, Чехов начал вести групповые и частные занятия с актерами по анализу ролей и по преподаванию своего метода. Вначале Чехов вел курсы актерского мастерства в студии Акима Тамирова, а позднее и у себя дома -- насколько ему позволяло здоровье (Чехов тяжело болел в 1946 г. и 1948 г.). До конца жизни он регулярно читал лекции американским киноактерам.

В Европу Чехов больше не возвращался. Даже когда русские эмигранты, Марк Алданов, Мстислав Добужинский, Аким Тамиров и другие, в конце сороковых годов, впервые после войны, съездили в Европу, Чехову помешало не только нездоровье, но и страх социальных потрясений и нежелание видеть разрушения. Михаил Чехов умер 30 сентября 1955 года. Отпевание состоялось 4 октября в Спасо-Преображенском храме города Лос-Анджелеса.

## ПИСЬМА МИХАИЛА ЧЕХОВА МАРКУ АЛДАНОВУ

1

3 мая 1944 г.

Глубокоуважаемый Марк Александрович!

Не могу Вам выразить, как Вы обрадовали меня Вашим письмом! Я счастлив и горжусь Вашим вниманием ко мне. И то, что Вы пишете, ужасно волнует меня. Если бы помолодеть лет хоть на пять (или знать, что поживешь еще лет десять), я бы непременно серьезно подумал о писательстве, потому что знаю -- Вы не станете говорить мне таких приятных вещей из любезности. Я верю каждому Вашему слову и благодарю Вас очень, очень! Ваше письмо пришло как раз в то время, когда я целиком ушел в мир Вашей, такой прекрасной и волнительной, Тетралогии. Читаю запоем и ужасно люблю его автора. (Простите за излишнюю, может быть, откровенность. Но она от сердца.) Меня уже давно волнует тема Вечного Жида<sup>1</sup>. Я вижу его. Он проходит из прошлого, через настоящее, в далекое, далекое будущее. Другая тема, которая волнует меня не меньше, это -- БУДУЩЕЕ, с его невероятным светом и ужасающей тьмой, с большой и разделением всего человечества на две большие группы. Будущее, по сравнению с которым наше настоящее представляется мне сонным царством. Эти темы волнуют меня не как актера, а как несостоявшегося писателя.

Аким Михайлович Тамиров<sup>2</sup> с восторгом рассказывал мне о встрече с Вами. Он, как я, знает, что Вы напишете чудесный сценарий<sup>3</sup> и тем соедините нас в работе, о чем мы оба мечтаем. Тамиров говорил, что Вы собираетесь отдохнуть в Калифорнии. Так хотелось бы повидать Вас лично. Здесь чудный климат -- я сразу стал чувствовать себя лучше, когда перебрался сюда. Если Вы не будете так заняты, было бы здесь, наверное, здорово. Я надеюсь, что Вы

чувствуете себя лучше и от всей души желаю Вам всего самого радостного и прежде всего здоровья и сил.

Еще раз благодарю Вас за внимание.

С искренним уважением  
Ваш М.Чехов.

Тамирову непременно поклонюсь.

2

Глубокоуважаемый Марк Александрович!  
Посылаю Вам цитату из "Гамлета" (не из Гете):  
"O schmalze doch diese allzu feste Fleisch <...>"<sup>4</sup>  
Я долго не мог найти здесь немецкого перевода "Гамлета". Простите за задержку.

Русского названия книги Станиславского<sup>5</sup> — не знаю. Да едва ли она появилась на русском языке.

Здоров ли Михаил Осипович?<sup>6</sup>

Всего Вам лучшего.

Ваш всегда Мих.Чехов.

3

Окт. 27, 1944

Глубокоуважаемый Марк Александрович!  
Получил номер "Нового Журнала" с Вашей и Михаила Осиповича подписью. Очень тронут и благодарен Вам от души!

Желаю Вам всякой радости.

Ваш всегда  
М.Чехов

4

Сент. 10, 1945

Глубокоуважаемый Марк Александрович!

Я позволяю себе беспокоить Вас, потому что нуждаюсь в Вашей помощи и совете. Знаю, что отнимаю Ваше время, но надеюсь, Вы простите меня. Я хотел писать Вам и Михаилу Осиповичу одновременно, но мне сказали, что М.О. болен, и я не рискнул беспокоить его. Если же слух этот, как я надеюсь, неверен, то, может быть, Вы сами найдете нужным при случае перекинуться с М.О. словечком о моем деле. А дело заключается в следующем. Уже много лет я работаю над книгой по вопросу об актерской технике. Книга закончена. Я хотел бы найти издателя. В актерских кругах Америки (колледжи, театры, школы, театральные группы и т.п.) могут заинтересоваться ею. Но книга настолько специальная, профессиональная, что широкая публика не будет покупать ее. Вопрос мой к Вам заключается в следующем: думаете ли Вы, что я мог бы найти издателя на такую книгу? Кого именно? Каковы бывают издательские условия? Я, собственно, и вопросов-то не умею поставить, так как дело это для меня новое и незнакомое. Тут мне Ваши советы были бы дороги.

Второе: я очень хотел бы издать эту книгу по-русски. Тут уж покупателей будет совсем мало — я это понимаю. Но моя истинная цель — сделать мои мысли доступными РУССКОМУ актеру, в которого я верю. Если книга появится здесь на русском языке, она рано или поздно попадет и в Россию. Этого-то мне и хочется. Иметь дело непосредственно с советским издательством мне не хочется, поэтому я готов был бы пойти на известные издержки, связанные с русским изданием. Что Вы могли бы мне посоветовать в этом случае, Марк Александрович? Книга небольшая, всего около 170 страниц машинописного шрифта, такого точно, как это мое письмо к Вам, и около 30 рисунков и схем (не цветных). Я наводил справки здесь в Холливуде, и мне сказали, что если я сам буду издавать книгу по-русски, то это обойдется

мне 850 долларов за 1000 экземпляров. Но я так боюсь любительщины в этом деле и так лишен всякой возможности распространить эту книгу, что предпочитаю не делать этого самому. Что касается английского издания, то переводчики (Лайда и Бертенсон)<sup>7</sup> клянутся мне, что книга будет иметь успех, что не только Америка, но и Канада и Англия — рынки. Они даже стали переводить, еще не имея издателя. Правда, они списываются с известными им издателями, но я сказал им, что я не предприму ничего, не посоветовавшись с Вами (и, как я предполагал, с Михаилом Осиповичем). Русское издание меня интересует д у ш е в н о, английское м а т е р и а л ь н о. Относительно русского издания здесь думают, что оно может найти покупателей во Франции и других европейских странах, как только установится с ними контакт.



Вот и все, Марк Александрович. Знаю, что не умел спросить Вас толково и делово, но Вы поймете сами и лучше меня будете знать, что я должен был спросить Вас.

Еще раз простите за "интрузию"<sup>8</sup>. Мой самый сердечный привет Михаилу Осиповичу.

С искренним уважением и  
лучшими пожеланиями  
М.Чехов

5

Май 1, 1946

Дорогой Марк Александрович!

Пишу карандашом, т.к. сижу в гриме<sup>9</sup> в Студии и не имею под рукой ни чернил, ни приличной бумаги. Простите за это

Как только получил Ваше письмо — немедленно позвонил Акиму Михайловичу. Он обещал мне непременно написать Вам или даже телеграфировать. Он был (и есть) очень болен. Этим объясняется его молчание.

Поздравляю Вас от души с окончанием "Истоков"<sup>10</sup> Я хоть и не писатель, но представляю себе, какую радость и какое удовлетворение Вы должны испытывать, окончивая такой большой труд, как "Истоки"! (Ах, зачем я не писатель!.. Поздние сожаления.) Появятся ли "Истоки" отдельной книгой и на каком языке?

В "Actor's Lab" я ставлю "Ревизора", но спектакль этот отложен до августа, т.к. я занят в картине и буду занят еще больше месяца. Как я был бы счастлив повидать Вас, Марк Александрович, и, так сказать, "познакомиться" с Вами еще раз. Но я буду очень огорчен, если Вы приедете до того, как я кончу кар-

тину, — при нашей работе (с 6 ч. утра до 7 ч. вech.) — я едва ли могу насладиться встречей с Вами так, как бы мне хотелось. Вы едете к нам отдыхать?

Воспоминания свои я прекратил по трем причинам: во-первых — фильм, во-вторых — "Ревизор", в-третьих — книга<sup>11</sup>. Книга выйдет (по-русски) месяца через два, и я тотчас же пошлю ее г-ну Карповичу в "Нов. Журнал"<sup>12</sup>. Мне очень хочется, чтобы книга эта попала в Россию, потому я и хочу издать ее поскорее на русском языке, хотя она уже переводится и на английский.

Играю старого еврея и сейчас сижу во фраке и в ямаке — еврейская свадьба. Учусь петь: "Хусэн кала мазелтоф!"<sup>13</sup> Когда после работы возвращаюсь домой, то продолжаю говорить с моей женой "по-еврейски" — она никак не может привыкнуть, а я не могу отвыкнуть.

Крепко жму Вашу руку и благодарю за письмо, дорогой Марк Александрович.

Ваш М.Чехов

6

28 июня, 1948

Дорогой Марк Александрович!

Спасибо Вам за письмо! Я очень обрадовался, получив весточку от Вас. Что Вы были за границей — я знал. Очень интересуюсь Вашим новым произведением!<sup>14</sup> Вашу "Фифс Сиэл" я читал по-английски и очень жалею тех русских, которые не очень сильны в английском языке, а на русском языке, конечно, издавать нет смысла, да никто и не возьмется — нет рынка.

Относительно сценария Е.П.Морозова должен сказать Вам, что НИКТО не может знать, захотят ли его поставить в Холливуде. Как и на основании каких принципов выбираются здесь сценарии, понять невозможно. Играет роль и политика, и мода, и вкус продюсера, и знакомства, и, по-видимому, еще много, не поддающееся учету. Актеры совершенно не участвуют в выборе сценариев. Куда надо обратиться г-ну Борисову-Морозову, в данный момент я не знаю. Постараюсь узнать и, если что-нибудь выясню, сообщу Вам. Сценарий должен быть переведен на английский язык. В киноиндустрии сейчас ужасная застой. Что-то происходит в высших сферах, какие-то "фильмово-политические" осложнения, и по Холливуду ходит множество безработных актеров. Никто не знает, когда опять начнут снимать.

Тамировы долго были в Италии и недавно вернулись. Видел их только один раз. Ваш поклон непременно передам. Я живу, по-прежнему, тихо и скромно. Переехал из душевной Валеи (Valley, Долина. — Л.Б.) в Беверли Хиллс. Очень огорчаюсь международной ситуацией и настроен пессимистически.

Марк Александрович! У меня к Вам просьба: я очень хочу приобрести полное собрание писем Ан.П.Чехова<sup>15</sup> и нигде (даже в Париже) не мог достать этих писем. Может быть, среди Ваших литературных друзей и знакомых есть добрый человек, который имеет собрание этих писем и согласится продать их мне? Если при случае вспомните и спросите кого-нибудь об этом — буду благодарен от всего сердца. Но если это хоть сколько-нибудь затруднит Вас — забудьте!

Мою переведенную на английский язык книжку "О технике Актера" посылаю нью-йоркским издателям, и все они, с вежливыми письмами, возвращают ее мне, говоря, что очень сложно. Плохо. Я даже приуныл.

Еще раз спасибо за письмо!

Желаю Вам всякой радости.

С самым искренним уважением к Вам

Ваш Мих.Чехов.

Моя жена просит передать Вам привет.

1310 San Ysidro Drive,  
Beverly Hills, Calif.

19 июля, 48.

Дорогой Марк Александрович!

Как мне благодарить Вас за внимание к моей просьбе о письмах Антона Павловича! Позвольте повторить Вам, что, если это хоть сколько-нибудь в тягость Вам, пожалуйста, просто забудьте!

Как Вы не боитесь ехать в Европу? Ведь там не только через месяц, а в каждый момент может произойти страшное!

Но дай Бог, чтобы все было благополучно.

Желаю Вам, как всегда, успеха в вашей творческой работе.

Ваш искренне  
М.Чехов.

А меня и не тянет в Европу – очень уж страшно увидеть разрушения. Спасибо за вырезку – непременно пошлю туда книгу.

30 янв., 1951

Дорогой Марк Александрович!

Спасибо Вам за письмо – было радостно получить его и радостно узнать, что Ваши творения хотят приобрести голливудские студии.<sup>16</sup> Знакомства фильмовые растерял и я, но сейчас же начну наводить справки о лучшем агенте по продаже манускриптов и книг. За Ваш отзыв в Фонд Гугенхайм<sup>17</sup> – несказанно Вам благодарен! Болезнь моя, от которой я почти совсем поправился, произвела в Голливуде убийственное для меня впечатление: все студии уверены, что я все еще тяжело болен, и меня вот уже почти 2 года, как нигде не приглашают в качестве актера. Разубедить никого невозможно, и даже агент мой бессилён. Это – судьба. Живу грошовыми уроками, и чем это кончится – даже и представить себе не могу. Поэтому субсидия Гугенхайма – моя последняя и единственная надежда. В марте жду ответа. Еще раз спасибо за Ваш добрый и незаслуженно хороший отзыв обо мне.

Тамиров давно уже куда-то уехал отдыхать, и за все это время я получил от него только две весточки.

Как я буду рад, если Ваша "The Fifth Seal" (которую я очень люблю) – появится на экране! Я немедленно сообщу Вам имя и адрес агента, как только узнаю.

Примите и наш "vom Haus zu Haus"<sup>18</sup> самый искренний привет.

Всегда Ваш  
М.Чехов.

Знаю, что за время многолетнего голливудского кризиса – цены страшно понизились, но достаточная ли сумма \$ 15.000 за Вашу вещь – сказать Вам не могу; это может знать только специалист-агент.

Майльстон<sup>19</sup> в Австралии. В феврале собирается вернуться.<sup>20</sup>

## ПРИМЕЧАНИЯ

Публикуем восемь писем М.А.Чехова М.А.Алданову, сохранившиеся в коллекции Бахметьевского архива Колумбийского университета. Три письма (№4, 5, 8) без указания архивного источника были напечатаны В.Вульфом в газете "Советская культура" (1991, №35, 31 августа). Пять писем (№1, 2, 3, 6 и 7) публикуются впервые. О деятельности М.А.Чехова в Европе и США см. наши статьи: "Из истории русского эмигрантского театра: Михаил Чехов – толкователь "Ревизора" Гоголя". *Studia Slavica Finlandensia*, 5. Helsinki 1988, с. 23-40; "Михаил Чехов и Федор Достоевский. Спектакль "Одержимые" (The Possessed) Театра Чехова в Нью-Йорке в 1938 г." *Studia Russica Helsingiensia et Tartuensia*. Проблемы истории русской литературы начала XX века. Helsinki, 1989, с. 49-85.

<sup>1</sup> "Тема Вечного Жида" занимала Чехова в это время, о ней он писал в связи с поисками жизненной философии. Чехов прослеживает пути, пройденные тремя образами мировой литературы через испытания к просветлению. Сложнее всего – путь Агасфера. "Нет такой муки душевной, нет такой боли, нет катастрофы, которые не стали бы уделом Вечного Странника. <...> Отвергнув Христа, он (незримо ведомый Христом же) приходит к познанию: не в учении Христа, не в словах Его суть христианства, но в Нем Самом, в Существо, в "Я" Христовом. <...> Отвержение и принятие, ужас и любовь – вот душа Агасфера. Но Агасфер все еще странствует. В тысячелетиях, в будущем достигнет он цели. Две тысячи лет нашей эры – только начальная стадия, только первый день христианства. Образ Странника нужен каждой душе, Агасфер – человек, вы, я, он, все мы..." ("Новый Журнал" VIII, 1944, с. 6-8).

<sup>2</sup> Аким Михайлович Тамиров (1899-1972) – актер Московского Художественного театра 1920-1924 гг., в США – популярный киноактер, жил в Голливуде.

<sup>3</sup> О каком сценарии идет речь, установить не удалось.

<sup>4</sup> Чехов цитировал четыре строки из монолога Гамлета (в первом акте трагедии) в немецком переводе: "О, если бы ты, моя тугая плоть! / Могла растаять, стигнуть, испариться! / О, если бы предвечный не занес / В грехи самоубийство! Боже! Боже!" (Перевод Б.Пастернака.)

<sup>5</sup> Возможно, речь идет о книге К.С.Станиславского "Моя жизнь в искусстве", которая вышла на английском языке в 1924 г. и была переиздана в 1937 г. и в 1948 г. На русском языке в новой редакции она вышла в 1926 г.

<sup>6</sup> Михаил Осипович Цетлин (1882-1945) – поэт, критик, сотрудник парижского журнала "Современные записки". Последние четыре года жизни жил в США; основатель и редактор "Нового Журнала".

<sup>7</sup> Сергей Львович Бертенсон (1885-1962) – ведущий труппой и репертуаром МХТ в 1918-1926 гг. С 1926 г. в США, работал в Голливуде. В 1926-1928 гг. работал с В.И.Немировичем-Данченко в Голливуде. Автор книг воспоминаний и биографий композиторов. Джей Лайда – американский киновед и литературовед. Бертенсон и Дж.Лайда опубликовали биографию С.Рахманинова на английском языке (Нью-Йорк, 1956).

<sup>8</sup> "Интрузен" – англ. intrusion – вторжение, беспокойство.

<sup>9</sup> Чехов снимался в фильме "Ирландская роза Эби" (Abie's Irish Rose, 1946) в роли старого еврея Соломона Леви, реж. Эдвард Сазерленд (Edward Sutherland), студия "Юнайтед Артисты" (United Artists). Фильм, основанный на популярной комедии Анн Николс, рассказывает о любви еврейского парня к ирландской девушке и о последующих конфликтах в их семьях.

В голливудском театре "Лаборатория актеров" (Actor's Laboratory) Чехов поставил "Ревизора" Н.В.Гоголя, перевод – С.Бертенсон и А.Белгард, художник – Н.В.Ремизов, премьера состоялась 8 октября 1946 г. в театре "Лас Палмас".

<sup>10</sup> Роман Алданова "Истоки" был издан в "Новом Журнале" одновременно с "Записками" Чехова. По мнению Г.Струве, "Истоки" – один из лучших романов Алданова, в нем действие развивается вокруг убийства Александра II: здесь писатель исследует

историю русской революции 1917 г., к которой он еще раньше обращался в нескольких романах. В 1948 г. "Истоки" вышел на английском языке под названием "Before the Deluge" ("Перед потопом") и был объявлен лучшим романом месяца Британским книжным клубом (Book Society of Great Britain). Он вышел отдельной книгой в 1950 г.

<sup>11</sup> Книга Чехова "О технике актера" вышла на русском языке в 1946 г. в Голливуде, за счет автора.

<sup>12</sup> Михаил Михайлович Карпович (1888-1959) – историк, после смерти М.О.Цетлина в 1945 г. стал единственным редактором "Нового Журнала".

<sup>13</sup> "Хусэн кала мазелтоф" (идиш) – "Желаю счастья жениху и невесте".

<sup>14</sup> В 1947 г. Алданов уехал во Францию, в Ниццу, и жил попеременно во Франции и в США.

"Новое произведение" – возможно, речь идет о следующем после "Истоков" романе "Живи как хочешь" (1952). "Фифс Сиал" – "Начало конца" (1938), роман о членах советской делегации в маленькой европейской стране во время войны в Испании; вышел на английском языке под названием "The Fifth Seal" ("Пятая печать") в Нью-Йорке в 1943 г. и был назван "книгой месяца" в Американском книжном клубе (Book of the Month Club). По словам Г.Струве, это повело к протестам со стороны некоторых советофильских элементов и оживленной полемике в печати.

<sup>15</sup> "Полное собрание писем Ан.П.Чехова" было нужно М.Чехову, когда он в конце 1940-х гг. начал работать над биографическими повестями об А.П.Чехове, Вл.И.Немировиче-Данченко и К.С.Станиславском, связанными единством замысла. (См.: Лит. наследие, 2, с. 533-534). Чехов прослеживает три стадии их духовного пути, "этапы как внутренние, так и внешние".

<sup>16</sup> Сценарий по роману Алданова "Истребитель" вышел в 1948 г. Был ли снят фильм по сценарию Алданова – установить не удалось. (Библиография М.А.Алданова см.: D. et H.Cristesco. Mark Aldanov. Bibliographie, Paris, 1976.)

<sup>17</sup> Фонд стипендий Гугенхайма (Guggenheim Fellowships) был основан Саймоном Гугенхаймом для ученых и артистов в Нью-Йорке в 1925 г. Отзыв послал также М.В.Добужинский по просьбе Чехова. Стипендии Чехов не получил. Работа в кино появилась к концу 1951 г., после почти трехлетнего перерыва.

<sup>18</sup> "Von Haus zu Haus" (нем.) – "от дома к дому".

<sup>19</sup> Майльстон – Льюис Майльстоун (Louis Milestone) (1895, Кишинев – 1980), американский режиссер. По болезни Чехов должен был прекратить съемки в фильме Майльстоуна "Триумфальная арка" в 1948 г.

<sup>20</sup> Чехов послал почтовую открытку из Беверли Хиллс 30 января 1951 г. Алданову в Нью-Йорк и сообщил адреса двух театральных агентов в Калифорнии и в Нью-Йорке.

Подготовила публикацию и примечания  
Лийса Бюклинг

## Владимир Британишский

1848 год в Зимнем дворце

Утро. Вышел курьер из дворца. Он молчанье хранит.  
Он недобрые вести царю из Берлина привез.  
Государыне дали лавровые капли и аконит.  
Врач при ней. С сердцем плохо. Лицо подурнело от слез.

– Ах, мой брат! – она плачет. – Молчите! Он трепка и  
трус! –

Николай обрывает: – И вся эта ваша родня –  
лишь трухлявая гниль! На кого я теперь обопрусь?  
Вся Европа трещит, и обрушилось все на меня!

Как мой брат Александр, содержавший в тяжелые дни  
ваших нищих бездомных родителей, живших в Мемеле,  
как голытьба,

так и я был кормильцем бесчисленной вашей родни:  
сколько денег я дал им взаймы! сколько было возни!  
и какой же теперь благодарностью платят они!  
Тесть как тесть был, но шурин! – пошлет же такого  
судьба!..

Николай задыхается. Он же от ярости пьян.  
Надо взять себя в руки. При чем тут бедняжка жена!  
Он пойдет на врагов. У него в голове уже план.  
Он покажет им все! – якобинцам всех наций, всех стран!  
Он до Рейна дойдет! До Парижа! Как в те времена!

Как тогда! Он представил – в четырнадцатом году:  
...Мы с Мишелем в походе!.. А мать не хотела пускать...  
А дошли до Парижа!.. И я теперь тоже дойду!..  
Пусть один... Пусть берлинец, подлец, отсидится  
в кустах!..

Или даже, орудием став одуревшей толпы,  
пусть войну мне объявит! Ну что ж, он получит войну!..  
Брат мой Фриц!.. Ну, так что же? Когда же ты двинешь  
полки?..

Кто еще? Вся Германия? Может, и Франция? Ну?..

Триста семьдесят тысяч мы выставить можем к весне.  
Если нужно, и больше. Паскевич тряхнет стариной.  
Грудью против анархии! Выстоим в этой войне!  
Вы сильны на словах, но попробуйте в деле со мной!..

Нет. Нельзя рисковать. Он один. Совершенно один.  
Уберечь бы Россию! Спасти от крамолы и смут!..  
Путь попробуют сунуться – тут уж мы им зададим!..  
Неужели зараза появится скоро и тут?..

Неужели права та гадалка, мадам Ленорман:  
Александр, Николай, а потом – только дым и туман?..  
Неужели конец всей династии, царству, всему,  
оттого что Европа опять начала кутерьму?..

Он задушит все замыслы. Пушками чернь усмирит...  
Запретит философию, говорунов истребят...  
Всех там Гете и Шиллеров (тот безбожник, а этот  
бандит),  
всех он их успокоит!.. Но как успокоить себя?

Вся Европа бушует в его голове и в ушах.  
Франкфурт, Лейпциг, Берлин – всюду "Freiheit! – кричат. –  
Bruderschaft!!

"Vive la France! – горлопанят в Париже. – Vive  
la Republique!"  
Будто в Зимнем дворце этот наглый разносится крик.

...Утро. Вышел курьер из дворца. У него на лице  
ничего не прочтешь. Он безмолвен, как глухонемой...

Тихо-тихо... Весь город как вымер... Лишь в Зимнем  
дворце  
гул по залам идет, будто бьется о скалы прибой.

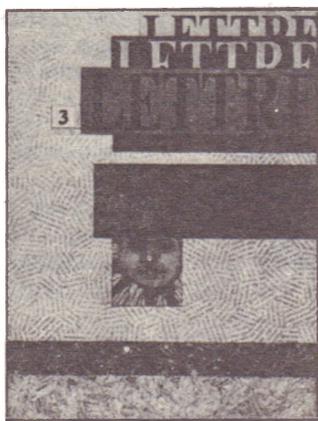
1982

**POUR LES ÉDITIONS DE  
Rome, Madrid, Berlin,  
Prague, Belgrade, Budapest, Zagreb,  
Saint Petersburg,  
EMBARQUEZ ICI AU MEME PRIX :  
200 Francs l'abonnement**

Offrez-vous ou offrez le plaisir de lire Lettre internationale  
dans la langue de votre choix.



**BELGRADE**



**PRAGUE**



**BERLIN**



**ZAGREB**



**BUDAPEST**



**ROME**



**MADRID**



**S<sup>T</sup> PETERSBOURG**



**BON DE COMMANDE**

à retourner avec votre règlement à *Lettre internationale*.  
18 rue Saint Fiacre, 75002 Paris - Tél : 42.36.95.59 - Fax : 42.33.83.24

Cochez l'édition étrangère choisie :

- |                                   |  |
|-----------------------------------|--|
| <input type="checkbox"/> BELGRADE | <input type="checkbox"/> BUDAPEST          |
| <input type="checkbox"/> PRAGUE   | <input type="checkbox"/> ROME              |
| <input type="checkbox"/> BERLIN   | <input type="checkbox"/> MADRID            |
| <input type="checkbox"/> ZAGREB   | <input type="checkbox"/> SAINT PETERSBOURG |

Nom \_\_\_\_\_  
Prénom \_\_\_\_\_  
Adresse \_\_\_\_\_  
Code Postal \_\_\_\_\_ Ville \_\_\_\_\_  
Pays \_\_\_\_\_ Profession \_\_\_\_\_  
Tél : \_\_\_\_\_ Fax : \_\_\_\_\_

Montant de la commande : \_\_\_\_\_ fois 200 F = \_\_\_\_\_ FF TTC

- Mode de règlement :  par chèque à l'ordre de Lettre internationale  
 par mandat postal : CCP Paris 812 559 X  
 par eurochèque

## КАК ПОДПИСАТЬСЯ НА "ВСЕМИРНОЕ СЛОВО"-93

Подписаться на международный журнал "Всемирное слово" в Санкт-Петербурге и области можно во всех отделениях связи по местному каталогу. Стоимость годовой подписки на 1993 год (четыре номера) — 112 рублей. Индекс журнала — 78550.

В других областях России и странах рублевой зоны СНГ подписка на "Всемирное слово" производится только по отрезному талону с последующей оплатой наложенным платежом почтовых расходов за пересылку журнала из Петербурга по адресу подписчика.

Для подписки необходимо:

1) Выслать почтовый перевод на сумму 112 рублей по адресу: 190000, Санкт-Петербург, Главпочтамт, расчетный счет:

№ 55000467038 в Петербургском Акционерном "Технохимбанке" МФО 161002, подписка на "Всемирное слово";

2) Заполнить помещенный ниже отрезной талон (доставочную карточку и абонемент), и с отметкой кассовой машины об оплате подписки отправить его письмом по адресу:

**191187, Санкт-Петербург, ул. Шпалерная 18, редакция журнала "Всемирное слово".**

При оформлении подписки без кассовой машины на отрезном талоне представляется оттиск календарного штампа отделения связи, а к талону прикладывается квитанция об оплате подписки.

Получив оплаченный отрезной талон, редакция вышлет подписчику абонемент с печатью "Всемирного слова", подтверждающий его право на получение четырех номеров журнала за 1993 год.

За рубежом подписка на "Всемирное слово" — русский выпуск международного журнала "Леттр энтернасьональ" — принимается на условиях, указанных на предыдущей странице по-французски. Стоимость годового комплекта "Всемирного слова" для зарубежных подписчиков — 200 французских франков.



Министерство связи				
<b>АБОНЕМЕНТ</b> на журнал <b>78550</b>				
<b>ВСЕМИРНОЕ СЛОВО</b> (Индекс издания)				
Количество комплектов				
на 1993 год по кварталам				
1	2	3	4	
Куда				
(почтовый индекс)		(адрес)		
Кому				
(фамилия, инициалы)				
ДОСТАВОЧНАЯ КАРТОЧКА		на журнал <b>78550</b>		
П В		(Индекс издания)		
место				
г-тер				
<b>ВСЕМИРНОЕ СЛОВО</b>				
Стоимость	подписки	руб.	коп.	Количество комплектов
	пере-адресовки	руб.	коп.	
на 1993 год по кварталам				
1	2	3	4	
Куда				
(почтовый индекс)		(адрес)		
Кому				
(фамилия, инициалы)				

<Увертюра> <sup>1</sup>

**СТЕНЬКА РАЗИН** (появляется перед занавесом) <выплывая на челне>. Простите меня, братцы писатели, я – Стенька Разин! Города я жег, купцов разбивал, сажал на колья бояр – хорошо я жил, правильно. А нынче согрешил <земной поклон> – простите меня, окаянного анафему. Я пьесу написал! Называется "Чапыгин Алексей". Мы <выходит вперед>, донские казаки <бьет себя в грудь>, обиды не забываем, но и добро помним!

*Выплывает расписной струг. <На веслах Лаврентев, Соболев<sup>3</sup>.> На нем Чапыгин. Одет блистательно. В руке обнаженная шашка. Чапыгин сходит со струга. Писатели падают в ноги. Молчание. <Струг уплывает с гребцами.>*

**ЧАПЫГИН.** Кто ныне старшой?  
**ПИСАТЕЛИ.** Ты, отец, ты...  
**ЧАПЫГИН.** Кто убиляр?  
**ПИСАТЕЛИ.** Ты, батюшка, ты...  
**ЧАПЫГИН.** Чей день нонеча?  
**ПИСАТЕЛИ.** Твой, отец, твой...  
**ЧАПЫГИН** (передразнивает). Твой... Чем отметили?  
**ТОЛСТОЙ.** Адресом! <Приподымается.>

## Евгений Шварц

доре с потолка льет. Слухай! (Ничего не слышно.) Ничего не слышно? Это сырость. Понял? Куды я после убилею подамси? Кто ответчик?

<Все падают ниц.>

**ТОЛСТОЙ.** Отец!.. Позволь почествовать! Виноватого найдем...

**ЧАПЫГИН.** Встань (Толстой встает.) Нюхай шашку. (Толстой нюхает.) Чем пахнет?

**ТОЛСТОЙ.** Критиками.

# ЧАПЫГИН АЛЕКСЕЙ

ДРАМАТИЧЕСКАЯ ПАРОДИЯ

Он меня романом, я его пьесой. К убилею. Может, что не так – не взыщите. Эпохи наши друг от друга отдаленные. Он меня по материалам <грозит кулаком>, и я его по материалам! Может, что я понял по-своему <к раме, кланяется>, по-разински, – ничего. Он меня по-чапыгински, я его – по-разински, конкретно говоря: "Сарынь на кичку!"<sup>2</sup> Давай занавес! <Прыгает в лодку, уплывает.>

*Занавес. Набережная реки Карповки. Издали доносится "ура". На переднем плане Толстой, Слонимский, Федин, Козаков. Все в кафтанах, в сафьяновых сапогах, при оружии.*

**ТОЛСТОЙ** <выходит на середину, смотрит из-под руки>. "Ура", – кричат... Читательский актив на обоих берегах столпилси. Кричат...

**ФЕДИН** <подходит к Т.> Красиво, боярин! Плывет струг расписной по реке Карповке. На стругу убиляр...

**ТОЛСТОЙ.** Заткни хайло, смерд! У меня душа <руки к груди>, что ковыль на юру, дрожит, трепыхается... Все ли готово? <Поворачивается к писат[елям].>

**СЛОНИМСКИЙ.** Готово! Расходы, боярин, какие...

**ТОЛСТОЙ.** Молчи, лях! Не с Литфонду берем.

**СЛОНИМСКИЙ.** Так-то оно так, а все же...

**ТОЛСТОЙ.** Молчи, басурман! Дочего я тебя не люблю, срамник, художей. Тут праздник, а он ноет. Председателя привели?

**КОЗАКОВ.** Упоймали.

**ТОЛСТОЙ.** Толмач издеса?

**ФЕДИН.** Издеса.

**ТОЛСТОЙ.** Проверь!

**ФЕДИН.** Выгодский! Твоя пришла?

**ВЫГОДСКИЙ** (выглядывает). Пришла мала-мала! Буэнос-Айрес!

**ТОЛСТОЙ.** Ну то-то! Ой... Плывет... <Сбегает со ступеней.>

**КОЗАКОВ.** Ликом пасмурен. Может, газетой не потрафили.

**ФЕДИН.** Ох грозен...

**ТОЛСТОЙ** <кричит за кулисы>. Эй, вы там. Приготовь балетну девушку, может, ублажит. И кто прогневал? Чем? Как пойдет на берег – в ноги!

**ЧАПЫГИН** (грозно). Кто сказал. <Топая ногой.> Гони его сюды! Желая я яму за тако слово голову рубать.

**ТОЛСТОЙ.** Чем плохо слово-то? Адрес...

**ЧАПЫГИН.** Адрес... А ты знаешь мой адрес?

**ТОЛСТОЙ.** Улица Литераторов, два. [19]<sup>4</sup>

**ЧАПЫГИН.** Вот то-то и оно! Таким адресом не убилей отмечать, а людей убивать, паскудна твоя шишка. Слухай... (Слышен грохот.) Ето в моем доме крыша трешшит. Вот те и адрес! Слухай. (Слышен плеск воды.) Ето в моем доме в коли-

**ЧАПЫГИН.** Правильно! Я сейчас четырёх зарубил, зачем дерут неотчетливо. Остался один – чисто вепрь. Не найдешь ответчика – будешь дран. Чтобы к концу убилея – был!

**ТОЛСТОЙ.** Предоставим, отец.

**ЧАПЫГИН.** То-то. <Садится.> Ну, встанья! (Все встают.) Чествуйте, шут с вами. (Садится в кресла.)

**ПИСАТЕЛИ** (поют хором, жалобно). <Федин держит ноты, все в них глядят.>

По случаю твое убилея  
Мы трудились, сил не жалея.  
Сейчас придет персидска княжна,  
Сложением до крайности нежна...



**ЧАПЫГИН.** А на черта она мне нужна!

**ТОЛСТОЙ** (*в ужасе*). Совсем озверел.

**ФЕДИН** От бабы отрицается.

**КОЗАКОВ.** Отец, она же хорошенькая!

*<Сходятся в группу.>*

**СЛОНИМСКИЙ.** Плакали денежки...

**ЧАПЫГИН.** Эй, вы. Пошто зашептались? Где же та княжна? Нахвастали?

**ТОЛСТОЙ.** Предоставим вмиг.

*<Ольга Форш в окне.>*

**ФЕДИН.** Боярыня Ольга, подь за княжной, пожалуйста.

*<Ольга Форш кланяется, выходит за княжной.>*

**ТОЛСТОЙ.** Играйте, музыканты. Пошто не играйте, саботажники адовы.

*Музыка. Выходит персидская княжна. Пляшет перед Чапыгиным, соблазняя его. Чапыгин не выдерживает. Пляшет с ней. Кончив, сажает княжну с собой.*

**ЧАПЫГИН.** Ну, ничаво. Прошшаю пока. Однако с тем, чтоб ответчика предоставили. А то – критика кликну.

**ТОЛСТОЙ** *<в ноги>*. Ой, не кличь. Все сделаем.

**ЧАПЫГИН.** Ладно. Чествуйте ишшо.

**ПИСАТЕЛИ** (*поют*).

По случаю твое убилея

Мы трудимся, сил не жалея...

*Внезапно раздаются вопли: Помоги, атаманушко. Заели бояре правители. Бальки жругь...*

**ЧАПЫГИН** (*грозно*). Этта што?

**ТОЛСТОЙ.** Не слухай, отец! Непристойна гольтыба глотку дерет.

*Вопли: В клубы не пушают! Колбасу трескают!*

**ЧАПЫГИН.** Эй, стража! Допустить ко мне!

*Врываются Берзин, Гитович, Николай Чуковский, падают в ноги. Кричат. Стонут.*

**ЧАПЫГИН** (*Берзину*). Кто ты, старик?

**БЕРЗИН.** Мы молодо объединение.

**ЧАПЫГИН.** Пошто морда старая?

**БЕРЗИН** *<протягивая руку>*. Довели, отец. До старости в молодых держат!

**ЧАПЫГИН.** Как так?

**БЕРЗИН.** В януарии съедено *<скороговоркой>*: свинины полтора пуда, рыбы осетрины на десять алтын, браги два ведра.

**ЧАПЫГИН.** Кем съедено?

**ГИТОВИЧ.** Старшими. *<Показывает на старших.>*

**ЧАПЫГИН.** Игде?

**БЕРЗИН.** На пирах-банкетах, атаман.

**ЧАПЫГИН.** Укажи, которые ели.

**ГИТОВИЧ.** Одни старшии, атаман! Обида! (*Бьет себя в грудь, рвет на себе рубашку.*) Я обязательну военну службу отбывал! Коней чистил!

*За дощатой загородкой, Против зверя одинок, Обладал я только щеткой, Словно чистильщик сапог. И хоть бы хны – справился. Я пот проливал. На маневры ходил... ЧАПЫГИН. И в боях был?*

**ГИТОВИЧ.** Был! Я против казаков выступал!<sup>5</sup>

**ЧАПЫГИН.** Это правда? <Почему молчите?> (*Старшие молчат.*) Это почему? (*Чуковскому.*) А ты чего молчишь?

**ЧУКОВСКИЙ.** А я в ревизинной комиссии, атаман.

**ЧАПЫГИН.** Боярин! Толстой! Пошто молодежь давишь?

**ТОЛСТОЙ.** Отец! *<Кланяясь. К Чуковскому.>* Водку пить вредно!

**ЧАПЫГИН.** Врешь! Знаю я вас, бояр. Я старый мастеровой!

**ТОЛСТОЙ.** А окромя того, они каждый имеют свои утехы. Берзин окаянный девкам нравитца – мы не жалуемся, не просимси. Гитович...

**ЧАПЫГИН.** Молчи, паскудна личность. Эй, Берзин, каку таку казнь им за это дать?

**БЕРЗИН** *<подходит к княжне>*. Отбери от их персидску княжну в молодо объединение.

**ЧАПЫГИН.** Это... это... мне не нравитца. (*Гитовичу.*) Ты?

**ГИТОВИЧ.** Голову с их сыми. Чего стесняться!

**ЧАПЫГИН.** Это веселей. А ты, Чуковский? Чем казнить их? Чаво молчишь? А?

**ЧУКОВСКИЙ.** Я в ревизинной комиссии...

**ЧАПЫГИН.** Так! Сейчас будет казнь. Критика сюды. (*Входит критик.*)

**ГИТОВИЧ** (*прыгает на трибуну*). Берзин, сюды, здесь виднее будет. (*Садятся на трибуну справа.*)

**ТОЛСТОЙ** *<в ноги>*. Отец. Не вели казнить, вели слово молвить. Княжна, проси! (*Княжна целует Чапыгина.*) Што нас казнишь? За што, бессовестна твоя морда! Твой убилей пройдет, сам к этому критику попадешь! Обалдуй! Ты его учи старших бить аккуратно, а ты натравляешь! Тихонов! Иди сюды! Вядущих бьют!

**ТИХОНОВ** (*влетает в черкеске*). Алла верды. (*Пляшет лезгинку.*) Таш! Таш!

**ЧАПЫГИН.** Ты чего? Здравствуй!

**ТИХОНОВ.** Гагиа марджос!

**ЧАПЫГИН.** Ты чего?

**ТИХОНОВ.** Я швили.

**ЧАПЫГИН.** Ты швили?

**ТИХОНОВ.** Паоло Яшвили. Тициан Табидзе!

**ЧАПЫГИН.** Не разумею. (*Старшим.*)

Толмача сюда.

**ВЫГОДСКИЙ.** Я здесь мала-мала...

*<Садится на корточки.>*

**ЧАПЫГИН.** Переводи яго.

**ТИХОНОВ.**

Прибежали в избу дети,

Второпях зовут отца.

Мама, мама, наши сети

Притащили мертвеца.

*<Танцует.>*

**ЧАПЫГИН.** Это чево?

**ВЫГОДСКИЙ.** А это он мала-мала оригинальные стихи Яшвили перевел, теперь переводы Яшвили обратно назад переводит. Его Пушкин!

**ТОЛСТОЙ.** Заступись, Коля! Режут!

**ТИХОНОВ.** Некогда нам. *<Танцует.>* Гвадалквивири струит зефири...

**ВЫГОДСКИЙ.** Испана суизи!

**ТОЛСТОЙ.** Помоги, Коля! Ты председатель!

**ТИХОНОВ.** Иди ты к секретарю! Эх, таш, таш. (*Уносится, танцую лезгинку.*)

**ТОЛСТОЙ.** Худо дело! Отец, не казни всех – одного найдем! Ты адресом оби-



жен — мы хитрого виновного выявим и казним. И нам полгеше, и тебе.

**ЧАПЫГИН.** Что это?

*Вбегает странный человек. Обвешан водопроводными трубами, весь в известке. В краске. Дрожит. Все пугаются.*

**ЧЕЛОВЕК.** О-хо-хо. Быть худу. У Раковского топится, у Трифоновой с телефонудым идет. *<Садится на пол, вертит головой.>*

**ЧАПЫГИН.** Это кто?

**ТОЛСТОЙ.** А это юродивый, с писательской надстройкой.<sup>6</sup>

**ЧАПЫГИН.** Фамилия?

**ТОЛСТОЙ** *<ослабравая лежащего человека>*. А он в краске, в известке, кто его заберет. Там многие повихнулись.

**ЧЕЛОВЕК** *<вскочил, прыгает по кругу>*. Одним паркет, а другим нет. У мене бабушка в пол провалилась. Бабушка толста, да и щель в полуверста!

**ЧАПЫГИН.** Страсти какие...

**ЧЕЛОВЕК.** Летели галки, сели на балки, а они пополам!

**ЧАПЫГИН.** О, господи...

**ЧЕЛОВЕК.** Был я жилец, стал я подлец! Хожу злой, подозрительный! Одному ванну, а другого мордой по крапу! Одному шкаф, с другого штраф! Одному жарко — другому холодно! Слух на слухе сдет, я ничего не понимаю! *<Вскочил. Подходит к Слонимскому.>* Отойди, разорву.

**ЧАПЫГИН.** Мать пресвятая...

**ЧЕЛОВЕК.** Счетчик гудит, пол трещит, оголение пицтит. Бейте его.

**ЧАПЫГИН.** Кого?

**ЧЕЛОВЕК.** А я не знаю!

**ЧАПЫГИН.** Как так... Вы чьи?

**ЧЕЛОВЕК.** Ничьи. *<Ничего, сидит на корточках.>*

**ЧАПЫГИН.** А правление дома?

**ЧЕЛОВЕК.** Это неправда...

**ЧАПЫГИН.** Чего неправда?

**ЧЕЛОВЕК.** Нету его. Пусто. Быть пусто! Ку-ку-ре-ку. *<Плачет.>*

**ЧАПЫГИН.** До чего довели, окаянные. *(Грохот.)* Это в моем доме кирпич упал. Эх! Давай ответчика, а то искалечу!

**ТОЛСТОЙ.** Отец-отаман. В миг и выделем виновного гада. Твой дом Литфонда?

**ЧАПЫГИН.** Должно, его, проклятого! Слонимский! Мой дом — чей?

**СЛОНИМСКИЙ.** *<выглядывает из-за трибуны>*. Не знаю, спроси, отаман, у Хаскина!

**ЧАПЫГИН.** Не знаешь? Так пропади же ты, окаянный. *(Юродивому.)* А твой дом Литфонда?

**ЧЕЛОВЕК.** Ничей! И-го-го! *(Скачет как лошадь.)* Все отказались! И-го-го.

**ЧАПЫГИН.** Эй, Слонимский. Подь сюда. *<Где спрягался?>* Желая на тебя ответ возложить. Зачем людей калечить?

**СЛОНИМСКИЙ.** *<выходит, в ноги>*. Отец...

**ЧАПЫГИН.** Я тебе не отец.

**СЛОНИМСКИЙ.** Алексей Павлович...

**ЧАПЫГИН.** Не могу! Я тебя казню. Критик! *(Выходит критик.)* Делай!

**КРИТИК** *<выходит с плахой,*

*ставит посередине, при каждом слове взмахивает топором>*, *(басом)*. Кто ты есть? Ты упрощенец, вильгаризатор, формалист, рационалист, индивидуалист, идеалист, сукин сын!

**СЛОНИМСКИЙ.** *<качается>*. Ох тяжко... Это не я, это Хаскин!

**КРИТИК.** У тебе, гада: псевдогероика, псевдоромантика, псевдоисторизм, псевдомонументализм, псевдопростота, псевдовысота, псевдоглубина, псевдокрасота. Ты — Езоп!

**СЛОНИМСКИЙ.** Это не я. Это Хейсин! *<Падает.>*

**КРИТИК.** Лакировщик, вкусовщик, эмпирик, левый фразер, мешанский эстет.

**СЛОНИМСКИЙ** Ох... Испить бы...

*<Приподнимает голову.>*  
**КРИТИК.** Ты объективно разоружился, объективно вооружился, объективно... *(подходит к Слонимскому)* копчился! *<Уходит.>*

**ЧАПЫГИН.** Эх. Скучно мне. Жалая у всех поубивать. Убилей так убилей...

**ТОЛСТОЙ.** Княжна — целый его. *<Княжна>* садится на колени к Ч[апыгину]. Он поднимает ее и идет к ралле.<sup>2</sup>

**ЧАПЫГИН.** Карповка, Карповка, мать родная, ленинградская река. Вот. *(Швыряет княжну в воду.)* И вас всех к черту в шанку. *(Режет всех.)* Стенька Разин! Подь сюда!

*Стенька Разин выходит.*

Это ты что сделал? Какой финал подвел? Сколько я народу поубивал у тебе в пьесе!

**СТЕНЬКА РАЗИН.** Квиты! Я у тебя в романе не мене.

**ЧАПЫГИН.** На тебе за это! *(Режет Разина.)* *<Садится на пол среди убитых.>* Все позарезаны. Кто же мне чувствовать будет? *<Идет к трону, садится.>* Ах ты оказия. Встать!

*Все встают.*

*(Садится в кресло).* Пронцаю. Чествуйте мене!

**ВСЕ** *<гусли, русская>*.

Сил пикаких не жался,  
Мы трудились для твою юбилея.  
Чапыгин ты наш Алексей,  
Мы старались от души ото всей.  
Ежели шутили — то любя,  
Потому — мы уважаем тебя.  
Зато ты разумом свеж.  
Пускай юбилей тридцать лет,  
В тебе старости-строгости нет.  
Ты, Чапыгин, — воевода и отец.  
Ты веселый вполне молодец.  
Ты за пьесу нас не бей, не тряси,  
А скажи ты нам по-русски — мерси!

*<Музыка исполняет "русскую". Выбегает сколорох Савин с дудкой, пляшет, садится на ступеньки у ног Чапыгина. Музыка: "Во саду ли, в огороде..." Выходят О.Форш и Н.Тихонов. Пляшут "русскую". Все приплясывают.>*

<sup>1</sup> В угловых скобках — дописанное режиссером.  
<sup>2</sup> Клич разинских казаков из поэмы Василия Каменского.

<sup>3</sup> Оба писателя — "маринисты".

<sup>4</sup> Исправлено режиссером.

<sup>5</sup> Тут словесный каламбур: критик выступает не против казаков, а против писателя Козакова.

<sup>6</sup> Дом на набережной канала Грибоедова был надстроен этажом, куда расселились писатели. В этой "писательской надстройке", как ее тут же окрестили, жил и Евгений Шварц.



## ПОСЛЕСЛОВИЕ

31 декабря 1934 года, ближе к ночи, немногочисленные прохожие проспекта Володарского были приятно удивлены встречами с людьми, с которыми они лично знакомы не были, но лица которых им тем не менее были хорошо известны. Незнакомые знакомцы потоком вливались на улицу Воинова.

Здесь, в бывшем доме графа Шереметева, в бывшей Финской культурной миссии, открывался Дом писателя им. Вл. Маяковского. "Дом советских писателей был открыт еще в 1934 году. Открыли его, что называется, в самую последнюю минуту... перед наступлением Нового года, — шутил репортер газеты "Литературный Ленинград". — "Сейчас, — объявил Н. Тихонов, — с последним ударом часов мы не только встречаем начало нового 1935 года, но мы открываем наш Дом, наш клуб... Пусть этот Дом станет действительно клубом передовой советской интеллигенции..." От имени правления ленинградского Союза писателей во втором зале выступил К.Федин... Был показан спектакль — литературное обозрение — театра марионеток..."

Руководила новым театром марионеток Любовь Васильевна Яковлева-Шапорина. После гимназии она училась в частной мастерской В.Кардовского; окончила Общество поощрения художеств по офорту. Но душа ее прикипела к кукольному театру, и в 1918 году при Театростудии Петроградского отдела театров и зрелищ она организовала первый советский театр марионеток. И вот теперь она начинала новое дело — пародийный капустнический театр кукол при Доме писателя, а "литературное обозрение", которым он открылся, — это "Торжественное заседание" Евгения Шварца. Среди дей-

ствующих лиц — А.Толстой, О.Форш, С.Маршак, Ю.Тынянов, Н.Тихонов, К.Федин, М.Слонимский, М.Козаков, А.Гитович, Н.Чуковский, Б.Корнилов и другие. Куклы-шаржи были талантливо выполнены скульпторами Е.Янсон-Манизер и К.Коноваловой. Гримировали их лучшие тогдашние карикатуристы во главе с Н.Радловым и Б.Малаховским. "Озвучивал" роли Ираклий Андроников. Спектакль прошел под несмолкаемый хохот переполненного зала, в том числе и тех, кто одновременно находился в зале и на сцене.

А 17 марта писатели отмечали юбилей — 30-летие литературной деятельности А.П.Чапыгина, для которого ("убиения") Шварц же написал очередное обозрение "Чапыгин Алексей". Ставила спектакль Л.Шапорина, декорации и куклы были выполнены по эскизам ученицы П.Филонова Татьяны Глебовой. Спектакль имел такой же успех, что и первый.

Текст, предлагаемый читателям, хранится в рукописном отделе Института русской литературы (ИРЛИ), в фонде Л.В.Шапориной (ф. 698).

Подготовка текста, публикация и послесловие  
Евгения Биневича.

# ВСЕМИРНОЕ СЛОВО

СРЕДИ АВТОРОВ  
СЛЕДУЮЩИХ НОМЕРОВ:

КОНСТАНТИН АЗАДОВСКИЙ

ХОРХЕ ЛУИС БОРХЕС

ИОСИФ БРОДСКИЙ

ПАСКАЛЬ БРЮКНЕР

МИХАИЛ ГЕРМАН

ЛИДИЯ ГИНЗБУРГ

ИВАН ЕЛАГИН

АЛЕКСАНДР ЖИТИНСКИЙ

МИЛАН КУНДЕРА

АЛЕКСАНДР КУПРИН

ЧЕСЛАВ МИЛОШ

ВЛАДИМИР НАБОКОВ

ВЕРА ПАНОВА

ОКТАВИО ПАС

МИХАИЛ РОСТОВЦЕВ

ГЕРТРУДА СТАЙН



ОЛЕГ ГРЕЧКИН

# Константин Кавафис

Дарий

*Поэт Ферназис трудится над главной главой своей эпической поэмы о том, как Дарий, сын Гистаспа, стал Владыкой Персии (наш Митридат Великий, Евпатор, Дионис и проч., и проч. из этого же происходят дома). Здесь, впрочем, требуется трезвость мысли: чел, собственно, был обуреваем Дарий? Гордъней? Честолюбьем? Был ли он снедаем чувством суетности власти, могущества? Как знать? Ферназис веки смежает, погрузившись в размышленья.*

*Но ход их плавный грубо прерывает слуга, вбегая в комнату с известьем: "Война! Мы выступили против римлян! Часть нашей армии пересекла границу".*

*Ферназис ошарашен. Катастрофа! Какое теперь дело Митридату, Евпатору и Дионису до стихов по-гречески? В разгар войны не до стихов какого-то там грека.*

*Поэт подавлен. Что за невезенье! Как раз когда он "Дариел" своим рассчитывал прославиться и плотно заткнуть завистливым зомлам глотки! Опять отсрочка, нарушенье планов.*

*И если только нарушенье планов! Но в безопасности ль мы в наших стенах? Ализос – плохо укрепленный город. На свете нет врагов страшнее римлян. Что противопоставить можем мы, каппадокийцы, ихним легионам? О боги Азии, не оставляйте нас!*

*Но среди всех этих волнений, страхов мысль поэтическая не прекращает биться. Да, именно: гордъня, честолюбье. Да, или именно и был снедаем Дарий.*

Перевел Г.Шмаков

Известно, что Пушкин в одной из заметок назвал переводчиков почтовыми лошадьми просвещения. Определение точное, и – во всяком случае, на мой взгляд – ничего обидного в нем нет. Связывать между собой культуры разных язычных народов – дело плодотворное, более того, насущно необходимое. Можно ли представить себе русскую поэзию первой половины девятнадцатого века без витающей над нею тени Байрона или западноевропейскую прозу, начиная с середины того же девятнадцатого века и до наших дней, не ведающую о Достоевском, Толстом, Чехове?

В русской литературе художественный перевод занимает особое – выдающееся – место. Ему отдали дань крупнейшие наши поэты – Пушкин и Фет, Анненский и Ахматова, не говоря уже о Жуковском или Пастернаке, для которых перевод значил порою ничуть не меньше, чем оригинальное творчество. Что касается поэтов второго ряда, то иные из них живут доньше именно благодаря своим переводам: к примеру, В.Курочкин – переводами из Беранже.

Но если в девятнадцатом веке переводы большей частью были "из такого-то поэта", то в веке двадцатом требования к этой области искусства становятся куда более строгими. Не случайно именно в нашем столетии сложилась теория художественного перевода, а сам перевод стал полноправным явлением культуры.

Среди молодых литераторов, появившихся на ленинградском переводческом горизонте в шестидесятые годы, было немало людей, незаурядно одаренных, но Геннадий Шмаков выделялся и среди них. Филолог-античник, он владел многими европейскими языками, превосходно знал весь ход развития европейской культуры и при этом хранил в памяти своей русскую поэзию от Державина и Сумарокова до наших дней.

Круг авторов, которых переводил Г.Шмаков, очень широк: в него входят прозаики и поэты, древние и современные, европейцы и латиноамериканцы, всем известные, как Байрон и Верлен, и еще недавно почти неведомые, как Кокто или Кавафис. Эти последние, разумеется, особенно для нас интересны.

Если само имя Кокто и было знакомо читателям, то стихов его они не знали. В переводах Г.Шмакова, напечатанных в недавно выпущенной издательством "Петрополь" книге его избранных переводов

## О переводах Геннадия Шмакова (1940-1988)

"Страница-любовь", этот французский поэт весь предстает перед нами – угловатый, лиричный, иронический, грустный... Вот хотя бы это:

*Я не люблю слоняться по  
музеям,  
вертеться в них осой,  
зато стою последним ротозел  
я в зале Пикассо. <... >*

*Там наша жизнь встает  
преображенной,  
там краски и черты  
являют глазу хаос  
обновленный  
и полный доброты.*

Или такие удивительные по интонации и естественности строки:

*Хранитель чужого наследства,  
Скажи ты мне, ащик стола,  
Где фейерверк давнего  
детства,  
Лужайки и куча мала,*

*Пропалише сеном телята,  
И где отыскать матерей,  
Которые клали заплаты  
На куртки своих сыновей?*

Что касается Кавафиса, то открытие этого поэта для русского читателя – целиком заслуга Г.Шмакова; благодаря ему стал переводить Кавафиса и Иосиф Бродский. Приводить цитаты из стихов Кавафиса нет смысла: они, как изваяния, существуют целиком.

Геннадий Шмаков, вынужденный в 1975 году эмигрировать, умер в Соединенных Штатах, не прожив и пятидесяти лет. Его литературное наследие включает в себя разнообразные работы по искусствоведению, истории культуры и литературы. И рядом с ними – высокие образцы художественного перевода. Они переносят нас из Древней Греции (Мелеагр) в современную (Кавафис), из Испании (Лорка) в Португалию (Пессоа), из Англии (Байрон) в Никарагуа (Рубен Дарио). И всякая встреча – это радость обретения, знакомство с новой гранью поэзии, неожиданной и прекрасной.

Будем же благодарны за это Геннадию Шмакову и сохраним в памяти его имя.

Э.Тененберг

**З**а последние годы к читателю вернулись многие деятели "серебряного века": поэты, художники, критики, мыслители, театральные режиссеры. Принято было считать начало века – до 1917 года – эпохой распада, гниения и позора; "позорное десятилетие" – эти слова твердили все кому не лень, не вдумываясь в их смысл, а точнее в их бессмысленность. Теперь, когда все поняли, что "есть ценностей незбылемая скала / Над скучными ошибками веков. / Неправильно наложена опала / На автора возвышенных стихов", – теперь все чаще и все менее робко спрашивают: "Почему, собственно, называют эту пору – серебряной? Не золотая ли она?"

Эпоха, о которой идет речь, в самом деле великая. Она сменила предшествующую, тоже феноменальную: русского романа. Шестидесятилетий шло художественное исследование российского общества, и вели это исследование прозаики самого разного толка, от Гоголя и Вельмана до Толстого, Гончарова, Достоевского и Чехова. Изучались Россия, социальный человек XIX века. Новое столетие принесло с собой и новую художественную философию: в центре внимания оказался человек метафизический – тот, который стоит лицом к лицу со смертью, любовью, истиной, духом, добром и злом – Богом; проза для этой проблематики годилась лишь относительно. Метафизический человек – предмет поэзии. "Серебряный век" и оказался эпохой поэзии, определявшей все вокруг себя: живопись, театр, философию, даже политику, и уж во всяком случае роман. Для сталинской четверти века это не годилось: чему советский человек мог научиться у декадентов? Все они сеют идеализм, мистику, индивидуалистичность, эстетство, болезненные пристрастия, а то даже извращения, пессимизм. К тому же они приверженцы аристократической элитарности в искусстве; на каждом шагу у них нимфы, фавны, nereиды, валькирии, вигилии и прочая чертовщина. Взять хотя бы Бенедикта Лившица: как озаглавлены сборники его стихов? "Флейта Марсия", "Волчье солнце", "Болотная медуза", "Патмос", "Кротонский полдень". Каждое из этих названий упрекает читателя в необразованности. Откуда знать выпускнику "единой трудовой школы №...", что Патмос – остров, куда был изгнан Иоанн Богослов и где он создал Апокалипсис; что Кротон – центр пифагорейцев; что Марсий – удачливый соперник Аполлона, с которого ревнивый бог заживо содрал кожу?.. В 1929 году Б.Лившиц написал горькое стихотворение, начинавшееся жалобой:

*Уж непонятны становятся мне голоса  
Моих современников. Крови все глуше  
удары  
Под толщею слова...*

Прошло шестьдесят лет, на протяжении которых уровень образованности опускался все ниже. Теперь "уж непонят-

ны становятся нам голоса" наших недавних современников. Но они возвращаются, и вместе с ними – изгонявшаяся, преданная остракизму и сознательному забвению культура. Придется "снова научиться жить": читать Вяч.Иванова, О.Мандельштама, М.Волошина, А.Белого, К.Бальмонта, М.Цветаеву, Н.Гумилева, М.Кузмина – так, как их читали в ту славную пору подписчики журналов "Аполлон", "Золотое руно" и "Жар-птица". Среди этих блистательных имен – полузабытое имя Бенедикта Лившица. Каждый из названных поэтов был предан забвению по какой-нибудь особой, отнюдь не литературной причине: Вяч.Иванов, К.Бальмонт, М.Цветаева – как эмигранты; Н.Гуми-

## ВОСКРЕСЕНИЕ МАСТЕРА



лев – как контрреволюционер, казненный ЧК за мнимое участие в мнимом заговоре; О.Мандельштам – как арестованный и погибший в лагере "враг народа"; А.Белый, М.Волошин и М.Кузмин – как чуждые коммунистическому режиму декаденты, "внутренние эмигранты"; Б.Лившиц – как расстрелянный в 1938 году "наймит империализма". Дурной сон кончился, "могучая кучка" русских поэтов вернулась. Читатель, который откроет том "Краткой литературной энциклопедии", увидит в конце нескольких им посвященных заметок зловецкие слова: "незаконно репрессирован, посмертно реабилитирован". Слова эти относятся, в сущности, ко всему "серебряному веку": вся эпоха была незаконно репрессирована; вся она теперь – посмертно реабилитирована. Младшее поколение перестало этому удивляться. Для людей, переживших советские десятилетия, память о "незаконных репрессиях" остается живой; это ужас и стыд нескольких поколений.

После долгой, бесконечно долгой лютаргии Бенедикт Лившиц в 1989 году возвратился к читателям – появился отличный том его сочинений\*, содержащий

## Ефим Эткинд

если не все, то важнейшее из стихов, мемуарной прозы и поэтических переводов Мастера. Б.Лившиц заслужил это высокое, почетное имя, дополнительно возвышенное Булгаковым. Как поэт, он владел изысканнейшими формами строфики и композиции, был знатоком многообразных лексических средств русского языка – от редкостных архаизмов до вульгарного уличного просторечия; как мемуарист, он автор одной из лучших книг о русском футуризме десятых годов, да и в целом об этой немеркнувшей эпохе, – "Полутораглазый стрелец"; как переводчик – он чемпион: в переводе французской поэзии XIX-XX веков у него нет соперников. Сколько бы он мог еще сделать в нашей культуре, этот блестяще образованный и щедро одаренный поэт, если бы его

не погубили в 52 года!

Беды, выпавшие на долю Б.Лившица, продолжали сыпаться на него и через много лет после смерти. В 1970 году было подготовлено – с интервалом в 33 года, но под прежним авторским заглавием, "От романтиков до сюрреалистов", – новое издание его антологии французской поэзии (составление и предисловие Вадима Козового). Тираж был отпечатан, в типографии лежали стопки книг, готовые к вывозу. И тут ударил гром: откуда-то "сверху" пришло распоряжение убрать из заголовка слово "сюрреализм" – не спрашивайте, почему. Издатели судорожно листали книгу в поисках нового, нейтрального, названия, и, паткнувшись на цикл "У ночного окна" Гюго, так и озаглавили антологию... В части тиража на обложке наклеена ленточка с этим новым названием, скрывающая прежнее; в таком виде книга поступила в продажу. Досужий пенсионер написал на имя Брежнева письмо, в котором выражал гражданское негодование: как же так, вопрошал он, Андре Жид напечатал в тридцатые годы антисоветский пасквиль "Возвращение из СССР", наша пресса заклеймила его как ренегата, а некий Б.Лившиц помещает его стихи в своей антологии. Почему издательство "Прогресс" пачкает мозги советским читателям?.. Решение не заставило себя ждать: не разошедшиеся экземпляры были из продажи изъяты. Это, однако, не все, что можно рассказать о злополучном сборнике. В издании 1935 года Б.Лившица заставили включить стихи Арагона – поэта-коммуниста, который ничем не привлек переводчика; Б.Лившиц подчинился и перевел отрывок из поэмы "Ура Урал". Из издания 1970 года начальство распорядилось Арагона убрать: незадолго до того он выступил против советского вторжения в Чехословакию и даже

\* Бенедикт Лившиц. "Полутораглазый стрелец". Стихотворения. Переводы. Воспоминания. Вступ. статья А.А.Урбана. Составление Е.К.Лившиц и П.М.Нерлера. Подготовка текста П.М.Нерлера и А.Е.Парниса. Примечания П.М.Нерлера, А.Е.Парниса и Е.Ф.Ковтуна. Редактор Л.А.Николаева. Л., "Советский писатель", 1989. 719 с.

опубликовал статью "Я называю кошку кошкой" (то есть оккупацию оккупацией). И Арагона, когда-то насильно вставленного, теперь насильно убрали. Впрочем, книжку это не спасло...

А книжка – замечательная. Б.Лившицу удалось представить в ней полтора столетия французской поэзии, показав редчайшее искусство перевоплощения. Видимо, его привлекала не только игра в "театр переживаний", но и возможность продемонстрировать беспредельные ресурсы русского поэтического языка. Антология открывается элегией Ламартина "Одиночество" (1818); под пером Лившица Ламартин – из романтиков романтик, это как бы чистейший экстракт стиля романтической элегии:

*Когда на склоне дня, в тени усевшись дуба  
И грусти полн, гляжу с высокого холма  
На дол, у ног моих простершийся, мне  
любо  
Глядеть, как все вокруг преображает  
тьма.*

*Пока за гребень гор, где мрачный бор  
теснится,  
Еще цепляется зари последний луч,  
Владычицы теней восходит колесница,  
Уже осеребрив края далеких туч.*

Когда-то стихотворение Ламартина перевел совсем еще юный Тютчев – вторая из цитированных строк звучит у него так:

*По темной зелени дерев  
Зари последний луч еще приметно бродит,  
Луна медлительно с полуночи восходит  
На колеснице облаков.*

Элегия Тютчева, созданная тотчас вслед за Ламартином – примерно в 1820-м или 1822 году, – абсолютно достоверна: в ту пору Тютчев был и сам романтиком. Но его стиль ближе к немецким прототипам – отсюда вольная строфа, отсюда же прямое название луны. Б.Лившиц идеально передает специфически французскую элегию романтизма, следующую образцам классики XVII века (какому-нибудь Рокану), – это видно даже по соблюдению всех правил александрийского стиха и по пристрастию к классической перифразе (вместо "луна" – "владычица теней"). Лившиц предельно близок к стилю романтической элегии – и это важнее, нежели близость к конкретному подлиннику: в сущности, только при такой верности поэтический перевод возможен.

Лет через тридцать поэт-сатирик Огюст-Марсель Бартеlemi написал послание "Господину де Ламартину, кандидату в депутаты от Тулона и Дюнкерка": это открытая издевка над автором элегии, которую так полномерно воспроизвел по-русски Б.Лившиц; но тот же Лившиц не менее убедительно воспроизвел и памфлет, опровергающий романтический стиль Ламартиновой элегии:

*Я думал: что же, пусть, чувствителен не в  
меру,  
Поэт преследует высокую химеру,  
От стогонов городских уходит в мир могил  
И там, где акведуку образовал аркаду,  
В тумане звонкому внимает водопаду  
Под сенью ястребиных крыл.*

*Увы, всю жизнь – одни озера, бездны,  
выси!  
Раз навсегда застыть на книжном  
фронтисписе,  
Закутав тощий стан коричневым плащом,  
И взором, лунною исполненным печалью,  
Следить за волнами, что льнут к ногам,  
за далью,  
За реющими во мгле орлами!*

Б.Лившиц умел быть и Ламартином, и анти-Ламартином. Он с большим пиететом писал в неопубликованном предисловии к антологии (1930) – о своих предшественниках: "Отличные переводы Брюсова, Сологуба, Волошина, Гумилева, Олерона позволили мне, в изъятие из общего правила, обязывавшего к соблюдению "законных" пропорций, представить Бодлера, Верлена, Готье, Верхарна и Эредиа – одним-двумя стихотворениями..." (с. 583). Это справедливо, если помнить, что Олерон отлично перевел только Эредиа, Сологуб – Верлена, Волошин – Верхарна; что же до Бенедикта Лившица, то он был из тех пианистов, которые могут в одном концерте играть Моцарта, Шопена и Шостаковича, проникая в сущность каждого из этих композиторов и в то же время сохраняя верность самому себе.

В том же предисловии Лившиц замечает, что иногда, – "когда творчество поэта было представлено существующими переводами достаточно полно", – он "полагал нелишним отбирать вещи... могущие несколько изменить традиционный ракурс литературного облика" (с. 584). Этот принцип позволял Лившицу ошеломлять даже очень искушенного читателя невероятными открытиями; так, привычные к напевному, скрипично изящному Верлену "Романсов без слов", мы вдруг сталкиваемся чуть ли не с Верленом-футуристом:

*Океан, в котором  
Звонок плеск волны,  
Мечется под взором  
Траурной луны.*

*И, взгрызаясь резче  
В неба бурый мрак,  
Блещет в нем злоеущий  
Молнии зигзаг.*

*В судороге пьяной  
Каждый новый вал  
Пляшет, плещет рьяно  
Вдоль подводных скал,*

*А по небосводу  
Рыца напралом,  
Рвется на свободу  
Ураганный гром.*

Вспоминаются строки Маяковского: "Громоздите за звуком звук вы, И вперед, поя и свища. Есть еще хорошие буквы: Эр, ша, ща". В песне Верлена, озаглавленной "Марина" (то есть "морской пейзаж"), появляется нагромождение именно этих, Маяковским отданных футуристам, звуков: "...взгрызаясь резче (р-щ) В неба бурый мрак (р-р), Блещет в нем злоеущий (щ-щ)..." И ниже: "Пляшет, плещет рьяно (ш-щ-р)..." "Рыца напралом (щ-р)", "Ураганный гром (ра-ро)". Бенедикт Лившиц, как обычно, прав: настоящий Верлен далек от той мелодичности, которой его награ-

дили Сологуб и другие; есть в нем и футуристическое громоуханье – без Лившица оно могло бы остаться незамеченным. То же касается и Верленовых "Галантных празднеств": их нередко воспринимали как поэтический вариант полотен Ватто; Лившиц же прочитал (и воссоздал) их как спор с изысканной галантностью XVIII века, как скандальный бунт против декадентского эстетизма возрожденного Ватто:

*Желанья и касаясь лишь слегка  
Утех любви, мы были смешноваты.  
Амур суровый требует расплаты –  
И кто осудит юного божка?*

*Расстанемся же и, забыв о том,  
Что блябли недавно по-бараньи,  
Объявили револ о своем желаньи  
Отплыть скорей в Гоморру и Содом.*

("Последнее изящное празднество")

Разумеется, это поэтическая реплика на картину Антуана Ватто "Отплытие на остров Киферу" (1717); в то же время это и свирепое опровержение Ватто. Б.Лившиц в своих переводах пересмотрел историю французской поэзии: он оторвал Верлена от импрессионистов и символистов, приблизив его к русскому футуризму; вот ведь это тоже – Верлен, но прочитанный и истолкованный Б.Лившицем:

*Все расплывалось в каком-то угаре,  
Жельи клокотала во мне, как фонтан.  
О, эти арии в репертуаре  
Хари, укрытой за слоем румян!*

("Сатурническая поэма")

О Рембо и говорить нечего – он всегда был для Б.Лившица ближайшим поэтическим родственником, и ни в ком Лившиц не видел столь нужного ему соединения классически совершенной стиховой формы со взрывчатым словесно-смысловым наполнением:

*На чахлои скверике (о, до чего он весь  
Прилизан, точно взят из благонаправной  
книжки!)*

*Мещане рыхлые, страдая от одышки,  
По четвергам свою прогуливают спесь.*

*Забравшись в мураву, гогочет голо-  
штанник.*

*Вдъхая запах роз, любовное питье,  
В тромбонном вое пьет с восторгом  
солдатъе*

*И возится с детьми, чтоб улестить их  
нянек...*

("На музыке")

Артур Рембо, как и Верлен, тоже вплотную приближен Б.Лившицем к русскому футуризму – прежде всего к стихам самого Лившица.

\* \* \*

В рецензии неуместны обстоятельные рассуждения о поэтике Бенедикта Лившица – тем более что об этом хорошо сказал автор вступительной статьи к одному из томов Адольф Урбан (о Лившице-переводчике он упоминает мало). Публикация этой (последней?) работы трагически погибшего талантливого критика –

большая заслуга издателей. А.Урбану было 54 года, почти столько же, сколько Б.Лившицу, о котором он с таким глубоким пониманием и сочувствием написал. Многие годы ему приходилось душировать самого себя – статья о Б.Лившице показывает, чего можно было бы ожидать в будущем от этого многостороннего исследователя. А.Урбан убедительно рассматривает вопрос о том, как и почему Б.Лившиц оказался между символизмом, в союзе с которым начинал, футуризм, с которым был связан и организационно и творчески, акмеизмом, с которым всегда спорил и к которому был, пожалуй, особенно близок. К сказанному А.Урбаном не могу не прибавить, что связи с О.Мандельштамом многочисленнее и прочнее, чем он намечил; полагаю, например, что стихи сборника "Болотная медуза" (1914-1918) так или иначе ориентированы на автора строк: "Мне холодно. Прозрачная весна В зеленый пух Петрополь одеваает. Но, как медуза, невская волна Мне отвращенье легкое внушает..." (1916). Нет сомнений, что стихотворение Лившица "Казанский собор" и Мандельштама на ту же тему представляют собой сознательное соревнование в решении одной и той же задачи, – тем более что оба написаны в один и тот же год, 1914-й, год столетия Воронихина. Почти то же относится к двум другим одинаково озаглавленным стихотворениям – "Дворцовая площадь".

А.Урбан справедливо отмечает важную для Б.Лившица идею единства Востока и Запада, связывающую его со "скифством" Блока. Хорошо говорит он и о свойственной Лившицу концепции "бессилия слова", унаследованной от символистов; в сущности, эта тема заслуживает гораздо большего развития, так же как и лежащая в основе стихов идея "Патмос" пифагорейская идея гармонии. Оценивая значение античной культуры для Лившица, А.Урбан дает прекрасную формулировку: она, эта культура, "была именно тем звеном, где довременное, неосознанное, полудикое, прамузыкальное обрело новую точку отсчета, находило слово, музыкальный ритм, форму. Она еще будто в полусне, в предсознании. Но в ней уже явлена единственная и общая "истина", на которую Бенедикт Лившиц налагает "орфические узы" (с. 29). В "Патмосе", впрочем, возникают отчетливые антропософские мотивы, которые позволяют по-новому понять непростую философию Лившица. Очень важно его обнаружившееся теперь стремление проникнуть в сердцевину мира, в сущность вещей; стремление, которое, как ему представляется, обречено на неудачу – осуществить его можно разве что посредством поэтической гармонии:

*Принимаю изго моего креста,  
Трех измерений сладкую обиду,  
Пусть ведаю, что в райские врата,  
Внутри вещей, я никогда не вниду.*

*Но не гордыню душа полна,  
Хотя уходит в сторону от Рима:  
На что мне истина, пока она  
С поющими словом несоизмерима?*

(1919)

Пессимистический вывод для философа, но отнюдь не безнадежный для поэта, чье "поющее слово" может компенсиро-

вать бессилие разума и логически осмысленной речи. Это выражено отчетливо в стихотворении 1920 года:

*Пусть сердцевина не сладка  
В плоде, доставшемся от змия:  
К челму отчаянье, пока  
Ты правишь миром, эвритмия?*

\* \* \*

Статья А.Урбана помогает читателю проникнуть в новый для него и не сразу проницаемый художественный мир Б.Лившица, ставя его в культурный контекст эпохи. Статья поддержана и существенно расширена в высшей степени компетентными и содержательными комментариями (П.М.Нерлер, А.Е.Парнис и Е.Ф.Ковтун; аннотации к французским поэтам Н.Я.Рыковой). Составители (Е.К.Лившиц и П.М.Нерлер) широко воспользовались архивными материалами, благодаря которым прояснено многое, что казалось темным и даже неразрешимым (см. примечания к № 118 и мн. др.), – они обнаружили новые данные в ЦГАЛИ, в отделе рукописей Библиотеки имени Ленина, в Государственном литературном музее. Необыкновенно ценно участие в комментировании книги вдовы поэта (умершей во время работы над одноименником) – Екатерины Константиновны Лившиц, урожденной Скачково-Гуриновской (1902-1987). Эта замечательная женщина до конца жизни сохранила ясный ум и твердую память; она вышла замуж за Бенедикта Лившица девятнадцати лет, прожила с ним до его ареста – ей было к тому времени всего тридцать пять – и оставалась преданной его памяти в течение десятилетий: ведь осуществить издание книги удалось только через полвека после гибели поэта, к столетию со дня его рождения. Без нее многие обстоятельства жизни и творчества Б.Лившица остались бы непроясненными. В этом отношении особенно велика роль Павла Марковича Нерлера, неутомимо-го собеседника свидетелей эпохи, число которых катастрофически падает.

Составители сборника заслуживают благодарности: они включили в него все художественно ценное, а также многое из того, что прежде было нам недоступно. В одноименнике недостает, пожалуй, только статьи "В цитадели революционного слова" (1919) и предисловия к книге Эредиа "Трофеи" в переводе Д.И.Глушкова (Д. Олерона) (1925); обе работы имеют немалое значение для позиции Лившица, да и не заняли бы много места. Комментарии, как уже говорилось, на высоком уровне. Написав эту фразу, я сразу отдал себе отчет в ее неадекватности, – дело в том, что перед нами книга, в которой комментарии имеют совершенно особое значение – Б.Лившиц не рисует эрудицией, а дышит мировой культурой. Поскольку большинству читателей нашего далекого не серебряного века это несвойственно, то им приходится тактично объяснять не только мифологические сюжеты, библейские притчи и латинские афоризмы, но даже и устаревшие российские слова и реалии; к тому же в мемуарах Б.Лившица немало забытых имен и фактов начала столетия – все было сделано для того, чтобы мы их забыли, теперь надо их воскресить, а для этого – найти. Неоценима заслуга Александра Ефимо-

вича Парниса, впервые снабдившего обширным и неизменно убедительным комментарием "Полутораглазого стрелца".

Впрочем, для будущих изданий бесполезно обратить внимание на некоторые неточности или ошибки. Сборник В.Гюго не назывался "Оды и разные стихотворения" – сначала, в 1822 году, он был озаглавлен просто "Оды", позднее издавался под названием "Оды и баллады" (с. 586). Сен-Клу – не "дворцовое предместье Парижа", а самостоятельный город с тридцатитысячным населением и развитой промышленностью (с. 587). Альфред де Виньи – автор не "исторических романов", а только одного: "Сен-Мар" (с. 585). Маршала Даву звали не Луис Николас – он был француз, а не испанец и носил нормальные французские имена Луи Никола (с. 615). Поэмы Мюссе "Намуна" и "Ролла" не составляют цикла, а "Ночи" не поэма, но именно цикл – однако не поэм, а стихотворений (с. 589). Витроль был министром не Людовика XVII (который никогда не царствовал), а Людовика XVIII – в 1815 и 1824 гг. (с. 591). О сочинениях Рембо нельзя сказать, что его "наиболее известные книги – "Последние стихотворения" (1872), "Сквозь ад" (1873), "Озарения" (1886)" (с. 593): единственная книга, вышедшая при жизни автора, – "Пора в ад" (1873); есть книга, собранная позднее из стихотворений 1869-1871 гг. – ее обычно называют "Стихотворения"; есть другая, изданная Верленом в 1886 г., – "Последние стихотворения". Про Аполлинера сказано (с. 599), что "в основе его стиля лежит смешение "высоких" и "низких" образцов – может быть, образцов? В примечаниях к нескольким французским поэтам остались следы вульгарно-социологических оценок: про Верхарна сказано, что он "протестует против бесчеловечности капиталистического строя" (с. 596), про Элюара – что это "выдающийся поэт-сюрреалист, сумевший преодолеть сюрреализм и выйти на путь общенародности" (с. 602). В конце восьмидесятых годов так упрощенно писать уже не ловко.

Приведенные огрехи – мелкие пятнышки в книге, представляющей собой большое культурное явление: подлинное возрождение поэта, который был одной из центральных фигур своей эпохи и заслужил долгую и благодарную память соотечественников. Бенедикт Лившиц был подлинным Мастером – к тому же, это надо сказать особо, мастером отчетливых формул. Вот одна из них:

*Пою с травой и с ветром вою,  
Одним желанием греша:  
Найти хоть звук, где с мировую  
Душой слита моя душа.*

("Я знаю: в мировом провале...", 1919)

**Ж**изнь Мейерхольда – неразрывное сплетение неповторимости и всеобщности. Неповторимость явлена в творчестве, всеобщность – в трагическом конце. Судьба его, фабулой своей следуя за всеми изгибами нашей истории, отразила драматическую судьбу страны. Печальная участь "Пиковой дамы", вершинного творения режиссерского гения Мейерхольда, смотрится в ретроспективе неким роковым предсказанием, предопределением трагического финала его творчества.

довщине со дня смерти Пушкина. Пушкинская тема активно вошла в середине 30-х годов в творчество многих писателей, музыкантов, художников: началась публикация романа Ю.Н.Тынянова "Пушкин", пьесу "Последние дни (Пушкин)" создает М.А.Булгаков, Ю.С.Слезкин инсценирует "Пиковую даму", С.С.Прокофьев работает над музыкой к спектаклям "Борис Годунов", "Евгений Онегин", "Моцарт и Сальери", к кинофильму "Пиковая дама". Круто меняется официальное отношение к Пушкину. Недавние сегоования критики на идейную ущербность его произведений были отменены. Отныне все творчество Пушкина – новоявленного символа пролетарской ли-

## Галина Копытова

на постановки был сделан Мейерхольдом в декабре 1933 года, в дни его пребывания в Ленинграде в связи с работой над второй редакцией "Маскарада" в Академическом театре драмы. Набросок этот сохранился в архиве Мейерхольда. Взглядываясь в рубленые, лесенкой бегущие фразы, набросанные на вырванных из блокнота листках с грифом дирекции Малегота, трудно удержаться от соблазна представить себе "жанровую картинку": Мейерхольд устно излагает план буду-

# РЕКВИЕМ

## ВСЕВОЛОДА МЕЙЕРХОЛЬДА

Замысел по-своему, по-новому поставить оперу Чайковского Мейерхольд вынашивал почти три десятилетия. Зародилась эта идея в начале века, в годы его активной и плодотворной работы в музыкальном театре, когда были созданы "Тристан и Изольда", "Орфей", "Электра", "Каменный гость". Приступить же к реализации замысла удалось только в 1930-е годы, когда Мейерхольд был приглашен для постановки "Пиковой дамы" в ленинградский Малый оперный театр. Инициатором приглашения был главный дирижер и художественный руководитель Малегота С.А.Самосуд, человек, обладавший редким для оперного дирижера качеством – любить в музыкальном театре не только музыку, но и его театральное начало. Недавно отпочковавшаяся от Академического театра оперы и балета молодая труппа под руководством Самосуда начинала осознать свою цельность и творческую самостоятельность: в активе Малегота уже были две крупные победы – "Кармен" (1933) и "Леди Макбет Мценского уезда" (1934).

Для Мейерхольда начало 30-х годов – период тесных контактов с театральной жизнью Ленинграда: это и ежегодные гастроли ГостТИМа, это и премьеры обновленных редакций "Дон Жуана" и "Маскарада", это и ворох планов, большей частью неосуществленных ("Два брата" в Академическом театре драмы, возобновление "Орфея" и продолжение борьбы за постановку прокофьевского "Игрока" в ГАТОБе; опера Хиндемита "Новости дня" в Малеготе, там же – "Пиковая дама", "Каменный гость" и "Борис Годунов"). Единственным осуществлением этих планов стала "Пиковая дама".

Работа над постановкой протекла в годы, предшествовавшие столетней го-

тературы – объявлялось нужным и понятным современному читателю и зрителю. Пресса и радио, подстрегаемые командой сверху, запестрели бесчисленными изъявлениями всенародной любви к поэту, доводя юбилейную кампанию до абсурда: Пушкин был везде – от газетной полосы до конфетных оберток.

Шумиха вокруг имени Пушкина вызывала у Мейерхольда раздражение. В одной из бесед с актерами в начале 1934 года он саркастически заметил: "Приближается столетняя годовщина смерти Пушкина, и, как всегда, перед юбилеем книги раскупаются: сто лет тому назад Дантес убил Пушкина, что же за фигура – Пушкин – в связи с юбилеем? До юбилея этим не интересовались".

Интерес Мейерхольда к Пушкину был давним и глубоким. Однако активное желание повстрять оперу Чайковского с литературным первоисточником было, несомненно, продиктовано и всеобщей устремленностью к Пушкину. Своей ключевой задачей Мейерхольд провозгласил сближение музыки Чайковского с повестью Пушкина, в связи с чем по его плану В.И.Стенничем было написано новое либретто, переносившее действие оперы в пушкинские 30-е годы XIX века. Сообщения о работе Мейерхольда над постановкой "Пиковой дамы", появившиеся в середине 1933 года, не прошли незамеченными. Музыкальная и театральная общественность Ленинграда была возбуждена дерзостью замысла постановщика, замахнувшегося на святая святых – партитуру Чайковского. Атмосферу сенсационности поддерживали газетные репортажи о ходе работы над спектаклем (их публиковали не только центральные, но и периферийные газеты).

Первый набросок режиссерского пла-

нцев постановки, торопливо записывая, для наглядности, основные положения и намечая предполагаемые купюры. Среди слушателей – С.А.Самосуд, директор театра Р.А.Шапиро (на листках из его блокнота пишет Мейерхольд), А.И.Питровский и Б.В.Асафьев – заведующие литературной и музыкальной частью театра. В черновом этом наброске содержатся уже основные черты будущей постановки: намечено существенное перестроение первой картины, дана разметка на эпизоды, выделены крупные и общие планы мизансцен. Финал оперы еще не разработан, вписано только слово – "Сумасшествие".

Началом активной работы над постановкой явилась встреча Мейерхольда с коллективом Малегота в мае 1934 года, когда режиссер впервые познакомил будущих исполнителей с деталями своего замысла. Выступая перед артистами, он прочертил сверхзадачу будущей постановки: отбрасывая негативный опыт, каковым, по мнению Мейерхольда, являлась "Пиковая дама" на сцене ГАТОБа, создать спектакль мысли. Чтобы не трюк, не личные амбиции примадонн, а именно мысль направляла и организовывала все компоненты спектакля.

Изложенный в выступлении план представляет собой качественно новый этап в развитии и оформлении режиссерского замысла. Практически полностью определилась драматургия первой картины, в которой произведены наиболее существенные изменения либретто Модеста Чайковского. Сюжетно картина перекликалась с началом пушкинской повести: "Однажды играли в карты у конногвардейца Нарумова". Игра в карты у Нарумова, в каноническом либретто обрисованная несколькими фразами Сурина

и Чаплицкого и являющаяся предисторией сюжета оперы, развернута Мейерхольдом в картину бурной офицерской пирушки. Звон бокалов, задорное пение обольстительной дивы в гусарском костюме и – "за дело, господа!" – карты, карты, карты... Мрачной, одинокой тенью – Герман, бросающий вызов судьбе, дающий клятву вырвать секрет трех карт. Здесь нет Лизы, Герман всецело охвачен страстью к картам. Мейерхольд разрушает классический треугольник, изымая из сюжета линию князя Елецкого. Живым человеческим чувством в мире мейерхольдовского спектакля наделены только двое – Герман и Лиза, но между ними – карты. Весьма существенно, что на данном – предрепетиционном – этапе замысел Мейерхольда акцентирует тему карт как стержневую тему образа Германа (на репетициях и позднее на премьерных обсуждениях спектакля он будет решительно настаивать, что "Герман любит", что "любовь не вытравлена, не аннулирована"). Заканчиваться спектакль, по мысли Мейерхольда, должен был не гибелью героя, а сценой в Обуховской больнице, где Герман в смиренной рубашке (этот костюм позднее был отменен) бессвязно лепетал: "Тройка, семерка, туз, тройка, семерка, туз..." Драматургия же предыдущей сцены – "В игорном доме" – еще не обрела на данном этапе решения, вошедшего в спектакль: нет фигуры Неизвестного, нет и призрака графини, появляющегося за игорным столом.

Репетиционная работа над "Пиковой дамой" началась в сентябре, когда Мейерхольд достаточно долгое время находился в Ленинграде в связи с гастролями его театра (в дальнейшем он ежемесячно приезжал в Ленинград для постановки очередного эпизода, поручая черновую его отработку своим ассистентам). Уже в самом начале репетиций получает завершение общий постановочный план оперы: карточную дуэль с Германом в игорном доме начинает загадочный Неизвестный, роковые слова "Ваша карта бита" вместо Елецкого приносит призрак графини, в желтом платье и с вуалью на лице появляющийся среди игроков. Дополнительный смысл придается и пантомиме в сцене бала, традиционно воспринимавшейся как вставной, чуждый действию эпизод. Мейерхольд стремился к тому, чтобы Герман ни на минуту не выпадал из поля зрения зрителей, поэтому пантомиме придавалась роль своеобразного контрапункта к разворачивающимся событиям.

И сюжетно, и пластически пантомима была решена в стиле итальянской комедии дель арте. В ряде премьерных рецензий высказывался упрек Мейерхольду за стилистическое несоответствие жанровой сущности комедии дель арте духу пушкинской эпохи, реалиям 1830-х годов. Упреки эти справедливы, если видеть в мейерхольдовской "Пиковой даме" спектакль сугубо реалистический. Охотно, в принципе, касаясь тем inferнальных и загадочных, Мейерхольд в данном случае заземлял моменты таинственности, потусторонности: все, что связано с силами призрачности, было решено нарочито зримо, ясно, без налета мистики. Однако идейно-художественное пространство мейерхольдовской "Пиковой дамы" строилось не по законам театра, отражающего жизнь, а по законам театра,

создающего и выражающего некую новую, надреальную действительность. На первых же репетициях Мейерхольд не раз возвращался к мысли, что "Пиковая дама" – это своеобразный миракль – не то вымысел, не то сон. Немудрено, что в этом сне-вымысле мимолетной, но органичной вспышкой промелькнули светотени офортов Калло.

Бесхитростный этюд, сочиненный по заданию постановщика В.Н. Соловьевым, не был для Мейерхольда самоцелью. Название пантомимы – "В манере Калло" – касается не только и даже не столько традиционного для комедии дель арте сюжета с привлечением обязательных для нее масок. "Манерой Калло" здесь опреде-



ляется пространственно-композиционное решение мизансцены в целом. Если в четвертьвековой давности общей работе Мейерхольда и Соловьева – пантомиме "Арлекин – ходатай свадеб" – прочерчивалась связь актерской пластики и гротесковой игры с офортами Калло из серии "Балли ди Сфессания" ("Танцы бескостных или беззадых"), то пантомима в "Пиковой даме" перекликается с офортами серии "Три Панталоне". В этих офортах Калло прибегнул к особому, условному приему – сочетанию в одной композиции двух одновременных моментов действия, поданных в разном масштабе. Так строилась мизансцена и в "Пиковой даме": на первом плане, на краю авансцены – гости бала, для которых разыгрывается пантомима, среди них – Лиза, графиня и Герман, вкладывающий записку в руку Лизы. На втором плане разворачивается действие пантомимы – Смеральдина передает записку Тарталье. Работая в 1938 году над третьей редакцией "Маскарада", Мейерхольд говорил: "Чтобы выделить основное действие, сцены маскарада отодвинуты на второй план и отделены трельяжем от первого плана, где происходит действие, – получается построение в манере Калло".

Балаганные маски офортов Калло – одна из нитей символистского театра, никогда не прерывавшаяся в творчестве

Мейерхольда. Но если в его спектаклях начала века именно маскам, с их шутством и буффонадой, было доверено выразить трагедию человека, то в "Пиковой даме" трагедийное начало концентрировалось в самом человеке, в противостоянии его миру; маски же здесь – лишь фон. Вплетаясь в органическую ткань художественного пространства "Пиковой дамы", гротескные маски Калло размывали очертания "строгого" реализма, в рамки которого пытались, да и сейчас еще пытаются втиснуть, защищая Мейерхольда от Мейерхольда, позднюю его режиссуру. Неизменный – в сознании Мейерхольда – спутник Калло Гофман туманным абрисом отражался в незрячих, бугафорских зеркалах "Пиковой дамы", которых в спектакле было великое множество. Похищенные отражения этих мутно-серебристых плоскостей концентрировались в единственном настоящем, небугафорском зеркале, стоявшем в камине в будуаре графини. На его чистой зеркальной поверхности отражалось усталое от круговорота бала, затуманенное дымкой воспоминаний об ушедшей молодости лицо. "Смотрите, – говорил на репетиции Мейерхольд, – она тройная: сама по себе, на портрете и в зеркале".

Глазами Гофмана прочитан Мейерхольдом и эпиграф к пятой главе пушкинской повести, декларированный им как ключ к пониманию оперы: "В эту ночь явилась ко мне покойница баронесса фон В\*\*\*. Она была вся в белом и сказала мне: "Здравствуйте, господин советник". Вымышленная Пушкиным цитата, подпisanная именем "Шведенборга" – шведского мистика и "духовидца" Эммануэля Сведенборга, кончившего сумасшествием, многозначна. Это и иронический комментарий к пятой главе повести, и в то же время не менее иронический комментарий к сочинениям самого Сведенборга, в пушкинские времена бывшим в большой моде среди почитателей мистической литературы. Мейерхольда не занимало литературоведческое прочтение эпиграфа (тем более что двойственность пушкинской иронии, заложенной в нем, проанализирована литературоведами относительно недавно). Мейерхольда в эпиграфе волновало, по его словам, сочетание элементов вымысла и яви, когда мистическое, таинственное – обыденно, а обыденное – страшно. Обыденное течение жизни и рожденные в ее недрах страшные события – все это составные части той надреальной действительности, конструируемого Мейерхольдом миракля, снавидения, где слова "пиковая дама" означают не просто игральную карту, не просто старую графиню, но и символ судьбы, увлекающей героя к безумию и гибели.

Недавние архивные разыскания показывают, что и общее пространственно-композиционное решение "Пиковой дамы" и проработка его деталей принадлежат самому Мейерхольду (художник спектакля Л.Т. Чупятков был лишь исполнителем воли постановщика). И рецензенты, и позднейшие исследователи не раз отмечали петербургскую атмосферу спектакля. Да, Мейерхольд стремился выразить в этом спектакле Петербург – но не город просторных площадей и убегающих в перспективу улиц. Пространство спектакля не только не стремилось преодолеть границы интерьера, напротив, постановщик сознательно замыкал его тесными контурами: две пары стабильных

занавесов, протянутых от авансцены и сходящихся в глубине, ограничивали сцену треугольником. Известны относящиеся в 1934 году рассуждения Мейерхольда о новом подходе к решению сценического пространства в условиях театра со сценой-коробкой: активному использованию подлежало лишь пространство треугольника, прочерченного от краев авансцены в глубь сцены, одинаково хорошо видимое с любой точки зрительного зала. Анализ неопубликованных доселе материалов режиссерской разработки спектакля и чертежей планировок показывает, что "Пиковая дама" является практическим воплощением этой казавшейся до сих пор чисто теоретической идеи Мейерхольда.

В композиционно-пространственном решении спектакля угадывается связь и с предыдущей работой Мейерхольда. В "Даме с камелиями" пространство спектакля организовывалось одной диагональной плоскостью. Построенные на ее фоне мизансцены – диагональные композиции – приобретали дополнительную динамическую выразительность и объемность. Две скрещивающиеся диагональные плоскости в "Пиковой даме" позволяли развить и углубить эти композиционные находки.

Изначальная технологическая заданность идеи треугольного сценического пространства приобретала в "Пиковой даме" и эстетическую нагрузку, создавая образ замкнутого, давящего пространства. Петербург прочитывался в деталях оформления: в кованом узоре чугунных ворот, в решетке набережной, в абрисе фонарей. Но не привычная атрибутика Петербурга определяла образный строй спектакля. Искривленный, вогнуто-распластаный фасад дома графини, угрюмый цоколь которого сродни Петропавловской крепости; череда опускающихся и в падугах исчезающих малых занавесов, словно крылья ярких бабочек в силках неподвижного, неизменного треугольника стен, – таким был Петербург мейерхольдовской "Пиковой дамы". Очень важным представляется прошедший мимо внимания современников, доселе абсолютно неизвестный факт: Мейерхольд строил спектакль на покато настиле: режиссер лишил пространство сцены глубинной перспективы. Фигуры актеров проецировались не в глубину сцены, а на плоскость "вздыбленного" планшета – замкнутое, сдавленное боковыми диагоналями пространство еще более замыкалось.

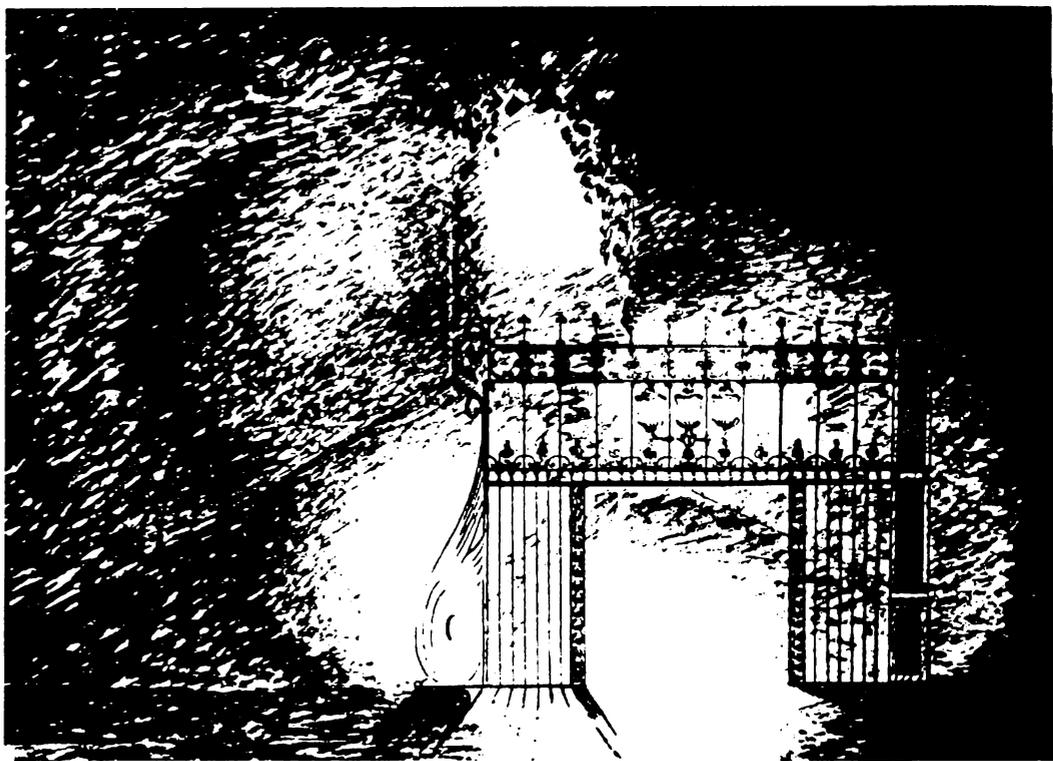
В ряду новых сведений о "Пиковой даме" существенным представляется тот факт, что малеготовская постановка задумывалась Мейерхольдом в расчете на конкретного исполнителя партии Германа. "Своего" Германа он увидел в молодом солисте ГАТОба Г.М.Нэлеппе, дебютировавшем в 1931 году еще будучи студентом Ленинградской консерватории. Мейерхольд всегда считал, что "режиссер должен уже в процессе создания общей концепции пьесы иметь представление о том, какой актер будет выразителем того или иного элемента этой композиции". К сожалению, Герман, которого внутренним взором видел Мейерхольд, не состоялся: Нэлепп не принял приглашения участвовать в постановке Малегота.

Из состава труппы Малегота Мейерхольд оставил своей выбор на двух молодых солистах – Н.И.Ковальском и

В.В.Маркевиче (позднее к ним присоединился новый солист театра И.Е.Пичугин). "Пиковая дама", спектакль необычайно сильного для оперной сцены режиссерского накала, не был безличен в актерском отношении. Германом номер один стал Ковальский. В недавнем прошлом инженер, принятый в труппу театра прямо из самодеятельности, певец этот не обладал ни особыми вокальными данными, ни актерским опытом. Но, как вспоминают очевидцы, Мейерхольд предпочел интеллект Ковальского вокальным преимуществам других претендентов. Он обладал эффектной внешностью, был бледен и худ до чрезвычайности. Ничем доселе не выделявшийся артист волею судьбы –

Это не был Герман Чайковского – страждущий влюбленный, для которого достижение богатства было средством обретения любви, раздавленный роком, когда средство превратилось в цель.

Часть зрителей восприняла Германа Мейерхольда изначально законченным маньяком. Для других герой спектакля являл собою карьериста, для которого достижение цели оправдывает любые средства. Но известный театровед П.П.Громов – современник Мейерхольда – говоря в 1970-е годы о его "Пиковой даме", обронил, что "Ковальский-Герман был здесь и самим Мейерхольдом, и Наполеоном". Позы, жесты, прядь волос над сумрачным и дерзким лбом – внешнее сходство



волею Мейерхольда – оказался в центре внимания. Мейерхольд не раз, когда бывал доволен ходом репетиции, предрекал: "А ведь Герман сделает ему карьеру!" Предсказание это сбылось и не сбылось. Наутро после премьеры (состоялась она 25 января 1935 года) Ковальский, что называется, проснулся знаменитым. "Пиковая дама" была его звездным часом. Печальная судьба спектакля предопределила крах его творческой карьеры.

Герман Ковальского являл собой, пользуясь определением И.И.Соллертинского, "вариант молодого человека XIX столетия". Рецензенты улавливали в нем черты героев Стендаля и Бальзака, видели в нем Онегина, Печорина, Арбенина, соотносили его с героями Достоевского. Мейерхольда не волновало, мог ли его Герман, бедный армейский инженер, оказаться – в соответствии с табелью о рангах – на великосветском балу, куда являются царственные особы (по либретто Модеста Чайковского, на бал являлась Екатерина II, Мейерхольд завершал бал стремительным проходом Николая I). Казенный Петербург 1830-х годов сталкивался с веком минувшим: император в накиннутой на плечи серой шинели и – глаза в глаза – замершая в надменном полупоклоне графиня. Два полюса, между ними – растерзанное, живущее страстями создание – Герман. Это не был Герман Пушкина – иронический сплав холодной рассудочности и мифистопельских страстей.

с Наполеоном читалось в Ковальском определенно. Но "был здесь и самим Мейерхольдом" – это уже сходство внутреннее, сущностное. Мейерхольд о себе: "Ну вот, я такой в жизни: я ко всему отношусь страстно. Меня даже дома одергивают: "Ты к метле и к полу, который нужно вымести, относишься страстно". И прибавлял: "Со мной беспокойно". Герман Ковальского – Герман-Мейерхольд, – он являл собой сгусток живых человеческих страстей в мире "выдуманности", в мире создаваемой – вот сейчас, здесь разыгрываемой – реальности, намертво замкнутой на самое себя. В мире сна, в мертвечном миракле жизни кипящие страсти Германа суть доказательство – самому себе – собственного существования. Драма заключалась в том, что для воплощения своей реальности, для прорыва в эту реальность Герман со всей присущей ему страстью ухватился за самое нереальное, фантастическое, что исторгает из себя сондействительность, – сказку о трех картах. В теме одиночества героя, теме его противостояния миру – сущностная переключка "Пиковой дамы" с "Маскарадом". Но если свет нанял Неизвестного отомстить Арбенину за то адское презрение, каким он его дарил, то Неизвестный в "Пиковой даме" – это месть за попытку внедрения в свет, за попытку чужака встать над узаконенным порядком. Драма Германа, перенесенная в сферу духа, обрела черты колоссального порыва вырваться за пре-

дела всего узаконенного, успокоенного. В нем клокотала сила непокорной жизненным обстоятельствам страстности, сила, вырастающая в силу духовного сопротивления мертвящей гармонии жизни-сна.

Несмотря на поток рецензий, провозгласивших спектакль Мейерхольда "новым шагом в развитии советского музыкального театра", сам режиссер не был удовлетворен реакцией критики. Сказанная им несколько лет спустя фраза: "Я шел планомерно в своих исканиях, и уже на "Пиковой даме" почувствовал, что что-то не то", — в равной мере может быть отнесена и к проявлениям все более ужесточившегося недоверия властей, и к внут-

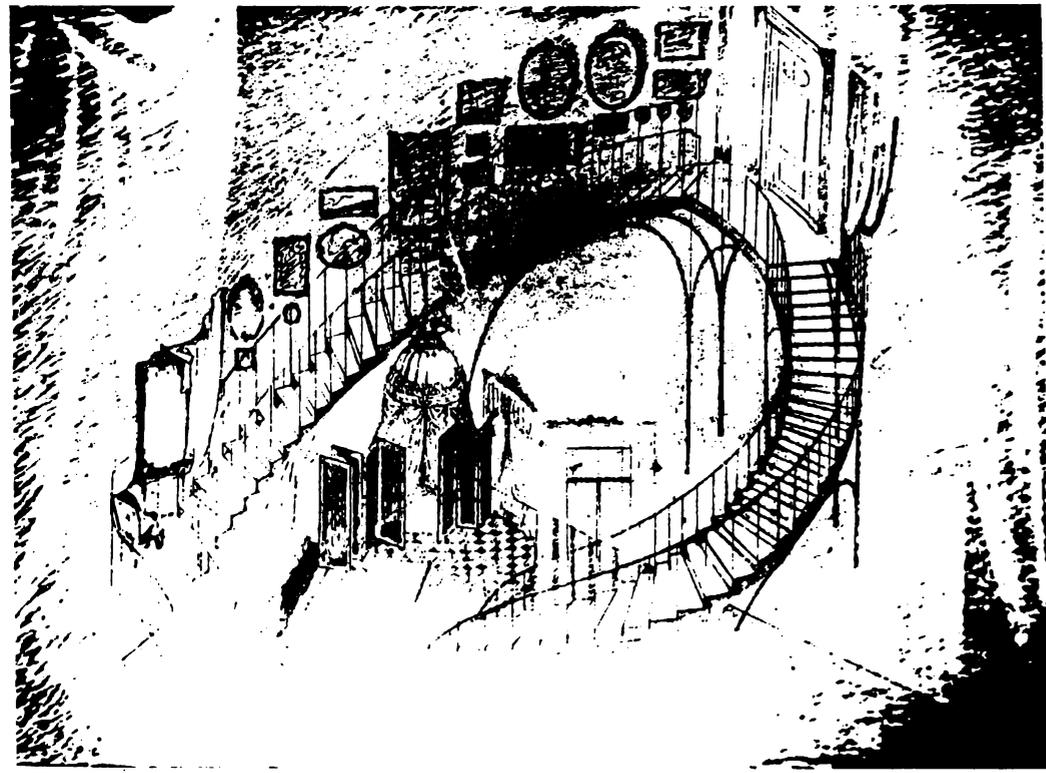
щей способностью времени, в котором осуществляется постановка, постичь и принять режиссерский замысел. В сравнении, к примеру, с постановкой Ю.Любимова и А.Шнитке, осуществленной в 1990 году на сцене Баденского театра в Карлсруэ, переживания академически настроенных критиков по поводу вольностей Мейерхольда кажутся преувеличенными. То, что в 1935 году воспринималось как кощунство, в 1990 году воспринимается как естественное проявление режиссерской воли (постановка Любимова заканчивается Обуховской больницей, из оперы убраны все бытовые, "отвлекательно-развлекательные" сцены, введены клавишные интерлюдии на темы оперы и

горически точном, а контрапунктическом соответствии с музыкальной тканью. "Любовь не вытравлена, любовь не аннулирована", — возражал режиссер оппонентам, упрекавшим его в приглушении темы любви. Да, в первой картине Герман не говорит о любви — Лизы в его жизни еще не существует, он всецело охвачен страстью к картам, страстью самоутверждения. Но музыка, проникнутая темой любви, как бы опережая сценическое действие, заставляет ощущать большее. Азартный игрок — это не весь Герман, потенциально он шире и глубже. В музыке происходит опережающее накопление теплых, человеческих, но пока не востребованных эмоций. Разрыв между сюжетным действием первой картины, ограниченным темой карт, и эмоциональной глубиной музыки выльется в гармоническое единство драматургической и музыкальной ткани второй картины, найдет разрешение в стихии любви Германа и Лизы. Создавая спектакль большой режиссерской, авторской темы, исправляя и изменяя либретто оперы, Мейерхольд в большей мере, чем когда-либо, исходил именно из музыки. Другое дело, что слышал и видел он ее по-своему, в непрямом, контрапунктическом сопряжении с действием.

Жизнь мейерхольдовской "Пиковой дамы" длилась недолго — два с половиной года. Спектакль, построенный на сближении музыки Чайковского с повестью Пушкина, весной 1937 года, в разгар юбилейных пушкинских торжеств, был внезапно изъят из репертуара Малегота. Снятие "Пиковой дамы" было актом насильственным, звеном в цепи гонений, обрушившихся на Мейерхольда в 1937 году. Не случайно последняя и — в отличие от всех предыдущих — разгромная публикация, посвященная "Пиковой даме", появилась в одном из декабрьских номеров "Советского искусства", пестревшего заголовками: "Путь ошибок", "Идейный крах", "Художник, чуждый народу", "Во власти формализма" и т.д.

Жизнь мейерхольдовского спектакля укладывается в трагические для страны годы: в разгар репетиционных работ, 1 декабря 1934 года, убит Киров, финал существования "Пиковой дамы" совпал с кровавым 37-м, печальная участь спектакля отразила судьбу многих активных его участников. Осенью 1936 года был объявлен "врагом народа", а затем и расстрелян Р.А.Шапиро — бывший директор Малегота. Он был одним из инициаторов приглашения Мейерхольда в Малегот, именно под его административным руководством началась работа над "Пиковой дамой". Арестован и расстрелян В.И.Стенич — автор либретто "Пиковой дамы", великолепный критик и переводчик. Арестован и расстрелян другой активный участник создания "Пиковой дамы" — А.И.Пиотровский, заведующий литературно-репертуарной частью театра.

Ликвидация спектакля тяжело отразилась на судьбе Ковальского. Обычно добродушный и общительный, он был неуравновешен и импульсивен в ситуациях обостренных. Вскоре после снятия "Пиковой дамы" у певца возникли осложнения с администрацией театра. Он был уволен за "дезорганизацию творческого процесса". Через месяц, после нелегких разбирательств, восстановлен со строгим выговором. А еще через месяц он увольняется по собственному желанию и уезжает



ЛЕОНИД ЧУПЯТОВ. ЭСКИЗ ДЕКОРАЦИИ

ренному ощущению творческой непонятности. А Мейерхольд в эти годы как никогда хотел именно понимания. Прошли времена, когда, дразня и эпатируя публику, он демонстрировал полнейшее равнодушие к обсуждению новых его постановок, позволяя себе, накрыв лицо носовым платком и вытянув ноги через весь президиум, изображать глубокий сон. Стенограмма обсуждения "Пиковой дамы", проходившего на Исаакиевской площади в Академии искусствознания, доносит голос Мейерхольда, удрученного непониманием. Выступавшие на диспуте разделились — это прослеживается и в дальнейшей дискуссии на страницах прессы — на две группы. Первые рассматривали спектакль через призму композиторской партитуры, анализируя моменты соответствия или несоответствия постановки замыслу Чайковского. В мейерхольдовской постановке отсутствовал квинтет первой картины (о чем сожалели не только противники, но и сторонники спектакля), были купюрованы хор и пляска девушек во второй картине, сокращена ария Лизы в сцене ночного свидания. С другой стороны, была добавлена не существующая у Чайковского восьмая картина "В Обуховской больнице", она шла под музыку появления призрака графини, заимствованную из пятой картины. Допустимая мера "внедрения" постановщика в композиторскую партитуру определяется масштабом его таланта и разрешаю-

фрагменты текста повести Пушкина). Критиков Мейерхольда возмущало не только и не столько наличие в его постановке конкретных купюр (без изъятий не идет, практически, ни одна опера), сколько сама попытка по-новому истолковать произведение Чайковского. Одним лишь смещением акцентов драма любви была превращена Мейерхольдом в трагедию одиночества, где вместо спасительного кинжала — беспросветный ад сумасшествия.

В противовес академически-охранительной критике другая часть выступавших — среди них были Д.Д.Шостакович, А.А.Гвоздев, А.И.Пиотровский — отстаивая пушкинскую концепцию спектакля, доказывали право режиссера на отступление от замысла композитора. Говорили о том новом, что внес Мейерхольд в оперную режиссуру, в сравнении с прежними его достижениями в музыкальном театре: о контрапункте музыки и пластики, о ритмической свободе актера внутри музыкальной фразы, свободе, построенной на разрушении точного соответствия движений и жестов темпу и ритму музыки.

Не был, однако, в достаточной мере услышан и понят новый — для мейерхольдовского прочтения "Пиковой дамы" основополагающий — принцип: контрапункт драматургии и музыки. Сценический образ, вырастая из музыки, может находиться, считал Мейерхольд, не в кате-

в провинцию, порвав все связи с Ленинградом и театром.

Попытки проследить дальнейшую судьбу Ковальского успехом не увенчались. Проживал он в 1930-е годы в доме № 26/28 по Кировскому проспекту. Этот огромный, выходящий на три улицы дом, построенный в начале века для Первого Российского страхового общества, может тем не менее служить олицетворением сталинской эпохи: мощный монументальный фасад со статуями Меркурия и Фортуны, квартиры элитного класса (в одной из них жил С.М. Киров) – и квартиры-муравейники по тридцать и более жильцов. Поскольку дом огромен, а регистрации в жилконторе подлежали не только по-

А.И. Соколовой – исполнительницы партии Лизы. Она умерла молодою в эвакуации: упала на улице, ударившись затылком о поребрик тротуара. Певица обладала превосходными вокальными данными, умела наделять своих героинь – Катерину Измайлову, Аксинью – огромным обаянием. Ее Лиза, разбуженная Германом к жизни, к любви, была преисполнена женственной, тихой теплоты. Теплоту излучали ее глаза – огромные, на пол-лица, искрящиеся глаза.

Роковое предопределение, звучащее в эпиграфе пушкинской повести, – "Пиковая дама означает тайную недоброжелательность" – не коснулось, кажется, только исполнительницы партии графини.

содержится в "Ответе писателям-коммунистам из РАППа", недавно опубликованное А.А. Ниновым в журнале "Знамя" (1990, № 1). С одной стороны, Мейерхольд, по мнению Сталина, "не может быть причислен к разряду "чужих", с другой – достоин всяческой критики за "кривляние, выверты, неожиданные и вредные скачки от живой жизни в сторону "классического" прошлого". При всей своей уклончивости, характеристика эта была, конечно, миной замедленного действия. Судьба режиссера была предreshена еще тогда, в год "великого перелома".

Партийная чистка, коснувшаяся Мейерхольда в 1933 году, в преддверии работы над "Пиковой дамой", высветила

СЛЕВА НАПРАВО: С.ГИСИН, В.МЕЙЕРХОЛЬД, С.САМОСУД, А.ТОЛСТОЙ, В.СТЕНИЧ



стоянные, но и временные, прожившие в доме несколько дней, жильцы, домовые книги тех строгих лет представляют огромные фолианты по 10-15 см толщиной. Листать эти "летописи" грустно: нет-нет да и мелькнет в крайней правой графе примечание: "арестован по распоряжению... ордер за №...", "арестована... ордер...". Последняя запись о Николае Ивановиче Ковальском относится к 1940 году. Далее его имя в домовых книгах не фигурирует, хотя отметки о выписки нет. Жена его, судя по записям, с началом войны уезжает в эвакуацию, а в 45-м возвращается сюда, в комнату на Кировском проспекте, в полном одиночестве...

Печальна судьба и ряда других участников спектакля. В первую блокадную зиму от голода и холода умер в своей мастерской Л.Т. Чупятов – художник "Пиковой дамы", любимый ученик Петрова-Водкина, человек сложной творческой судьбы. Блокада унесла и жизнь никому сейчас не известного сотрудника Малого Н.Г. Шульгина, проделавшего огромный, кропотливый труд по записи "Пиковой дамы", который еще ждет благодарной оценки исследователей творчества Мейерхольда.

В эту роковую цепь влетает и смерть

Певица счастливой творческой судьбы, Н.Л. Вельтер, отметившая недавно 90-летний юбилей, до конца дней сохраняла жизненную энергию. В художественном пространстве мейерхольдовского спектакля образ графини в исполнении Вельтер получил мощное звучание как проявление активной и деятельной силы: именно она оказывалась партнером-противником Германа, ей было передано беспощадное: "Ваша карта бита...".

Сущностно устремленный к осмыслению мира, к постижению и приятию его реалий, в творчестве своем Мейерхольд вырывался из границ этих реалий. Он служил своему времени, постоянно сопротивляясь ему, и, как следствие, до конца не понимался и не принимался этим миром, страшным в своей объективной, фантастически изломанной сущности. Для реалий 1930-х годов талант Мейерхольда был так же чрезмерен, как чрезмерна страсть Германа, высвобожденная из его души жадной овладения секретом восьмидесятилетней "Венеры московской".

Отношение Сталина к Мейерхольду всегда было настороженным. Единственное дошедшее до нас высказывание отца народов о нем, относящееся к 1929 году,

прошлые его грехи, и в первую очередь – связь с Троцким. Годы работы над "Пиковой дамой" – период сгущения туч над Мейерхольдом. Показательные политические процессы, обрушившиеся на страну в ту пору, свидетельствовали о неистощимой "режиссерской" фантазии Сталина. Обращаясь к классике, Мейерхольд уже не стремился, как прежде, насыщать классические произведения современными социально-политическими аллюзиями. Но творческий потенциал режиссера-философа прорывался в глубинную ткань его созданий. Трагедия личности, трагедия одиночества, заявленная в "Пиковой даме", – это трагедия самого Мейерхольда. Сталин – фатум, рок применительно к судьбе Мейерхольда – готовил ему главную роль в очередном своем спектакле, показательном процессе, направленном теперь против творческой интеллигенции. Мейерхольд погиб, не сыграв уготованной ему роли, – необходимость в процессе к 1939 году иссякла. Карта его, как и карта Германа, оказалась битой, но противником в игре, где ставка – жизнь, выступали здесь не inferнальные, а вполне земные, могущественные силы.

## Мужество, благородство, честность

Недавно в одной из передач радио "Свобода", посвященной термину и понятию "Homo sovieticus", промелькнуло некое если не утверждение, то раздумие на тему о бездуховности этого самого "Homo sovieticus".

Вопрос более чем сложный. Все мы, а ровесники Октября в особенности (я, правда, на шесть лет старше этого знаменательного события), являемся в какой-то степени представителями этого не разгаданного еще до конца племени. Советская школа, пионеротряд, комсомол (у меня, слава Богу, двух последних не было), институт, последующая работа, армия, кое у кого и членство в партии (у меня, в частности) – все это не могло не наложить на нас своего определенного отпечатка.



Мы – продукт своего времени и, хотим мы этого или не хотим, продукт советской власти. Многому верили, многого не знали, в чем-то участвовали, чего-то боялись, о чем-то молчали, и если даже лгали, то ко лжи привыкали, и к Правде относились с некоторой опаской.

Но вот бездуховными называть нас я бы, пожалуй, не стал. Да, знаем, водка в нашей стране заменяет многое, от чего-то отвлекает, грубо выражаясь, забивает памороки, и вообще жизнь трудная, в детали входить не будем, но, ей-Богу же, не все 260 миллионов и не все 24 часа в сутки пьют и бегают по очередям. Даже эти самые пьющие и бегающие стоят иной раз подолгу в очереди за книгой, по ночам читают Солженицына, слушают "клеветнические радиопередачи". А это как-никак к духовности имеет кое-какое отношение. И именно она, поиски ее привели к тому, что ни в какой другой, а именно в нашей стране появились такие люди, как А.Д.Сахаров и П.Г.Григоренко. И не только эти двое, – список тех, которыми мы можем гордиться, достаточно велик, – но я упомянул этих двоих, потому что они оба, кстати тоже из племени "Homo sovieticus", достигнув тех высот, с которых открываются самые что ни на есть сияющие перспективы, от всех благ отказались и пошли против волны. Сознательно, убежденно и бесстрашно.

Одному из них, Петру Григорьевичу Григоренко, сегодня минет 75 лет.

75 лет... Срок немалый. И путь, пройденный за эти годы, не самый легкий. И, иди он по нему, избранному еще в юности, быть бы ему сейчас маршалом. Звезда с бриллиантами на шее, почет, уважение, квартирав центре Москвы, дача, машина, приличные тиражи и гонорары за соответствующие мемуары, сидения в почетных президиумах... И от всего этого, к чему вела такая широкая, обкатанная дорога, Петро Григорьевич отказался. Избрал другой путь, тяжелый, мучительный, приведший к изгнанию, но зато светлый, и, шагая по нему, можно дышать полной грудью.

Родился П.Г.Григоренко в селе Борисовка Запорожской области 16 октября 1907 года. В крестьянской семье. К труду привык с детства. И к тяготам жизни тоже. К моменту октябрьского переворота было ему десять лет. В советскую власть поверил. Был организатором первых комсомольских ячеек на Украине. Искренним, убежденным. Таким же стал со временем и коммунистом. Были какие-то сомнения, преодолел. В гениальность Сталина свято верил.

Таким же искренним, убежденным, правдоверным коммунистом пошел и на войну. Воевал хорошо, получил много наград, стал генералом. После войны организовал и возглавил кафедру кибернетики в Академии им. Фрунзе. Писал книги. Был уважаем и любим. И...

И настал день 7 сентября 1961 года. День, определивший, можно сказать, всю дальнейшую жизнь заслуженного генерала. В этот день он выступил на партконференции Ленинского района Москвы, на которую он был избран делегатом. Нет, ничего крамольного, предосудительного в его речи не было, она призывала только к одному – придерживаться ленинских норм – и все! В Ленина тогда он еще верил.

Начальство разгневалось. "Демократия ему нужна! Свободные выборы!" – кричал на него потом на партколлегии малограмотный хам Сердюк, в прошлом секретарь Львовского обкома. – Не будем мы твоими хитрыми клезузами заниматься, слушать здесь твою демагогию. Можешь идти..."

И Григоренко пошел. И именно в этот день произошел окончательный перелом, именно в этот день он свернул с проторенной, такой укатанной и гладкой, такой заманчивой дороги на тот тернистый путь, по которому он идет с высоко поднятой головой вот уже больше двадцати лет...

На этом пути было все – и унижения, и оскорбления, и работа на складе простым рабочим, и тюрьмы, и психушки, в последней из которых в городе Черняховске пробыл пять лет. Пять лет пыток!

Так отблагодарили люди, делающие вид, что строят светлое будущее, человека, для которого понятие "Родина" было самым святым и для счастья которой он не жалел ни сил, ни жизни своей... Но ни убить, ни даже сломить этого человека врагам его не удалось. Из схватки не на жизнь, а на смерть Григоренко вышел победителем.

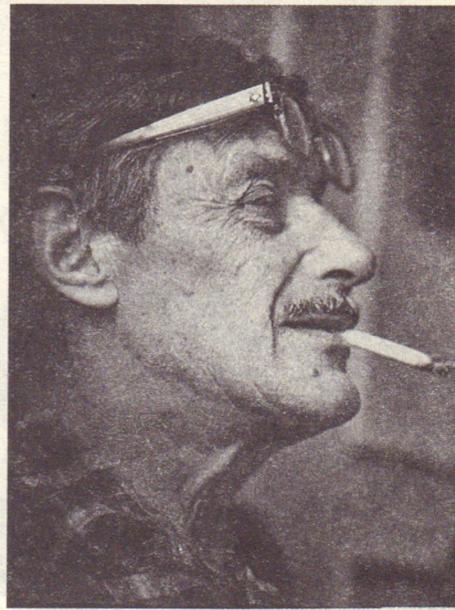
Убить не убили – не вышло! – но здоровье подорвали и за пределы Родины, как они это называют, выдворили. И гражданства лишили.

Сейчас Петро Григорьевич живет в

## Виктор Некрасов

Нью-Йорке. И рядом с ним верный его друг, помощник и такой же, как он, бесстрашный борец – жена его Зинаида Михайловна. И двое сыновей.

В изгнании Григоренко написал книгу. О себе, своей жизни – одну правду, только правду, всю правду. Читал я ее не отрываясь. Умная, серьезная, горькая и очень чистая книга. Называется "В подполье можно встретить только крысы...". Она толстая, за один день не прочтешь. Но прочесть надо! Обязательно. И как верно ска-



зал Михаил Геллер в своей статье в "Русской мысли": "Всю жизнь Петр Григорьевич учился. Воспоминания, написанные им, будут учить следующие поколения".

Последуем же совету М.Геллера и постараемся перенять от Григоренко его мужество, благородство и честность.

20.10.82.

## Не дадим убить Буковского!

Я пишу о человеке, которого никогда не видел в жизни. О Владимире Буковском. И думаю о стране, в которой прожил всю свою жизнь. О Советском Союзе.

Я пишу о Буковском, потому что он для всех нас стал символом, которым мы гордимся. Гордимся, потому что, не будь его и ему подобных, давно бы была потеряна вера в народ. В тот самый, покорность которого сделала его безразличным.

Но в Буковском сохранилось все лучшее, что в нем – народе – еще есть. Совесть, прямота и сердце, переполненное болью за других. И то, чего особенно сейчас не хватает, – смелость, стойкость, нестигаемость.

"Разве?" – скажут мне покорные и безразличные.

"Вы в этом уверены?" – скажут мне другие, тоже покорные, но сумевшие эту покорность обратить в доход и благополучие. – Вы так уж в этом уверены? Страна

знает и любит своих героев. И награждает их".

Да, писателей, которые пишут, что она лучше всех, человека, крутящегося дольше других вокруг Земли в состоянии невесомости, колхозника, собравшего много хлеба, хотя и меньше американского фермера, хлеб которого мы едим, скульптора, сделавшего памятник высотой в сто метров, художника, увековечившего на полотне того, которого через несколько лет велено будет забыть, инженера, усовершенствовавшего оружие, из которого стреляют сейчас друг в друга в Африке и на Ближнем Востоке. Да, страна своих героев любит и ценит.

А людей, которые клеветают на нее и лгут, не любит и не ценит. Один неблагодарный ученый, например, забыв, что его трижды даже наградили самой высокой наградой, стал вдруг бессовестно лгать, доказывая, мол, что в стране не все хорошо.

А другой, посредственный писатель, возомнивший себя пророком, мало того, что в книгах его сплошная клевета, — стал колесить по миру и на всех перекрестках орать о своей родине такое, что и больному не приснится.

А третий, этот самый Буковский, дошел до того, что стал утверждать, бесстыдно ссылаясь при этом на собственный опыт, и писать, и в буржуазные газеты посылать, что в психиатрические больницы сажают, мол, здоровых людей. Можно же до такого дойти. И вполне естественно, что его посадили в тюрьму.

Посадили раз — на три года. За то, что врет. Потом второй раз — на 12 лет — за то, что продолжает врать. Наша страна не любит лжи. Она любит только правду. Даже главная ее газета называется "Правдой".

И в этой самой газете и во многих других десятки всеми уважаемых ученых, писателей, деятелей культуры с гневом и омерзением пригвоздили к позорному столбу того самого ученого-клеветника и писателя-отщепенца. О Буковском не писали, никуда его не пригвождали, — кто он такой, мальчишка, — а на Западе вдруг подняли шум и вой.

Ну да, сидит. И в карцер попадает. И поделом. Не объявляй голодовки. Не мути лагерь. Не пиши вместе с таким же, как ты, подонком Семеном Глузманом, не посылай за границу всякие там якобы разоблачения, беззастенчиво назвав их "Инструкция для здоровых, попадающих в психбольницу". Наглость-то какая! Заткни пасть, а то и прибавить можем.

...Я с горечью пишу о том, что народ от покорности своей стал безразличен. Хуже. Он стал угодлив и исполнителен. И в первую очередь те, чья грудь в орденах и звездах, кто представляет нашу страну на международных съездах и конференциях.

Горе тому народу, у которого писатели, умеющие только воспевать и восхвалять, пишут в газету о своем собрате (хоть бы напились они потом от стыда у себя дома, но и этого нет), что он предатель и изменник. (А ведь знают, знают, что он первый во весь голос крикнул о том, о чем они и думать-то боятся.)

Горе тому народу, мастиные ученые которого, потеряв стыд и совесть, не пискнув даже, подписываются под письмом, где другой ученый (и знают же, знают, насколько он чище и выше их) называется человеком, не любящим Родину и презирающим народ...

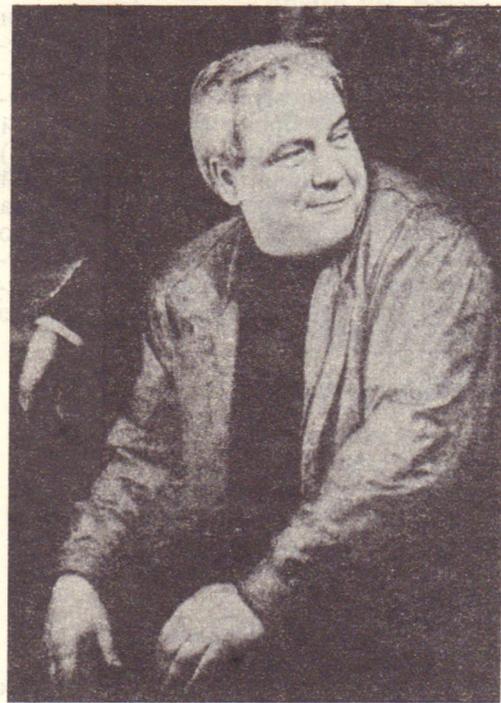
Да кто же, в конце концов, народ? Вот

эти самые писатели и ученые, композиторы и художники, знатные экскаваторщики и доярки, слыхом не слыхавшие, но подмахнувшие то, что им подsunуто парторгом? Если да, то горе такому народу...

Нет, рано еще причитать. Есть еще кого любить и уважать и гордиться кем. Есть те, кто во искупление пражского позора вышел на Красную площадь, и те, кто, сидя в лагере, вступаются за своего товарища, объявляя массовую голодовку. Есть еще Владимир Буковский.

Я пишу сейчас о нем не потому, что он лучше других, — возможно, и надеюсь, что таких, как он, много. Я пишу о нем, не зная его, но зная его друзей. Друзей, любивших его еще на воле, сидевших с ним в одной тюрьме. Я знаю о нем от его матери.

Кружным путем, через весь почти земной шар, через остров Ямайку, дошло



до меня письмо от нее, от Нины Ивановны, написанное в Москве.

Она пишет: "...Володю вытащить почти невозможно, а дело у него сейчас очень плохо. Не знаю, будет ли он жив в этой каторге, какой стала теперь Владимирская тюрьма. Особенно для него. Ведь он держит голодовку там уже, наверно, месяца четыре. Даже подумать страшно! И начал он ее совсем слабым и больным... Они хотят во чтобы то ни стало поставить его на колени, а ведь он не встанет... Я не имею от него ни строчки уже почти восемь месяцев. И моих писем ему не передают. Заперли в эту яму и не дают НИЧЕГО — ни писем, ни книг, ни газет, ни журналов... Поэтому я всех друзей наших, всех, всех прошу — помогите ему выбраться живым! И поскорее! Сейчас надо ТРЕБОВАТЬ (именно ТРЕБОВАТЬ, а не просить!), надо навестить его в тюрьме, требовать, чтоб показали, во что его превратили!..."

Из другого письма, его друга, соседа по камере, я узнаю, что Володю перевели согласно постановлению Совета Министров СССР № 0225 от 1972 г. на пониженную норму питания — 5 руб.20 коп. в месяц! За что? За то, что отказался выполнять бессмысленную работу — нарезать резьбу на металлические болты. Бессмысленная она потому, что делается вручную (норма — 60 болтов в смену), в то время как в двух шагах,

в лагере особо строгого режима, та же резьба производится на станке (норма — 2000 болтов в смену). Но грузовик привозит ящик с болтами от соседей и туда же отвозит готовую продукцию. "Что может прибавить театр Ионеску к подобному торжеству абсурда?" — пишет его друг.

У Буковского хронический холецистит. Кормят таблетками. Когда речь заходит о диетпитании — отказ, не положено. Великое, знаменитое НЕ ПОЛОЖЕНО. Основа основ. Не положено думать, писать, читать. Положено радоваться, хвалить и благодарить партию.

Вся молодость Буковского прошла в лагерях, в психлечебницах и тюрьмах. И сидеть ему еще долго.

Не сломят — убьют! Предлагали компромиссы — молчи! — тогда, может, и подумают о смягчении. Но он на компромиссы не идет. Тает изо дня в день...

Сильный должен быть великодушным. Это вызывает уважение. Моя страна опровергает это на каждом шагу. Бессмысленная жестокость — вот ее лозунг. И лицемерие... В свое время все газеты были заполнены ахами и охами по поводу Анджелы Дэвис. Ах, бедняжка, издеваются, лишают того, другого. А она принимала журналистов...

В Испании амнистировали политзаключенных. Это в Испании, которая вчера еще была франкистской. Их там на всю страну 636 человек. А у нас? Ха-ха! У нас их нет. Вообще нет! Только уголовники. Прочел книгу — уголовное преступление. Написал статью, да еще за границу послал — в тюрьму, уголовник! Не хочешь болты нарезать — жри через день. А денег страна на тебя не жалеет! Пять двадцать в месяц! Которые, кстати, ты вернешь государству, когда и если тебя выпустят.

Был когда-то фильм "Если парни всего мира". Там простые ребята из разных стран, не зная друг друга, протягивали через границы руки и добивались многого.

Мы уже не парни, мы седые. Мы обязаны, мы должны протянуть руку Буковскому. А если надо, то и в кулак сожжем!!!

Не дадим убить Буковского!

4 августа 1976 г.

## Исаичу...

Где, когда, при каких обстоятельствах впервые мы встретились, увидели друг друга — не припомню. Скорее всего все у той же Аси Берзер, в большом, угловом, в четыре окна новомироском ее кабинете в тылах кинотеатра "Россия", а когда-то Страстного монастыря. К концу рабочего дня, часам к пяти, все тяготеющие к этому "самому либеральному", как он назывался тогда на Западе, журналу стягивались в этот кабинет — кто по поводу своей рукописи, кто без всякого повода, узнать последние литературные новости, просто "потрепаться", а заодно, бывало, и пузырек раздавить в хорошей компании. Вот в такой пятичасовой — файф о'клок — компании — кто в кресле, кто на углу стола, кто на подоконнике, кто подпирая задом радиатор — как правило Войнович, Корнилов, Бен Сарнов, Лева Левицкий, Жора Владимов, Юра Домбровский, Эмма Коржавин, вероятно, и встретились впервые: "Знакомьтесь, тот самый Солженицын..." — "О-о-о!"

Но это было уже второе знакомство. Первое – Иван Денисович...

Сияющий, помолодевший, почти обезумевший от радости и счастья, переполненный до краев, явился вдруг к друзьям, у которых я жил, сам Твардовский. В руках папка. "Такого вы еще не читали! Никогда! Ручаюсь, голову на отсечение!" И тот же приказ. Мне. "Одна нога здесь, другая – там. Ты все же капитан, а у меня два просвета. В гастронорм!"

Никогда, ни раньше, ни потом, не видел я таким Твардовского. Лет на двадцать помолодел. На месте усидеть не может. Из угла в угол. Глаза сияют. Весь сияет, точно лучи от него идут.

"Принес? Раз-два, посуду! За рождение



А.И. СОЛЖЕНИЦИН

нового писателя! Настоящего, большого! Такого еще не было! Родился наконец! Поехали!"

Он говорил, говорил, не мог остановиться... "Господи, если б вы знали, как я вам завидую. Вы еще не читали, у вас все впереди... А я... Принес домой две рукописи -- Анна Самойловна принесла мне их перед самым отходом, положила на стол. "Про что?" – спрашиваю. "А вы почитайте, – загадочно отвечает, – эта вот про крестьянина". Знает же, хитрюга, мою слабость. Вот и начал с этой, про крестьянина, на сон грядущий, думаю, страничек двадцать полистаю... И с первой же побежал на кухню чайник ставить. Понял – незаснул уже. Так и не заснул. Не дождусь утра, все на часы поглядываю, как алкоголь, открытия магазина жду... Поведать, поведать друзьям! А время ползет, ползет, а меня распирает, не дождусь... Капитан, что ж ты рот разинул? Разливай! За этого самого "Щ!Щ!-854!"

Никто из нас слова вставить не может. Дополнительный бег в "Гастронорм".

"Печатать! Печатать! Никакой цели другой нет. Все преодолеть, до самых верхов добраться, до Никиты... Доказать, убедить, к стенке припереть. Говорят, убили русскую литературу. Черта с два! Вот она, в этой папке с завязочками. А он? Кто он? Никто еще не видал. Телеграмму уже послали. Ждем... Обласкаем, поможем, пробьем!"

А нужно было знать Твардовского. Человека отнюдь не восторженного. Критика ему была куда ближе, чем похвала. И критика, как правило, резкая, жесткая, иной раз даже незаслуженная. А тут сплошной захлеб, сияние с головы до ног.

Потом читали мы, передавая из рук в руки листочки. И уже без Твардовского говорили, говорили, перебивая друг друга, и

тоже остановиться не могли. Я даже скрепку от рукописи похитил на память, как сувенир от Ивана Денисовича, и очень потом огорчился, узнав, что скрепка эта не авторская, а новомировская...

В декабре шестьдесят второго года привез "Ивана Денисовича" в Париж. Свеженький, еще пахнувший типографской краской "Новый мир", одиннадцатый номер. И тут же, бросив в гостинице чемодан, помчался к Симоне де Бувар передать его ей, как мне было велено в Москве. А наутро, чудеса из чудес, покупаю "Пари-Матч", а там уже под сенсационными заголовками, в окружении колючей проволоки, отрывки из "Ивана Денисовича". Вот это да, вот это оперативность! До сих пор ума не приложу, как это произошло...

И вот сейчас, через много-много, а точнее шестнадцать лет после покупки этого самого "Пари-Матч" (привез домой, бережно хранил, пока гебисты во время обыска не отобрали), я рад, что при помощи другого журнала, "Континент", я могу послать свой привет вермонтскому отшельнику, подобравшемуся уже к шестидесяти (а тогда было сорок с чем-то и никакой бороды), и вспоминаю (в который раз!) тот радостный день, когда Твардовский гонял меня в "Гастронорм" и пили мы за рождение нового, большого, настоящего писателя. Это был один из самых счастливых дней моей жизни, не преувеличиваю. Не так часто приходится за такие рождения пить...

26 октября 1978 г.

## Сталинград и Колыма

(Читая В.Шаламова)

Считается, что война одно из самых страшных испытаний, которые выпадали на долю человечества. Может быть, даже не "одно из", а самое страшное.

Что и говорить, война страшна. Страшна потому, что это смерть. Тысячи, сотни тысяч, миллионы смертей. И опустошенные земли, разрушенные и захваченные врагом города, и рабство, унижение покоренных. И жестокость, ненависть, которую в тебе воспитывают. "Убей немца!" – к этому призывали. И снайперы, убившие наибольшее количество немцев, получали звание Героя Советского Союза.

Я довольно хорошо знаю войну. Сталинград считался самым кровавым местом всей второй мировой войны. "Инferно ин Сталинград", – писали в своих газетах немцы: – "Сталинградский ад". Подсчитано, что до начала нашего наступления немцы сбросили на Сталинград ни больше ни меньше как миллион бомб, совершили более ста тысяч самолетовылетов. Сколько погибло с обеих сторон – никто точно не знает. Много...

Война – это, конечно, страх и ужас. Я пережил одну из самых страшных бомбежек тех лет – 23 августа в Сталинграде. За один день город был фактически полностью уничтожен. И страшнее всего была полная беспомощность и бессилие. Зенитки умолкли.

Потом началась позиционная война. Тоже нелегкая. И Мамаев курган, на котором я провел более четырех месяцев, счи-

тался самым опасным, самым ответственным участком обороны.

И все же в войне, при всем ее ужасе, было нечто, что придавало силы. Ясность цели – там враг, и его нельзя пропустить. Это было главное, заслонявшее все остальное, даже бывшие злодеяния Верховного Главнокомандующего.

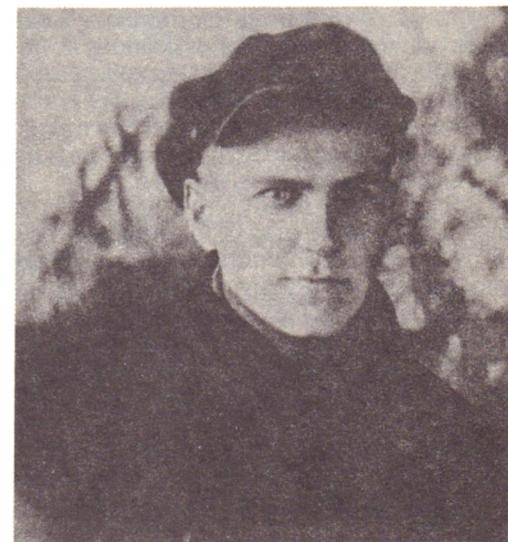
Сталинградскую оборону принято называть героической. Но героизма, как такового, героических поступков было не так уж много, трусости, растерянности, пожалуй, даже больше. И глупых, бессмысленных приказов тоже. И все же выстояли, победили.

И сейчас, через столько лет, – может, таково уж свойство человеческой памяти, но в ней сохранилось не только все страшное тех дней, а и что-то светлое – дружба, верность, песни и перекуры в землянке, той самой, от которой до "смерти четыре шага". Даже о старшине-воре и о безграмотном грубияне начальнике штаба вспоминаешь сейчас с улыбкой.

И вот, сидя в этой самой землянке на одном из опаснейших участков войны или скрючившись в окопе, в шестидесяти метрах от немцев, – мы просто-напросто не знали, не могли себе даже представить, что где-то далеко-далеко, чуть ли не на противоположном конце земного шара, есть место, где ад, со всеми своими чертами и раскаленными сковородками, мог показаться местом более или менее благоустроенным и естественным. Естественным, потому что сковородки лизали грешники, люди плохие и в чем-то виноватые. А в том месте, о котором кое-кто из нас и слышал краешком уха, но вспоминал очень редко, – мучились и умирали люди невинные. Я говорю о Колыме.

Я говорю об этом и провожу какие-то параллели, потому что только сейчас попала мне в руки вторая книга Варлама Шаламова "Воспоминания лиственницы". И опять что-то растревожила.

В Советском Союзе я Шаламова не читал. Попав на Запад, стал наткаться то в "Русской мысли", то в "Новом журнале" на отдельные его рассказы. И только в прошлом году прочитал его "Колымские рассказы", толстенный том в 900 страниц.



Шаламова не обязательно читать подряд, может быть, даже не нужно – уж больно все страшно и кажется таким безысходным, – но читать его надо всегда и постоянно. Чтоб напомнить себе, еще и еще раз, – так было. Нечто еще более страшное, чем война, чем ад. Ад – это торжество справедливости. Колыма – торжество абсо-

В.Т. ШАЛАМОВ . 1920-Е ГОДЫ

лютного зла. В XX веке, в твоей родной стране. Не забывай об этом. Никогда!

Шаламов, конечно же, писатель великий. Даже на фоне всех великанов не только русской, но и мировой литературы.

Великий потому, что, рассказывая о жизни, которая не познавшему ее даже в страшном сне не приснится, он нигде не педалирует, не сгущает краски (впрочем, куда уже сгущать!), не морализирует, не подводит своего авторского итога, что так свойственно было самому великому из всех писателей – Толстому.

"Колымские рассказы" – это громадная мозаика, воссоздающая жизнь (если это можно назвать жизнью), с той только разницей, что каждый камешек его мозаики сам по себе произведение искусства. В каждом камешке предельная законченность. О Шаламове написано уже много. И о самом лагере смерти, именуемом "исправительно-трудовым", в котором он провел чуть ли не полжизни, и о том, с каким умением, талантом, нигде не переступая некую черту, дозволенную искусством, написаны эти рассказы. Я не хочу повторяться, я не пишу рецензию. Просто я только что опять столкнулся с шаламовской Колымой в "Воскрешении лиственницы" и еще раз убедился в том, что Шаламова надо перечитывать. Твердить как некую молитву.

Один из самых страшных рассказов его называется "По ленд-лизу". Это рассказ об американском бульдозере, который пришел по ленд-лизу, и "зэки" надеялись, что он поможет на лесоповале, а начальство использовало его для разгребания старых и рытья новых могил.

"Раскрылась земля, – пишет Шаламов, – показывая свои подземные кладовые, ибо в подземных кладовых Колымы – не только золото, не только олово, не только вольфрам, не только уран, но и нетленные человеческие тела... Бульдозер сгребал эти окоченевшие трупы, тысячи скелетоподобных мертвецов. Все было нетленно: скрюченные пальцы рук, гноящиеся пальцы ног, расчесанная в кровь сухая кожа и горящие голодным блеском глаза... Эти человеческие тела ползли по склону, может быть, собираясь воскреснуть..."

Прочитав это, я невольно вспомнил, как через несколько лет после войны я попал на Мамаев курган. Он весь был усеян костями и черепами – размыло дождями. В основном это были наши защитники – немцы своих убитых вытаскивали и хоронили в другом месте. Потом, еще через несколько лет, бульдозеры эти кости и черепа разгребли и свалили в одну братскую могилу. Сейчас над ней – хороший или плохой, другой вопрос, – памятник, стометровая "Мать-Родина".

А над той, колымской, могилой ни камешка, ни креста... А в ней, как подсчитано учеными, Робертом Конквестом в том числе, не меньше двух, а то и трех миллионов человек.

И все это забыто, быльем, как говорится, поросло. Не было, и точка. Потому и надо читать и перечитывать книги В. Шаламова, великого русского писателя. Это он воздвиг памятник на безвестной могиле миллионов ни в чем не повинных человек. Он, а не советская власть, утверждающая, что "Никто не забыт, ничто не забыто". Честь ему поэтому и слава! На вечные времена!

4 августа 1986 г.

Публикация В.А. Кондырева

Владимир Симонов

## ВЕСЕННЕЕ

Я знал, что по той вот крыше наверняка пройдет кошка. И она прошла. И все встало на свои места. Шло последнее заседание по одному тринадцатитомному делу. В окно соответственного пронумерованного зала был виден разграфленный наискось кусок жаркой крыши, по которому прошла тоже графленая тварь – напоминанием о жизни: о том, что за спиной – дверь, за нею коридор, где прописалась навечно колокольня Владимирской церкви, дальше – лестница, накрученная на квадратный пролет, а там и окончателная, самая тяжелая дверь, за которой так подозрительно жарко и так предосудительно хорошо.

У стоявшего ближе всех конвойного часов не обнаружилось. Время как категорию он носил в душе, свидания назначал исключительно на "ноль-ноль" или "тридцать", но увидеть у него на руке часы было так же немисливо, как увидеть дерево в галстук. Безучастный, он стоял с виду неподвижно (не считая самодовольных переминаний), но в нем явно происходило движение: он играл, баловался, и казалось, что еще немного, он расстегнется и, по-прежнему безучастный, начнет забавляться собственным пупком. И, будто мне в подтверждение, он тотчас же еле заметно поколебал носком ботинка мертвенно-коричневую бутафорскую загородку. Все это было в порядке вещей, и моя чрезмерная наблюдательность объяснилась, конечно, просто: новичок.

Замешательство среди ожидающих в момент, когда по лестнице стали подниматься еще не видимые нам солдаты, замедленное ощущение взрыва и дурнота, ненастоящие и страшные, четверть века спустя (мне удалось-таки подглядеть время) протрезвели будничной умозрительностью. Рядом со мною Жена, стараясь вести себя непринужденно, держалась твердо. Далее – менее близкие, а чуть впереди, еще вздрагивая непроизвольно мышцей, – глыбы в бобочках и теннисных тапках, чье здоровье было так же естественно, как неестественен был повисший над городом жар. Возвысив голос, обвинитель ляпнула что-то о годах и сроках и села.

Судьи, традиционно похожие на животных, откашлялись и объявили перерыв, но до этого, разумеется, было заслушано последнее слово, произнеся которое подсудимый опять скрылся по плечи за перегородкой потно-счастливый, как только-только отстрелявшийся дипломант. Спускаясь к выходу (все было ясно заранее), я заметил, что квадрат пролета затянут по второму этажу сеткой, на которой валялись окурки и прочее, сеткой, которую прилаживал некогда дядя имярек: "мертвые страму не имут" – а ладони его пахли, как пахнут они сейчас у всего города, запахом, на который обычно не обращают внимания, – потным железом. И для него это была работа.

Неслышно запахнулась за нами тяжелая дверь, и мы пошли в варьетешный город сначала похлебать пива на углу, а потом полизать мороженое у сада, где толстая продавщица давала его всем широко, даром, не скупясь.

**В** последних номерах "Вестника РХД" появился ряд материалов, задевающих меня по разным мотивам и поводам. Начало расправе с "плюралистами" положил А.И. Солженицын в "Вестнике" № 139, подхватила З. Шаховская в № 140, а в № 142 уже четыре-пять статей меня близко касаются. Я было не хотел отвечать. Но соблазна территория, так щедро предоставленная мне – по французскому праву ответа – в "Вестнике РХД". К тому же, проблема шире личных неудовольствий

тывает, складывая из отдельных фраз злокозненную (с моей стороны) мозаику. Он не видит текст, но смотрит дальше и глубже, прозревает, "читает в сердцах", как говаривали в старину о высокопоставленном начальстве. С его точки зрения, я, будучи отъявленным "плюралистом", вознамерился нанести удар специально по Пушкину, как по великому авторитету России, из-за моей, конечно же, неутолимой ненависти к России.

*"Естественно ли было нам ожидать, что новая критика, едва освободясь от невольничьего гнета советской цензуры, – на что же первое употребит свою свободу? – на удар по Пушкину? С нашими нынешними опоздавшими опытом ответили: да,*

## Андрей Синявский

предположить". Госпожа Шаховская в лагерях строгого режима, слава Богу, не сидела, условия лагерного содержания не знает и рассуждает об этих вещах предположительно, держа парус по ветру. Между тем об этом имеется уже большая литература. "Мои показания" А. Марченко, например. Смею заверить Шаховскую: ни на парашке, ни лагерным придурком, ни бригадиром я никогда не был. На моем деле, от КГБ, из Москвы, было начертано: "Использовать только на физически тяжелых работах" – что и было

# ЧТЕНИЕ В СЕРДЦАХ

*именно этого и надо было ожидать... В этом сугь. (И дух "плюралистов".) Для России Пушкин – непрекрасимый духовный авторитет...*

Казалось, надо ли объяснять, что в "Прогулках" не нанесил я по Пушкину никаких ударов? Выходит, надо. Комментирую. Эта книга была написана не "едва освободясь от гнета советской цензуры", как утверждает Солженицын. От гнета советской цензуры я освободился за десять лет до того, в 1956 году, ударив первым делом не по Пушкину, а по социалистическому реализму, за что и был арестован в 1965 году. Так что не "едва освободясь от цензуры", а едва попав в лагерь, я писал "Прогулки с Пушкиным", в самых что ни на есть поцензурных обстоятельствах. Писал в 1966-1968 годах, как продолжение моего последнего слова на суде (только в другом стиле), – в защиту свободного творчества. И никакая это не "критика", и напрасно меня Солженицын в данном случае именует "критиком". Это лирическая проза писателя Абрама Терца, в которой я по-своему пытаюсь объяснить в любви к Пушкину и высказать благодарность его тени, спасавшей меня в лагере. По Солженицыну – наоборот: *"вот, дескать, сейчас мы тебя (Пушкина) распатронили перед нашими лагерными опытными"*. Ну скажите на милость, зачем мне, попав в лагерь, первым делом потребовалось "распатронить" Пушкина? Для чего – там, на истощении сил, отрезанному от литературы, и, казалось, навсегда, без надежды, что эти листочки увидят когда-нибудь свет?..

Правда, З. Шаховская в "Вестнике" № 140 подозревает за мною какие-то особые, легкие условия лагерного существования: *"Особое место среди "либералов" занимает А. Синявский... К номенклатуре он не принадлежал, был в лагере, по-видимому, в довольно благоприятных условиях, позволивших ему не прерывать литературную деятельность, и, вернувшись в Москву, можно предположить, был он там окружен культурной личностью, которому обычно подвержены вернувшиеся герои..."*

Куда конь с коньком, туда и рак с клепней. Тех, кого Солженицын клевет под именем "плюралистов", Шаховская доклевывает под названием "либералы", взяв это слово в саркастические кавычки... Даю справку – без "по-видимому" и без "можно

исполнено. Работал большей частью грузчиком. В промежутках, между погрузками, писал – урывками, ключками, кусочками, в виде писем жене (два письма в месяц).

Специально Пушкиным раньше я не занимался, но много – еще с детства – помнил наизусть, и вначале решил писать о нем по памяти – во славу любви и "чистого искусства". Но в Лефортовской тюрьме, с неплохой библиотекой, кроме пушкинского томика мне попалась известная книга В.В. Вересаева "Пушкин в жизни", построенная на документах и свидетельствах современников поэта. Я сделал оттуда кое-какие выписки. Вот и весь капитал!

Солженицын рекомендует (это за колпачей-то проволокой!) опираться на работы о Пушкине – Бердяева, Франка, Федотова, П. Струве, Вейдле, Адамовича, О.А. Шмемана. Как будто не знает, что в Советском Союзе не то что в тюрьме – на воле эти книги запрещены. Требует он также расширить наши узкие и грубые представления о Пушкине за счет того, что ему, Солженицыну, особенно импонирует в Пушкине, – имперские заботы, патриотизм, признание цензуры, обличение США, критика Радищева...

Это чтобы я, лагерник, посаженный за писательство, лягул Радищева, проложившего дорогу русской литературе в Сибирь? Но, простите, это не мой Пушкин, это Пушкин Солженицына\*.

\* Мне ставится в вину, помимо собственных прегрешений, публикация в "Синтаксисе" статьи Н.А. Кленова (псевдоним из России). По изысному выражению Солженицына, Синявский "приючает" Кленова. Зачем "приючает"? Ну конечно, чтобы продолжить поход на Пушкина и другие непрекрасимые духовные авторитеты России (!).

Должен пояснить, что взгляды незнакомого мне Н.А. Кленова я разделяю далеко не полностью. Это не мешает нам публиковать статьи Кленова, которым, в силу их остроты, вообще нет места на эмигрантском "рынке". Говорить, помимо прочего, на острые, спорные и "запрещенные" темы, а не сланословить хором прописные истины – такова позиция журнала "Синтаксис", и для этого он был основан.

Сам подход Кленова к Пушкину противоположен моим "Прогулкам". Я стремился лишний Пушкина почти всех человеческих примет и представить его исключительно как "чистый дух" самого искусства. Кленов же поэта выносит за скобки и оставляет



ДАВИД ЛЕВИН. ДРУЖЕСКИЙ ШАРЖ. 1991

и затрагивает несколько интересных аспектов.

\* \* \*

В виде продолжения "Очерков литературной жизни", в № 142, Солженицын напечатал статью "...Колеблет твой треножник", где сердится на мою книжку "Прогулки с Пушкиным". Здесь не место спорить о вкусах. Солженицын – реалист (тяготеющий, последнее время, к "соц-реализму" с обратным знаком) и моралист. Понятно, у нас разные вкусы и разные стилистические ориентации. Допустим, о чем-то для меня святом и великом я пишу иногда в топе ироническом, а Солженицын эту иронию и самоиронию принимает всерьез, торжественно, "реалистично", и дает ей гневный отпор. Его, понятно, коробят мои словесные обороты. Так же как меня коробят его созвучия типа: "вбирчиво", "очунаться", "грызовой ход", "в лабиринте своего прогрыза" и т.п. И мне, скажем, почему-то не правятся его эротические сцены в древнерусском духе. Однако, при всех разногласиях, не стану же я утверждать, будто Солженицын осознанно, по застарелой казацкой злобе, корежит и ломает могучий русский язык или хочет совершить сексуальную революцию в России с целью подорвать ее нравственные пачала. А Солженицын у своих оппонентов подозревает в первую очередь подобного рода коварные планы и замыслы. И потому книжку "Прогулки с Пушкиным" он не читает, он ее высчи-

Интересно было бы проследить, как на разных этапах русской и советской истории менялась и распространялась официальная, государственная мода на Пушкина. Точнее говоря – начальственные на него виды и предписания. В революционный период это выражалось, например, в каменных параграфах гимназического воспитания, которые переказал нам Александр Блок: "Пушкин – наша национальная гордость", "Пушкин обожал царя", "Люби царя и отечество" и т.п.

Сходным образом высокий государственный пост Пушкина насмешливо оценил Маяковский, поминая ранние футуристические турне по России: "В Николаеве нам предложили не касаться ни начальства, ни Пушкина".

После революционного нового начальства, естественно, пожелало увидеть в Пушкине своего передового предшественника. Коротко это можно представить анекдотическим (но вполне правдоподобным) эпизодом 20-х годов, о котором напоминает современный советский пушкинист В.Непомнящий. На одном литературно-партийном заседании тогда строчку Пушкина "Октябрь уж наступил" предложили толковать как начало Октябрьской революции.

В 1937 году столетие со дня гибели Пушкина праздновалось как грандиозное всенародное торжество, прикрывающее авторитетом и гением поэта массовые аресты и казни. Попутно Пушкин становится символом русского национализма и советского патриотизма. Западный очевидец (немецкий русофил) Вальтер Шубарт писал по поводу пушкинского юбилея: "Тот факт, что противник Пушкина по дуэли, Дантес, не был русским, подчеркивался не без нотки ненависти". Сорок лет спустя этот тезис повторил писатель-эмигрант Вл.Максимов: "...Пушкина убило не царское самодержавие, а представитель европейской культуры Дантес".

Последнее время входит в обычай восхвалять особые государственные заслуги Пушкина. Советский писатель Ф.Абрамов в дневниковых заметках, опубликованных посмертно "Литературной газетой", объявляет Пушкина величайшим государственным, лучшим премьерником которого сделался А.Твардовский: "В этом смысле он (Твардовский), как никто другой из советских писателей, близок Пушкину. Идея государственности, социалистической государственности составляет самую сердцевину его поэмы, начиная со "Страны Муравии".

Сходный взгляд на достоинство Пушкина проводит А.Солженицын, меняя, конечно, советские ордена на святоотеческие медали.

Подведем итоги.

Консервативное гимназическое начальство хвалило Пушкина за то, что он "обожал царя".

"одного человека", что, на мой взгляд, противоречит самой природе Пушкина, у которого все – поэзия. Но объективности ради необходимо отметить, что не Пушкина "ниспровергает" Кленов и, вообще, не Пушкин основная тема его четырех статей, представляющих единую "связку" и опубликованных в "Синтаксисе", а советское общество и советский конформизм. Солженицын просто-напросто игнорирует этот факт – ради стройности собственной "пушкинской" версии.

Революционное правительство хвалило Пушкина за то, что он отвергал царя и поддерживал декабристов.

Государственность (любая): Пушкин был великим поэтом-государственным.

А Солженицын хвалит Пушкина за то, что он отверг Радищева и поддержал цензуру.

Не вижу принципиальной разницы. И те, и другие, и третьи, и четвертые – провозглашают: "Пушкин – наша национальная гордость" (общее место).

\* \* \*

Пушкин для России настолько чудесное, вселенское и неколебимое явление (это просто смешно – "колебать" Пушкина!), что каждый из нас берет у него понемногу – что кому ближе. Солженицыну в Пушкине ближе критика Радищева, а мне "чистое искусство". И мне дорог не канонизируемый (по тем или иным политическим стандартам) поэт, и не Пушкин – учитель жизни, а Пушкин как вечно юный гений русской культуры, у которого самый смех не разрушительный, а создающий, творческий. И оттого так легко и беззлобно он переходит на что и на кого угодно, в том числе на самого поэта. Подобного не допускает серьезный, дидактический Солженицын, для которого и смех лишь оружие в борьбе. Потому автоэпиграмму Пушкина, не справляясь с источником, он с негодованием выбрасывает на улицу – "похабный уличный стих о Пушкине": не мог же Пушкин с его нравственным авторитетом смеяться над самим собой! О нет, мог. И над собой, и над художником, изобразившим его рядом с Онегиным в "Невском Альманахе", и над Петропавловской крепостью, изображенной на том же рисунке, местом заключения политических преступников. Для тех, кто не в курсе, осмелюсь привести полностью эту автоэпиграмму:

*Вот, перешед чрез мост Кокушкин,  
Опершись... о гранит,  
Сам Александр Сергееч Пушкин  
С мосье Онегиным стоит.  
Не устаивая взглядом  
Твердьню власти роковой,  
Он к крепости стал гордо задом:  
Не плюй в колодец, милый мой.*

Какое великолепное презрение к тюрьме! И это написано в 1829 году, когда всем памятли были узники, сидевшие в Петропавловской крепости. И никакой это не "уличный стих", а тоже сам Пушкин, в котором нет ничего зазорного. И дух такого Пушкина, помимо других поворотов, веселого и свободного, мне тоже хотелось передать в моих "Прогулках" – не рассуждениями, а преимущественно стилистическими средствами. Солженицыну же, естественно, подавай иное: положительный герой, воспитательные задачи, отображение действительности, партийность (применительно к Российской Империи), народность... А вкусы, допустим, народного "балагана", восприимчивые Пушкиным, ему кажутся дурными и кощунственными по отношению к памяти поэта. Тогда как у меня эта похвала и признак неслыханной в пушкинские времена эстетической широты и раскованности. О том же гласит таинственная связь поэта с Пугачевым (в "Капитанской дочке"), такая, что и кровавая притча разбойника оказалась ему внятной. И это

не Сталин мне подсказал, как язвит Солженицын, а М.Цветаева с ее статьей "Пушкин и Пугачев", прочитанной мной с восторгом в "самиздатском" списке еще до ареста.

Да и то ведь надо учесть, что, обдумывая Пушкина в "Прогулках", не просто хотел выразить ему свое совершеннейшее почтение как незыблемому авторитету России (на одних авторитетах в искусстве далеко не уедете), но – стремился перекинуть цепочку пушкинских образов и строчек в самую что ни на есть актуальную для меня художественную реальность. Отсюда трансформация хрестоматийных о нем представлений, которые, не волнуйтесь, от Пушкина никуда не уйдут, не убудут, в ином, не пушкинском, стилистическом ключе. Тут мне, помимо прочего, мысленной опорой служил опыт работы над классикой – Мейерхольда и Пикассо. Чем в тысячный раз повторять общеупотребительные штампы о Пушкине, почему бы, пользуясь его живительной свободой, не попробовать новые пути осознания искусства – гротеск, фантастика, сдвиг, нарочитый анахронизм (при заведомой условности этих стилистических средств)?.. Этой условности в тексте Солженицын, как писатель строгих консервативных взглядов, не заметил (или ее с возмущением отбросил) и пошел заступаться за будто бы обиженных классиков.

Разумеется, я не мог и не пытался охватить "всего" Пушкина. И никакого учебного пособия по Пушкину, руководства там или научной монографии о нем не стряпал. Не до монографий было. Это не академическое исследование. Мой Пушкин вольный художник, сошедший ко мне в тюрьму, а не насупленный проповедник и ментор, надзирающий за русской словесностью – кому, как и о чем писать.

Поражает глухота. Отсутствие юмора. Впрямую. Уже, выясняется, не одного Пушкина я попробовал угробить, но и Гоголя, и Лермонтова, и Чехова, и Гончарова... В общем, всю русскую литературу вздумал извести, мерзавец. Правильно, значит, меня осудила наша правильная советская власть!..

"Пушкинское наследие – любовь к Родине, гражданственность, бесценный дар нашего народа! С этим Пушкин вошел на века и века в отечественную литературу. Об этом ни слова. Вот какими оказывается Пушкин по Абраму Терцу: "Если... искать прототипа Пушкина поблизости в современной ему среде, то лучший кандидат окажется Хлестаков, челоуеческое alter ego поэта..." "Кто еще этакими дуриком входил в литературу?" "Пушкин, сколотивши на женищинах состояние, имел у них и стол и дом". "Жил, шутя и играя, и... умер, заигравшись чересчур далеко". "Мальчишка – и погуб по-мальчишески, в ореоле скандала" ... А в чем же цель творчества Пушкина? Абрам Терц: – Без цели...

Глумление над Пушкиным Абрама Терца не самоцель, а приступ к главной цели: "С Пушкиным в литературе начался прогресс... О, эта лишенная стати, оголтелая описательность 19-го столетия... Эта смертная жажда заприходовать каждую пядь ускользающего бытия... в горы протоколов с тусклыми заголовками..." Бойкий Абрам Терц единым махом мазнул по всей великой русской литературе, все выброшены – Пушкин, Достоевский, Гоголь, Гончаров, Чехов, Толстой. Не выдер-

жали, значит, "самиздатовских" критериев. Сделано это не только ввиду мании величия Абрама Терца, ведь он тоже претендует на высокое звание "писателя", а с очевидной гаденькой мыслишкой хоть как-то расчистить плацдарм, на котором возвысятся некие литературные столпы, свободные от "идеологии"... "

Простите, читатель, я перепутал цитаты. Последняя взята не из Солженицына, а из книги Н.Н.Яковлева: "ЦРУ против СССР", 2-е издание. М., "Молодая гвардия", 1981, стр. 181-182. Но Яковлев, вот удивительно, почти дословно совпадает с Солженицыным (ср. в "Вестнике" стр. 137, 139, 140, 151-152). Кто же у кого списал? Никто ни у кого не списывал. Только некая общность вкусов, литературных критериев, логики исследования. Все ему подыскивается простенькая и гаденькая мотивировка. Так, по мнению Яковлева, Абрам Терц покусился на русскую литературу из ненависти к родной стране и мании величия. То же самое у Солженицына: "И что ж вырастает за грандиозная аполлоническая фигура самого судьи, создателя "Крошки Цорес"...". Спросим, при чем тут "Крошка Цорес", отделенная от "Прогулок" десятилетним барьером и другими книгами Абрама Терца? А для унительности. Дескать, мелочь. И всюду прогнозы, подозрения, догадки. Вот-вот "грянет и книга о Лермонтове". Успокойтесь -- не грянет! У меня нет привычки писать подряд похожие друг на друга книги. По мнению Солженицына, "Лермонтов чем-то сильно уязвил критика, своим ли мистическим мироощущением?" А где, собственно, у меня написано, что -- "мистическим"? Снова чтение в сердцах? Кстати, именно Лермонтова я люблю и чту как самого, может быть, мистического поэта России. Или, тут же, Солженицын выискивает улику -- будто мне особенно отвратительно желание Лермонтова "мстить" за Пушкина. А я-то имел в виду совсем не Лермонтова, а Багрицкого и других советских писателей ("Я лстил за Пушкина под Перекопом..."), о чем легко догадаться из контекста этой "месты" -- "театральных постановок", "кинофильмов", которые, конечно, не имеют никакого отношения к Лермонтову...

И так на каждом шагу. Помимо Лермонтова, выясняется, я и Гоголя -- одной фразой -- перечеркнул. Казалось бы, пораскинь умом: зачем же он и Гоголя-то? Ведь стоит же рядом с "Прогулками" толстенная книга "В тени Гоголя" (там и о Пушкине в соотношении с Гоголем, и о Хлестакове подробно). А если научная монография интересуется или объективная критика, протяни руку: книга о Розанове (там же и о Гоголе, и о Достоевском, там и религиозной философии много). Нет. К чему сопоставлять какие-то книги, факты, противоречащие концепции? Книга у него уже есть.

Люди (а тем более писатели) в любви объясняются по-разному. Один автор так прямо и пишет: "ткнулся бородой в ее лоно" ("Красное колесо"). Другой стесняется напрямую выражать свои чувства и прячется за иронию или прибегает к каким-то смысловым смещениям: "Боже, как хлещут волны, как ходуном ходит море, и мы слизываем языком слезы со щек, слушая этот горячечный бред, этот бесполощный лепет в письме Татьяны к Онегину, Татьяны к Пушкину или Пушкина к Татьяне, к чер-

ному небу, к белому свету..." ("Прогулки с Пушкиным").

Солженицын в этой тираде прочел только "слизываем языком слезы со щек" и сделал вывод: очередное непозволительное глумление над Пушкиным!

Когда критика ведется путем выискивания криминальных цитат, -- ничего ей не докажешь. Тычут в морду одни и те же цитаты -- и баста! И безразлично, где происходит действие -- в Москве или в эмиграции. В эмиграции даже труднее. Общественное мнение здесь на стороне сильного. А скажете, оскорблясь: но здесь же все-таки в тюрьме за литературу не сажают? Разве что. Но в этом не ваша заслуга, а проклинаемого вами Запада, господ. Бывает, однако, психологически, для писателя не так уж страшна тюрьма. Страшнее другое -- господство преодоленных, казалось бы, но тех же самых, что и в Советском Союзе, эстетических канонов и штампов. И скука, смертная скука, которой так и несет от вашего Пушкина, от вашего, с позволения сказать, "национального возрождения". Все как двадцать лет назад:

"...Рассеять эту атмосферу крайне трудно, здесь не помогут ни развернутые аргументы, ни концепции творчества. Уже на следствии я понял, что не это интересует обвинение: интересуют отдельные цитаты, которые все повторяются и повторяются... Тут логика кончается. Автор уже оказывается садистом... Тут какой-то особенно изоциренный автор: он и русский народ ненавидит, и евреев. Все ненавидит: и матерей и человечество. Возникает вопрос: откуда такое чудовище, из какого болота, из какого подполья?.. Вот у меня в рассказе "Пхенц" есть фраза, которую я считаю автобиографической: "Подумай, если я просто другой, так уж сразу ругаться..." Так вот: я -- другой..."

(Из моего Последнего слова на суде, 1966).

\* \* \*

В итоговой статье номера (N 142), в ответе Г.Померанцу, Н.А.Струве, с присутствующей ему оперативностью, откликается "на отповедь Солженицына всем тем новым эмигрантам, которые взялись опорочивать в глазах иностранцев, и наших в первую очередь, Россию, а заодно и автора (между прочим) "Архипелага ГУЛага"".

Хотелось бы уточнить некоторые детали, некоторые границы разногласий с Солженицыным. Во-первых, под огонь ("отповедь") Солженицына попадают не только новые эмигранты, но "все те" авторы, в том числе живущие в России, которые пытаются ему сопротивляться или желают уклониться от его национальной программы. И странно, что Н.Струве этого не замечает в своем ответе не эмигранту, а россиянину Померанцу, которому не так-то легко -- оттуда -- возразить Н.Струве. Во-вторых, Солженицын обожествился и самоотжествился с Россией, и потому любое слово поперек ему, Солженицыну, рассматривается теперь как опорочивание России. В-третьих, спорят не с автором "Архипелага ГУЛага", а с другим автором, и "Архипелаг" у Струве всего лишь дымовая завеса, прикрытие: не смеет спорить с автором Такой книги! с тем, кто столько сделал "для русского слова, для русской славы"! "Не стыдно ли? Нам, во всяком случае, за Г.Померанца стыдно".

Наверное, Лев Толстой тоже немало сделал и "для русского слова", и "для русской славы". Однако находились люди, которые спорили с религиозными и социальными идеями Толстого, и ничего ужасного в этом не было, и им не затыкали рот "Войной и миром": как, мол, смеют эти ничтожества спорить с автором "Войны и мира"!

Струве в литературные споры вносит табель о рангах. Перечисляет книги и заслуги Солженицына. И визгливым голосом: "Кто сделал больше... пусть смело шагает вперед... И даже А.Синявский смиренно должен будет признать, что не "Голос из Хора" и не "Прогулки с Пушкиными" произвели переворот в умах людей..."

Смиренно признаю. Но позвольте возразить, чисто теоретически, никого ни с кем не сравнивая, что у искусства существуют задачи не только производить "перевороты в умах людей", но и собственно, так сказать, художественные. И раньше случались книги, производившие перевороты в умах. "Что делать?" Чернышевского, например... "Капитал" Маркса... Величие же и слава человека не обеспечивают ему безгрешность...

А Солженицын не стоит на месте -- наподобие иконы. Солженицын -- эволюционирует, и не обязательно по направлению к небу. "Архипелаг ГУЛаг", "Раковый корпус" и более ранние его вещи встретили, как известно, восторженный прием у людей свободомыслящих. Единодушие нарушилось не с "Архипелага", а позднее и по совершенно другим причинам: исторические построения, авторитарные рецепты и деспотические замашки Солженицына. Ему посмели ответить! Вот тут-то и появились злобные "плюралисты"...

В солженицынской наступательной стратегии-технике есть такой выразительный прием: придумать кликуху позабористее, хлесткое прозвище, а потом уже "народ" разнесет. Так было придумано слово "образованцы" (по типу "оборванцы", "заср..."), и все страшно обрадовались. Через десять лет -- новое клеймо: "плюралисты". Эти "плюралисты" тем понятнее и приятнее звучат, что пересекаются с глаголом "плюнуть". То ли они "плюют", то ли на них "плевать" -- все равно метко сказано (по-советски, по-ленински -- "наплевать", "наплевицы"). И вот уже русский народ, в лице Н.Струве, пользуется этим ругательством как научной терминологией.

Но откуда, спрашивается, взялись эти самые "плюралисты", и почему их раньше не было слышно? "Вестник" объясняет их появление завистью к великому русскому писателю и ненавистью к России. Детское объяснение. Нетрудно заметить, что по мере развития Солженицына или (если он всегда так думал и лишь таил до времени свои думы) по мере развертывания его идей -- появляются лица и мнения, которые по каким-то вопросам с ним решительно расходятся. Расходятся в этом *новом* спектре его воззрений и образов. С другой же стороны, параллельно, за Солженицыным начинают идти люди и группы, у которых сами понятия "демократия", "либерализм", "диссиденты", "права человека" возбуждают острое чувство неприязни, и они в открытую, чем дальше, тем громче, об этом заявляют, размывая именем и портретами Солженицына. Вероятно, и "Красное колесо", по

мере своего вращения, будет кого-то отталкивать, а кого-то притягивать в свою орбиту. У Солженицына появится (и уже появился) новый сорт почитателей. На смену "диссидентам" идет "черная сотня"...

Этот последний образ я употребляю, разумеется, условно, как символ, как знак возможной деградации. На самом же деле у солженицынцев не одно лицо. В движении, которое величает себя "национально-религиозным возрождением России", принимают участие люди разной политической и умственной окраски – от умеренных либералов до фашиствующего заграничного "Вече". И чаши весов качаются. Но пока что улавливается в этом "возрождении" определенный перевес в пользу "Союза русского народа", и сам "Вестник РХД" постепенно, на глазах, "чернеет".

Об этом свидетельствует, в частности, статья в № 142 из Москвы – Д.Мирова. Фамилия автора (или его псевдоним?) звучит красиво – почти как "Добролюбов": примирение, мол, несую вам, братья! Меня этот миротворец аттестует "литературным погромщиком". А по контрасту с моей зверской литературно-погромной рожей тут же Мирон реабилитирует тех, кого было когда-то принято по ошибке или по злему умыслу называть "погромщиками". Реабilitирует "Союз русского народа", "лишь некоторые рядовые члены коего запятнали себя участием в одном-двух погромах". Бедняшки! Разок-другой всего-то и погромили сволочей-сверсев, а на третий погром не пошли (и то ведь не сами же вожди-идеологи убивали и грабили, а лишь некоторые несознательные рядовые члены), – и – здравствуйте! – репутация испорчена. Где справедливость в мире? В результате: "Политическая партия недавнего прошлого, объединявшая сотни наших дедов и прадедов из всех сословий общества и именовавшаяся "Союз русского народа", ныне предана несправедливым проклятиям, обогам, оклеветаниям..."

Сочувствую и не берусь судить о степени "погромности" славной организации. Как говорит Солженицын, "дело хозяйское" – кому какое родство больше правится. Меня занимает сейчас другой вопрос: переворачивание понятий и слов по советской схеме. Стоит, допустим, замкнуть "погромщиков" (настоящих погромщиков) "литературными погромщиками" (мнимыми) – и дело в шляпе. Эпитет "литературные" не ослабляет, а усиливает степень виновности, так что подлинных погромщиков уже и не видно за этой "литературой". Точно так же устаревшему, обесцененному словцу "диверсанты" (раньше ведь все враги народа были "диверсантами" и "шпионами") Советская власть сообщила новую жизнь с помощью одного лишь эпитета – "идеологические". "Идеологические диверсанты" – это просто иначе мыслящие, однако в такой упаковке они кажутся ужаснее обычных "диверсантов", и весь состав преступления здесь уже налицо. Аналогичным жестом советская пресса лихо присвоила Солженицыну звание "литературного власовца" (чем тебе не – "литературный погромщик"?). Подделка документов по советскому рецепту привилась и уже вошла в антисоветский стиль и быт. И вот уже христианнейший из христиан, добрейший, милейший Д.Миров совершает такую же (как с "литературным власовцем") словесную операцию: "...Мы имели изрядное количество литературных погромщиков – некоего

Максудова при М.Бернштаме, некоего А.Синявского при А.Солженицыне и т.д. и т.п.". Как это красочно и как это еще корректно сказано: "некий", "некоего" (варианты того же советизма – "небезызвестный", "печально известный", "пресловутый"...)! Я бы, например, не решился Д.Мирова, которого впервые слышу, обозвать: "некий Мирон". Почему? Да потому хотя бы, что слишком часто встречал в советских газетах подобное обхождение: некий Зоценко, небезызвестный Пастернак...

К сожалению, Солженицын тут подает не самый лучший пример "национальному возрождению", забирая все новые области культуры – стилистику, эстетику, историю искусства – под свою прокурорскую руку. Это бросается в глаза в его новых "Очерках литературной жизни", которые будут продолжены. То-то начнутся идеологические чистки!...

Ну что ж? Успокаиваю себя. Ведь "идеологическим диверсантом" я уже был? Был. "Ненавистником" советской власти, русского народа, мировой культуры и всего прогрессивного человечества – называли? Называли. И "неким", и "пресловутым". И даже "литературным погромщиком" давно уже числюсь. Печально притом известным. Впервые, помнится, погромщиком назвал меня большой русский гуманист Вс.Кочетов (к тому моменту я уже сидел) – за старые мои отзывы в "Новом мире" о Софронове, Долматовском, Шевцове...

Странно, однако ж. Обычно погромщики прислуживают, как умеют, сильным мира сего. Угождают власти. А тут – не захотел угождать, прислуживаться, и – погромщик? Тебя же громит начальство, и тебя же называют погромщиком? А – не спорь! А – не высовывайся! Пытаюсь вспомнить: кого я в жизни громил? Мысленно перебираю статьи по пальцам. Их не так уж много. А подавляющая часть – вроде бы положительная, даже патристическая. "Отечество. Блатная песня", например. "Люди и звери", "Река и песня"... И вдруг – с ужасом. И – улыбаюсь: "Прогулки с Пушкиным"?!

Кто же вам дал эту власть – присвоить Пушкина, узурпировать Россию? Религию, нравственность, искусство? Исключительно себе и своим единомышленникам. Да слышали мы эти байки: антипатриотизм! антипатриотизм! Дескать, они одни выражают волю народа. А кто не с ними, те – изменники Родины. Какую все-таки дьявольскую веру в собственную святость надо носить в душе, чтобы других людей, не согласных с тобою, лишать обыкновенного права – любить свою родину...

## Эвиласио Мойя

Руки

1

*Людские ладони творят:  
любовь.  
Ненависть.  
Прощанье.  
Прощенье.  
Грех.  
Приговор.*

2

*В людских ладонях  
вздрагивает прощанье.  
В руках человека  
видится,  
читается,  
становится плотью  
признание в ЛЮБВИ  
в беспросветные ночи  
без огней.*

*...В ослепленье страсти.*

3

*Ладонями узнаем  
извилистые пути  
наших морищи.  
Согреваем ладони  
теплом любивших.*

4

*В горстях у нас спят  
– "почиот в лире" –  
злора,  
презрение,  
любовь,  
распри,  
скорбь,  
сон.*

5

*Руки – могильницы  
и жизнетворицы:  
врезает строки живой палки в плиты  
смерти.  
Удерживают в ладонях надежды.*

## Последние дни в Теадингтоне

Как будто в комнату жалую,  
Открыты окна прямо в сад.  
И по ветру витал вслепую  
Цветов и листьев аромат.

И пес кудлатый, чрез порожек  
Бежавший весело к столу,  
Не различал песок дорожек  
И желтый пластик на полу.

И зелень, зелень просто чудо!  
И, прижмываясь к кирпичам,  
Водил усали плющ, покуда  
Не вполз на подоконник к нам.

Был сад приветливым соседом  
И нам дарил свои лучи  
В час отдыха, и за обедом,  
И в теплой августа ночи.

И, приходя с ночной пирушки,  
Мы спотыкались каждый раз  
О позабытые игрушки,  
В траве укрытые от глаз...

Когда же окна затворили,  
То взаперти осталось нам  
Вдыхать лишь запах теплой пыли.  
И сад упал к своим ногам...

## Пирс Стрит

Нет в доле никого. Лучи скользят  
Во внутрь за ставни, планки, шторы.  
Их тоненькие нити наугад  
Пронзают иглу,

лица себе опоры  
На ножке стула, на цветке в углу.

Иду смотреть. Кровати и холсты  
Едва очерченъ, продолговаты.  
Как тени, что встают из темноты,  
Вдоль всей стены

тяжелые квадраты  
Угаданы скорее, чем видны.

По комнатам броджу, и вот в седьмой  
С жужжаньем муха синяя кружится,  
Со всех сторон фигуры надо мной,  
Под потолком

светлей тела и лица,  
Налеченные маслом и углем.

Одни в одеждах, будто в холода,  
А те нагие, забнут под ветрами,  
Зато оружие в золоте всегда.  
Они стоят

по-одному, рядами,  
К нам обращая свой застывший взгляд.

Они не бросят никогда поста,  
Воображенья воины немые,  
Им созданы, его внутри холста,  
В границах рама,

хранят, как часовые,  
Так я в границах тела залкнут сам.

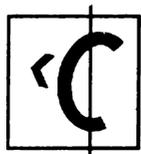
Они хранят самих себя сейчас,  
Такие, как увидел их украдкой  
Художник, что от гибели их спас.  
Не рвется нить.

А в доле запах сладкий  
И смертным можно двигаться и жить.

## Издательство акционерного общества "МАКСИМА"

готово рассмотреть любые предложения по подготовке и выпуску в России книг, брошюр, сборников статей и докладов, а также любых других изданий, которые представляют интерес как для российского читателя, так и для читателей всего мира.

Мы издаем быстро, недорого, любым тиражом.



MAXIMA

Господа литераторы, ученые, бизнесмены!

Акционерное общество «МАКСИМА» может организовать для вас встречи с читателями и коллегами, симпозиумы и конференции в Санкт-Петербурге.

Мы обеспечим вам проживание, транспорт, культурную программу, организуем выпуск любой полиграфической продукции.

Ждем ваших предложений.

Наш почтовый адрес: Россия, Санкт-Петербург, 191002. а/я 2.

Тел.: 315-73-95 Факс: (812) 233-37-45

Если все меняется вокруг нас, должны меняться и мы. Государственный институт, именуемый литературой, известный нам по эпохе социализма, пришел к своему концу. Больше не будет дешевых книг, поскольку государство более не заботит, сколько читателей прочтет написанное писателями. Статус писателя как иерарха или ересиарха стал достоянием истории. Литература перестала быть турнирным полем политического инакомыслия. Общественная борьба переместилась на свое законное место в парламенте или на страницы газет. Игра в прятки с цензурой, долгие годы ведшаяся в театре, стала бессмысленной. Политические заявления уже не вызывают ни у кого сильных чувств. Равнодушие, действуя как успокоительный фактор, становится стабилизатором общественной жизни. Когда речь заходит о серьезных вопросах, писатель выступает как дилетант. Писательство больше не может претендовать на звание серьезной профессии, это скорее приятное времяпрепровождение. Звонкие, чеканные фразы, как в былые времена, произносятся с кафедр соборов. Гладкие формулировки придумываются для политиков профессиональными речеписцами. Говорить возвышенно — отныне не дело писателей. Там, где торжествует либеральная демократия, сограждане уже не нуждаются в духовных поводырях. Но в хороших книгах мы будем нуждаться и впредь. В условиях государственного социализма писателю отводится заметная общественная роль. В буржуазном обществе писатель — частное лицо, способное на производство определенного вида информации. Стихи снова становятся прибежищем влюбленных юношей. При либеральной демократии, если, конечно, считать, что мы до нее дожили, поэзия — это хобби, а текст — частное дело писателя. Если им заинтересуются лишь немногие, не беда, можно напечатать за свой счет тысячу-другую экземпляров.

И вот, год или два спустя после свершившихся перемен, по спине писателя пробегает дрожь. А нужен ли он вообще? Литератор не знает ответа на этот вопрос. Он подозревает, что как-то незаметно писательство вышло из моды. Оно уже не приносит ни денег, ни власти. Государство уже не в состоянии содержать писателя, а рынок к этому еще не готов. А ведь при социализме государство нуждается в писателе, если, конечно, он не причиняет особых хлопот. Существовала государственная культура, формировавшаяся из произведений, прошедших цензуру. Кроме того, была и бесцензурная культура, отражение и дополнение государственной. Каково же положение сегодня?

Правительство по-прежнему платит за произведения, поддерживающие правительство. Прочие покровители культуры в сфере частной экономики сами нуждаются в поддержке. Книги подорожали, а читатели обеднели. Все завалено коммерческим чтивом, а на литературу серьезную не хватает ни времени, ни денег. Многие литераторы стали безработными. Пришлось проститься с ощущением социальной защищенности, еще недавно основанным на том, что, издавая одну книгу в год, писатель мог обеспечить себя и семью, твердо рассчитывая, что будет

писать до глубокой старости. Роль и место литературы в общественной и частной жизни сильно сократились. Подошла к концу целая эпоха истории литературы. Это заметили не сразу, но местолитературы в иерархии общественных ценностей и институтов нынче очень опустилось. Национальная федерация писателей раскололась на школы и направления. Литература как некое средоточие интеллектуальных ценностей отступила в прошлое. Впереди нас ждут испытания, кое-кто оставит литературу, считая, что человек не обязан всю жизнь делать одно и то же. Издатели страдают от общего кризиса экономики, и литература переживает то же обнищание, что и все обще-

дакционную статью, часто написанную писателем. Существует спрос на независимое личное мнение, высказанное отнюдь не политиками-интеллектуалами, выражающее как правило, корпоративные интересы. Ощущается потребность в людях, которые явятся ориентирами в мире мнимых величин и ложных ценностей. В именах и авторитетах, во взвешенных суждениях нуждаются партии и движения, да и частные граждане, страшащиеся общественной нестабильности, требуют от прессы авторитетных оценок происходящего. Слово не блекнет. Чем стремительней водовороты и ошибки разных точек зрения, тем больше потребность в мудром совете, тща-

## Дьердь Конрад

рованное государство не могло существовать без поддержки лояльной интеллигенции. Теперь вовлеченности писателя в дела нелитературные пришел конец. Пора положить предел предрассудкам, затемняющим понимание истины. Литература не обязана быть ничем, кроме себя самой. Роль диктатора-моралиста — не роль истинного писателя. Конечно, всегда найдутся писатели, воображающие, что без них мир рухнет. Они появляются в последний момент перед катастрофой, чтобы спасти — но что, собственно, спасти?

Для меня двадцатый век начался в 1933 году, когда я появился на свет, а в Германии к власти пришел Гитлер. В нашем столетии многие радикалы полагали, что властью нужно овладеть, если по-

# ЧТО — ТО УШЛО ...



тельно сформулированной позиции, подкрепленной авторитетом известного имени.

Вторым фактором, способным спасти литературу, является международный книжный рынок. В Западной Европе растет интерес к другой, ранее почти неведомой части европейского континента. Национальный эгоизм можно обнаружить повсюду, хотя гордиться им не при-

держивать ее до конца. И люди и слова легко переползают из националистических революций в социалистические и обратно. Многие интеллектуалы легко переходят от одной формы радикализма к другой. В этой сфере напряжение между политикой и литературой длится вечно, они не могут ни соединиться, ни разойтись окончательно. В двадцатом веке политика стучалась в двери, проникала в дома, в телефоны, в головы. И фашизм, и коммунизм, руководствуясь государственными интересами, залезали в письменные столы писателей. Мы обязаны противостоять любому принципу, предоставляющему государству право совершать подобные бесчинства. В условиях диктатуры невозможно игнорировать политику, ее бесконечные занудные потоги навсегда врезались в нашу память. Никто не мог оставаться наивным, всем приходилось жить начеку. Государственные идеологии были полны предубеждений, но и оппозиционная интеллигенция не была от них свободна, и не оказывалось укромного местечка, чтобы спрятаться. Страх, политические страсти и борьба на любой стороне не оставляли места литературе.

ство. Но, как мне думается, период высоких цен на книги и падения покупательной способности потенциальных читателей рано или поздно минует, а литература его переживет. Можно надеяться, что через несколько лет возникнет более или менее состоятельный средний класс с устойчивым спросом на книжную продукцию. Рано или поздно появится дешевая техника и окрепнет покупательная способность, но период спада продлится семь постных лет, и лишь самые упорные из писателей будут продолжать писать. Лишь самоотречение и настойчивость, достойные монашеского обета, помогут в этой нелегкой борьбе за истинную литературу. Занявшемуся писательским трудом помогут не только долгие годы овладения мастерством, но и мужество и уверенность в собственных силах. Многие из нынешних писателей ради заработка обратятся к своим прежним профессиям, продолжая писать время от времени. Значение частных спонсоров, компаний и фондов возрастет, а роль государства снизится. Существует еще два фактора, которые помогут литературе выжить. Первый из них — пресса. Газеты будут исчезать и появляться, но и печатные, и электронные средства массовой информации неизбежно будут пользоваться текстами. Уже сегодня современный подписчик газеты, продравшись сквозь нагромождение последних известий, с облегчением вздыхает, погружаясь в ре-

дится. Отождествление понятия "культурная родина" с государством или даже областью, где используется тот или иной язык, является, по моему мнению, грубейшим оскорблением понятия народности. Возрождение национальных чувств в странах к востоку от бывшего Железного занавеса явилось мощным фактором распада советского блока, или, как его раньше называли, социалистического лагеря. В то же время оно привело к сокращению культурных обменов и контактов между странами — членами бывшего СЭВ. И все же нет желания или возможности возобновить искренний диалог между культурами Центральной и Восточной Европы. Сюда следует добавить и неблагоприятную конъюнктуру книжного рынка, что, по мнению пессимистов, означает вообще конец издательского дела. В самом деле, книги в наших странах продаются плохо. Однако, когда мы наведем порядок у себя, было бы хорошо, если бы писатели, объединенные в ПЕН-клубе, что-то делали для публикации у нас зарубежных коллег.

В двадцатом столетии литераторы часто преувеличивали собственное значение. Они вступали в ряды пропагандистов и пророков, провозглашали вечные истины, обращали свой гнев против врагов прогресса, объявляемых бесами, выступали в качестве духовных вождей. От всего этого необходимо поскорей избавиться, как от лишнего веса. Идеологизи-

Сейчас в глазах людей вновь светится любопытство. Публике хочется знать, что происходит. Ей хочется ясности. Сейчас среднего человека гораздо труднее обмануть, чем три года назад. Он многое узнал и многое испробовал. Он уже не верит в молочные реки и кисельные берега в светлом будущем. Человек есть то, что он есть, а не то, чем мог бы стать, будь система иной. Нынешний социальный национал-капитализм явно установился надолго. С ним придется какое-то время сосуществовать, пользуясь его благами и ругая его пороки. Люди без веры ищут то, во что можно верить. Дело обошлось без большой крови, а есть Железный занавес или нет, не так уж важно. Число бедных на какое-то время возрастет, а затем уменьшится. Стали чаще грабить с применением оружия, но вскоре, вероятно, преступность пойдет на убыль. Банкиры и интеллектуалы испытывают взаимное притяжение, особенно последние. Великая тайна развеялась в воздухе, и отныне все, что существует, существует на самом деле. Бросается в глаза великое переде-

вание, великая смена риторики. Исторические перемены сопровождаются новым видом беспамьяства. Многим кажется, что у них украли их прошлое. Оказалось, что многое из усвоенного ими было просто глупостью. Люди не испытывают никакого восторга перед будущим, но верят, что выживут и, возможно, научатся любить это будущее, просто потому, что от него никуда не деться.

Я рассчитываю на то, что настанет момент, когда оскорбленные самолюбия успокоятся и писатели возьмутся за перо. Я жду, когда люди, живущие сегодня, научатся понимать людей, живших вчера или позавчера, когда писатели обратятся к трагической сложности повсе-

кто провозглашает свою ответственность перед будущим, обязаны принять ответственность за прошлое. На место одних заблуждавшихся становятся другие. В чем состояла их безответственность? В раздувании коллективного эго, готового воспользоваться любым реальным или воображаемым оскорблением, чтобы развязывать войны или устанавливать диктатуры. Такое коллективное эго, пылая лихорадкой самосознания, стремилось насильственно утвердить свое место под солнцем, распахивая соседей, провозглашая свою исключительность, свои исторические права и подбывая тем временем оправдания для газовых камер. Речь идет о коллективном тщеславии, истинная природа которого становится очевидной, когда человека, утверждающего свое историческое превосходство, просят объяснить, чем он лично лучше прочих.

При всем этом, хотя читателю это может быть и неинтересно, я остаюсь оптимистом. Почему? По моим наблюдениям, страна работает, предприимчивые люди занимаются делами, новые возможности открываются не только для аферистов, но и для основателей новых

предприятий и торговых домов. Это их время, время отцов-основателей, в том числе основателей всяческих фондов. Меньше стало граждан, которые смотрят на государство как на няньку. Что касается правительства, оно чего-то стоит только когда содействует уменьшению числа запретов, и, действительно, запретов поубавилось. Принимая все это во внимание, у нас теперь меньше оснований для страхов, чем в то же время в прошлом году. Этот прокисший страх, который так привычен для госчеловека социалистического общества, свойствен и госчеловеку посткоммунистической эпохи, хотя повод для страха изменился. Отныне вы становитесь подозрительным субъектом, если отказываетесь бояться всяческих модных страшилищ. Теперь, когда обо всем можно говорить открыто, вниманием публики завладели многочисленные производимые запугиванием. Потягивая винцо, вы рисуете страшные очертания неминуемого Апокалипсиса, а наутро отправляе-тесь на рынок, чтобы подороже продать видения кошмарного будущего. Поскольку все больше людей теперь работают сами на себя, а плохо выполняемая работа больше не вызывает восхищения, дела в обществе постепенно налаживаются. Говоря о себе, я не испытываю особого страха перед установлением тирании или началом гражданской войны. Признаюсь, я смотрю на вещи с известным хладнокровием, как, впрочем, и большинство сограждан. Не поскачешь галопом - не свалишься в яму, так что лучше продвигаться трусцой. Нет причин впадать в истерику перед будущим. Надо только не выходить из мастерской и не бросать работу.

дневной жизни и ужасающей комбинаторике самооправдания. Если такая литература действительно появится, она будет воспринимать историю не как закономерный процесс, а как абсурд, порожденный множеством отнюдь не абсурдных, но рациональных и конструктивных усилий. Тогда настанет эпоха расцвета повествовательной прозы и эпического диалога. Какая же логика восторгается в литературе, логика диалога или логика племенных предрассудков? Сможем ли мы обратить прошлое в эпос, который читатель все еще видит в свете модных идеологических концепций? В чем состоит самый важный урок, преподанный двадцатым веком? То, что нам удалось выжить, еще не доказывает, что все приключение имело смысл. Может ли быть осмысленной частная жизнь и отдельная судьба в рамках бессмысленной истории?

Мы пережили конец восьмидесятых и оказались в загадочных девяностых годах. Главный же вопрос заключается в том, сможет ли человечество отпраздновать конец второго тысячелетия, преисполнившись благодарности за то, что еще существует, что еще нет нужды покидать эту юдоль страданий, где мы развлекали и утомляли Бога в соответствии со своими склонностями и увлечениями. Двадцатый век подходит к концу. Это был век агрессивной и коллективной безответственности. Идиоты, наделенные властью, руководили всем - от литературы до лагерей уничтожения. Писатели, политики, все те, кто осмеливался выступать публично, далеки от невинности. Никому не позволено обвинять, но никто не свободен от чувства греха. Чувство греха - это обратная сторона ответственности. Те,

Выпустило в свет материалы Русской школы Норвичского университета (Вермонт, США)

Марина Цветаева  
НОРВИЧСКИЙ СИМПОЗИУМ

THE RUSSIAN SCHOOL OF NORWICH UNIVERSITY  
A Centennial Symposium Dedicated to

# Marina Tsvetaeva



## Марина Цветаева

Симпозиум, посвященный 100-летию со дня рождения

РУССКАЯ ШКОЛА НОРВИЧСКОГО УНИВЕРСИТЕТА

1. Марина Цветаева.  
Симпозиум, посвященный 100-летию со дня рождения.  
Под редакцией С. Ельницкой и Е. Эткинда.

Михаил Лермонтов  
НОРВИЧСКИЙ СИМПОЗИУМ

THE RUSSIAN SCHOOL OF NORWICH UNIVERSITY  
A Symposium Dedicated to

# Mikhail Lermontov



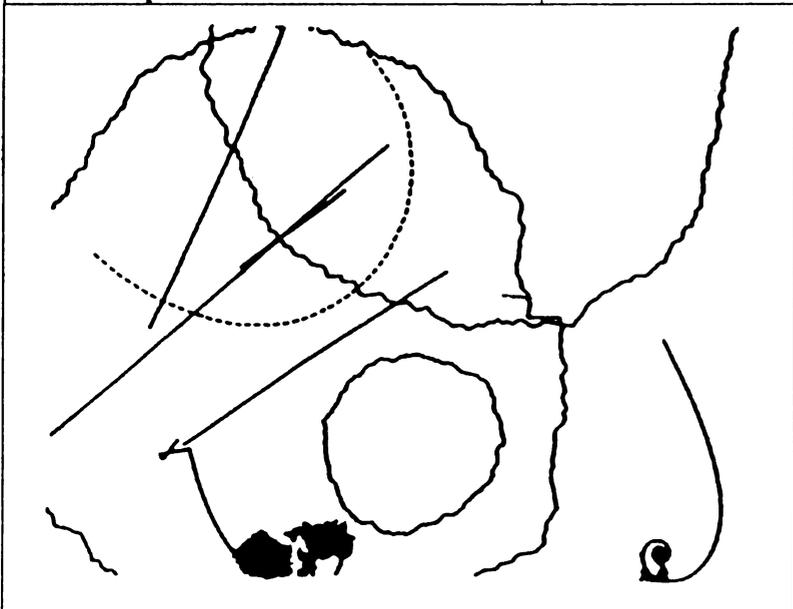
## Михаил Лермонтов

Симпозиум, посвященный 175-летию со дня рождения

РУССКАЯ ШКОЛА НОРВИЧСКОГО УНИВЕРСИТЕТА

2. Михаил Лермонтов.  
Симпозиум, посвященный 175-летию со дня рождения.  
Под редакцией Е. Эткинда.

Заявки от заинтересованных лиц и организаций принимаются по адресу:  
191002, Россия, Санкт-Петербург, а/я 2,  
телефон (812) 315-73-95,  
факс: (812) 233-37-45



## ПАРИЖ,

Lettre internationale,  
Гл. редакторы  
АНТОНИН ЛИМ  
ПОЛЬ НУАРО  
14-16, rue des Petits-Hôtels, 75010 Paris

## РИМ,

Lettera internazionale,  
Гл. редакторы:  
ФЕДЕРИКО КОЭН,  
ВИТТОРИО СТРАДА,  
АНТОНИН ЛИМ  
Via Emanuele Gianturco 4, 00192 Roma

## ЗАРУБЕЖНЫЕ РЕДАКЦИИ

### МАДРИД,

Letra internacional,  
Гл. редакторы:  
ЛУИС ГОЙТИСОЛО  
АНТОНИН ЛИМ,  
Monte Esquinza 30, 28010 Madrid

### БЕРЛИН,

Lettre international,  
Гл. редакторы:  
ФРАНК БЕРБЕРИХ,  
АНТОНИН ЛИМ  
Dominicusstr. 3, 1000 Berlin 62

### БЕЛГРАД,

Международно писмо  
в журнале *Књижевност*  
Гл. редакторы:  
ЙОВАН ХРИСТИЧ,  
АНТОНИН ЛИМ  
Чика Љубина 1/V, 11000 Београд

### ПРАГА,

Lettre internationale  
Гл. редакторы:  
ТОМАШ ВРБА  
АНТОНИН ЛИМ,  
Hellichova 5, 11000 Prague 1

### БУДАПЕШТ,

Magyar Lettre internationale,  
Гл. редакторы:  
ГАБОР МИХАЛИ  
МИКЛОШ ЭРНАДИ  
АНТОНИН ЛИМ,  
Columbus u. 39, 1145 Budapest

### ЗАГРЕБ,

Lettre internationale, Hrvatsko izdanje.  
Гл. редакторы:  
СЛОБОДАН НОВАК,  
АНА ПРПИЧ  
АНТОНИН ЛИМ  
"Most", Trg Bana Josipa Jelačića 7, 41000 Zagreb

Услуги по международной рекламе в журналах  
принимаются фирмой:  
INTERNATIONAL ADVERTISING SALES  
В 2 В Communication

Brigitte Borel  
18 Rue Saint Fiacre  
75002 Paris  
Tel: 33 (1) 42 36 95 59  
Fax: 33 (1) 42 33 83 24

Или в СССР по адресу:  
191187, Санкт-Петербург, Шпалерная ул., 18,  
комн. 11

ВЛАДИМИР АДМОНИ -  
лингвист, литературовед, поэт (Петербург).

МАЙНРАД ФОН АУ -  
немецкий архитектор и журналист.

ЕВГЕНИЙ БИНЕВИЧ -  
литературовед (Петербург).

ДМИТРИЙ БОБЫШЕВ -  
петербургский поэт, живет в США.

ВЛАДИМИР БРИТАНИШСКИЙ -  
поэт, прозаик, переводчик (Москва).

ХАНС КРИСТОФ БУХ -  
немецкий эссеист.

ЛИЙСА БЮКЛИНГ -  
финский театровед, славист.

ЛЮДВИК ВАЦУЛИК -  
чешский писатель.

ТОМ ГАНН -  
английский поэт.

## АВТОРЫ

ХАНС ГЕОРГ ГАДАМЕР -  
немецкий философ.

ДАНИИЛ ГРАНИН -  
прозаик, публицист (Петербург).

ГЮНТЕР ГРАСС -  
немецкий писатель.

ЕЛЕНА ДУНАЕВСКАЯ -  
поэт, переводчик (Петербург).

ПОЭЛЬ КАРП -  
поэт, переводчик, критик (Петербург).

КОНСТАНТИН КАВАФИС  
(1863-1933) - греческий поэт.

ХАНС КОННИНГ -  
американский писатель.

ДЬЕРДЬ КОНРАД -  
венгерский писатель.

ГАЛИНА КОПЫТОВА -  
театровед (Петербург).

РИКАРД КРЕУС -  
каталонский поэт, прозаик, художник.

ЭЛЬГА ЛИНЕЦКАЯ -  
переводчик поэзии и прозы с европейских языков  
(Петербург).

МИХАИЛ МЕЙЛАХ -  
литературовед (Петербург).

АДАМ МИХНИК -  
польский журналист и политический деятель.

ЭВИЛАСИО МОЙА -  
испанский поэт.

ВИКТОР НЕКРАСОВ  
(1911-1987) - русский писатель, с 1974 г. жил в  
Париже.

АЛЕКСАНДР ПОКРОВСКИЙ -  
прозаик (Петербург).

ИГОРЬ ПОМЕРАНЦЕВ -  
русский поэт, прозаик, живет в Лондоне.

БОРИС ПУТИЛОВ -  
этнограф, литературовед (Петербург).

ЖОРЖ СИМЕНОН  
(1903-1989) - французский прозаик.

АНДРЕЙ СИНЯВСКИЙ -  
писатель, публицист, литературовед, жил в  
Москве, с 1973 г. в Париже.

ЦВЕТАН ТОДОРОВ -  
французский культуролог.

ГЕОРГИЙ ФЕДОТОВ  
(1886-1951) - русский философ и публицист, с 1925 г.  
жил за рубежом.

МИХАИЛ ЧЕХОВ  
(1891-1955) - русский актер и режиссер, с 1928 г.  
жил за рубежом.

ЕВГЕНИЙ ШВАРЦ  
(1896-1958) - прозаик, драматург (Петербург).

ЕФИМ ЭТКИНД -  
петербургский литературовед, переводчик, с 1974 г.  
живет в Париже.

Позиция редакции не обязательно совпадает с  
точкой зрения авторов публикуемых материалов.

Рукописи не рецензируются и не возвращаются.

ЕЛЕНА БАЕВСКАЯ (Ц.Тодоров. Терпимость и  
нестерпимое; Ж.Сименон. У Трощакого).

АЛЕКСАНДР ЖУРАВЛЕВ (Д.Конрад. Что-то  
ушло).

ГЕННАДИЙ КАГАН (Х.Г.Гадамер. Скажи мне,  
почему твой теннисный клуб самый лучший?).

ВИКТОРИЯ КАМЕНСКАЯ (Л.Вацулик. Кто ты,  
немец?).

МАРИЯ КАРП (Т.Ганн. Пирс-Стрит).

АЛЕКСАНДРА КОСС (Р.Креус. Урок пения. Э.  
Мойа. Руки).

ИРИНА НИНОВА (Х.Конинг. Официальная и  
неофициальная память).

СВЯТОСЛАВ СВЯЦКИЙ (А.Михник. Три  
разновидности фундаментализма).

## ПЕРЕВОДЧИКИ

ГАЛИНА СНЕЖИНСКАЯ (Г.Грасс. Жирный кус  
под названием "ГДР"; Х.К.Бух. Берлинская стена и  
немецкая литература; М. фон Ау. Для купания - в  
храм!).

СЕРГЕЙ СТЕПАНОВ (Т.Ганн. Последние дни в  
Теддингтоне).

ГЕННАДИЙ ШМАКОВ (К.Кавафис. Дарий).

### Художники:

ОЛЕГ ГРЕЧКИН  
ПАВЕЛ ЖУРАВЛЕВ  
АЛЕКСЕЙ ЗУБОВ  
ФРЕЙ КРИСТИАН  
НИКОЛАЙ КУЛЬБИН  
ДАВИД ЛЕВИН  
АМЕДЕО МОДИЛЬЯНИ  
ВАСИЛИЙ САДОВНИКОВ  
ВЯЧЕСЛАВ ЧЕБОТАРЬ  
ЛЕОНИД ЧУПЯТОВ  
ГЮНТЕР ЮККЕР

### Фотографы:

АЛЕКСЕЙ БАБУШКИН  
ФРАНСУА ГОНЕ  
РОМАН ДЕНИСОВ  
В. ЛОЗОВСКИЙ  
АЛЕКСАНДР НЕМЕНОВ  
БОРИС СТУКАЛОВ  
РЕБЕККА ХОРН

Сдано в набор 15.11.1991 г. Подписано в печать  
21.10.1992 г. Формат 70×100,1/8. Бумага офсет-  
ная. Гарнитура Таймс. Печать офсетная. Печ. ли-  
стов 10,50. Заказ № 8476.

Журнал издан при техническом содействии Товари-  
щества "Позисофт". 196006, С.-Петербург, ул. Коли  
Томчака, 28.

ПО "Типография им. Ивана Федорова" Министерст-  
ва печати и информации Российской Федерации.  
191126, С.-Петербург, Звенигородская, 11.

# МИР ЛИЛИ БРИК

ЖИВОПИСЬ, ГРАФИКА, ФОТОГРАФИЯ, ДИЗАЙН, ДОКУМЕНТЫ

## ВЫСТАВКА В БЕРЛИНСКОЙ ГАЛЕРЕЕ РУССКОГО АВАНГАРДА НАТАНА ФЕДОРОВСКОГО



С 23 октября  
по 31 декабря  
1992 года

GALERIE  
NATAN  
FEDOROVSKIJ  
BERLIN

Leibnizstr. 60  
1000 Berlin 12

Tel 030-324 78 23  
Tel 030-324 40 78  
Fax 030-324 98 58  
Telex 181 362

